

ХАДЖИ-МУРАТ МУГУЕВ



РАССКАЗЫ
РАЗНЫХ
ЛЕТ

ХАДЖИ-МУРАТ МУГУЕВ

**РАССКАЗЫ
РАЗНЫХ
ЛЕТ**

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство
Министерства обороны СССР
Москва — 1978

P2
M89

M **70302-235** — **159-79**
068(02)-78

© Воениздат, 1978

ПУСТЫНЯ

Р а с с к а з



I

У колодца Сары-Туар машина стала. Колеса грузовика буксовали, мокрый серый песок со свистом летел из-под шин.

— Слезай, доехали, — иронически сказал Груздев.

И пассажиры один за другим спрыгнули на землю.

В этом году весна в Туркмении была дождливой. Мелкие, тоскливые дожди иногда сменялись южными ливнями. Тогда насквозь протекали крыши, и потоки воды заливали дома.

Песок быстро высыхал. Тусклое солнце, уныло желтевшее в облаках, вынырнуло из-за туч и мгновенно обожгло пустыню. И сразу стало легче тянуть за колеса и передок увязшую машину.

От колодца подошли два молчавших, спокойных человека. Это были туркмены в черных высоких папáхах, надвинутых на узкие пытливые глаза.

— Придется заночевать, — отбрасывая лопату и вытирая пот с лица, сказал шофер.

— Можно вытянуть силой, припрячь верблюдов, а мы подтолкнем сзади, — посоветовал инженер.

Он спешил на серный завод. От самого Ашхабада он только и делал, что говорил о заводе и богатых ископаемых недрах.

— Завтра пускаем новую... — глядя на свои грязные руки, раздумчиво добавил он.

— Ехать надо, — поддержал его журналист.

Но Груздев презрительно сплюнул и молча пошел к

колодцу. И тут один из туркмен сказал неожиданно чистым и правильным русским языком:

— Осторожней, товарищ шофер! Там очень злые овчарки.

И пассажиры с ехидным удовольствием увидели, как их бесстрашный Груздев остановился и опасливо поглядел вперед. Затем неопределенно сказал:

— А я собак не боюсь. Они меня уважают.

Тучи медленно отходили к северу, беспорядочно теснясь и налезая одна на другую.

— Удивительно напоминают отступающую, но еще не добытую армию. Не правда ли? — сказал журналист.

Но его поэтическое сравнение пропало даром. Никто не отозвался, и только Груздев, закуривая папиросу, сказал:

— Ну как — ехать или ночевать? Ежели ехать, давай тогда верблюдов.

И снова тот же туркмен сказал:

— Верблюды будут только к утру. Часа в четыре ночи сюда подойдет караван из Чагыла.

Инженер присел возле шофера. Это было молчаливым согласием, и Груздев, разом повеселев, дружески протянул ему коробку папирос. Туркмены тоже закурили и сели рядом на песок.

Минуты три все молча курили. Кругом была пустыня. Бурые отсыревшие пески громоздились по сторонам. Высокие волнистые дюны вставали над ними. Чахлая серо-зеленая колючка кое-где прорезала пески. Над нею, покачиваясь и дрожа, стоял саксаул. Его было немного, но даже и этот скупой кустарник украшал и облагораживал строгий пейзаж пустыни. От колодца долетали собачий лай и визг. Низкий, грудной женский голос напевал что-то монотонное и скучное. Запах дыма вился в воздухе. Верблюжий помет густо устилал песок, на дороге белела шелуха от съеденных яиц.

Это все, чем жизнь отметила свое пребывание здесь.

Солнце стремительно падало за дюнами, и черная ночь быстро подходила из-за бугра. Запад, желтый, розовый, еще горел, но пустыня уже была окутана тьмой. Из кочевья принесли горячий кок-чай, и пассажиры, вытягивая губы, с присвистом пили его. Шла тихая беседа, и только Груздев, не умеющий понять красоты и очарования ночи в пустыне, спал под колесами своего АМО.

Колодец Сары-Туар стоял на разветвлении трех караванных путей, ведущих па Дарбазу, Серные Бугры и Эрбент. Отсюда, от Сары-Туар, начинались сухие, безжизненные гряды сыпучих песков и передвигающихся дюп. Километрах в сорока к северо-западу был другой колодец — Чагыл, откуда к утру должен был подойти караван.

— А вы работаете здесь, на серном заводе? — спросил инженер своего соседа туркмена, придвигая к нему пиалу.

— Нет, учусь, — ответил туркмен.

— В Ашхабаде? — сонно протянул журналист.

— В Москве. В военной академии, — прихлебывая чай из пиалы, просто ответил туркмен.

Это было невероятно. Человек в длинном халате, так неожиданно подошедший к ним поздней весенней ночью в глубине Каракума, посреди пустыни, в затерянных песках, был слушателем военной академии.

Журналист растерянно посмотрел по сторонам. Черные очертания кибиток поднимались над землей. Неровная гряда дюп, словно вырезанная ножом, резко стояла над еще бледным горизонтом. Звездное, сверкающее небо низко висело над землей, и аромат пустыни налетал из песков.

— В военной академии? — переспросил, приподнимаясь, инженер.

— Да! Из школы маршалов. — Туркмен любезно улыбнулся и добавил: — Перешел на второй курс. Чертовски трудно было догонять товарищей! — И, рассмеявшись чему-то, добродушно пояснил: — Ведь я, товарищи, только в двадцать первом году осилил грамоту. Конечно, в академии поначалу было трудно.

Все смотрели на него, как на человека из «Тысячи и одной ночи» — так внезапно и фантастично было его появление. Экзотика была не в том, что кругом на сотни километров лежали пески, и не в том, что горячее солнце субтропиков накаляло их, и не в этих караванных путях и спасительных колодцах — это было только фоном, — экзотика была в этом скудном человеке с умными глазами, так неожиданно очутившемся перед ними. Журналист притронулся к его плечу и тихо сказал:

— Товарищ! Расскажите нам о своем прошлом, о своих боевых днях. Наверное, немало пришлось повоевать?

Наступила ночь. Было сыро и прохладно. Инженер застегнул шинель.

— Говорить о себе — это неинтересно. Я лучше расскажу вам, как **три года** назад вот в этих песках, у этого самого колодца Сары-Туар, погиб в бою с басмачами эскадрон красной туркменской кавалерии.

— Здесь? — переспросил инженер.

— Да. Место, где мы сидим, полито человеческой кровью, — ответил туркмен.

— Никто не спасся? — тихо спросил журналист, осматриваясь по сторонам.

Пустыня спала. Было влажно, и костер из саксаула дымил, плохо разгораясь.

— Спаслось только четырнадцать человек.

Второй туркмен раздул костер. Струйки огня забежали по веткам. От костра пахло дымом, овечьим пометом и теплом. Инженер подбросил еще саксаулу и ближе пригнулся к огню.

— Вас, вероятно, удивило, что я, слушатель военной академии, нахожусь сейчас здесь, вместо того чтобы быть в Москве. А дело заключается в следующем. Я вызван в Ашхабад из Москвы, чтобы присутствовать при разрытии красноармейской братской могилы у колодца Сары-Туар.

— Здесь? — одновременно произнесли путешественники.

— Да, на этом месте. Ночью подойдет караван, и утром мы разроем могилу. Останки павших за революцию товарищей отвезут завтра в Ашхабад для торжественного предания земле. Их похоронят в городском саду. Будет музыка, будут речи. Будет ЦК. Тысячные толпы, близкие, братья, эскадроны родной дивизии...

Его голос звучал глухо, надломленно и гордо. В темноте не было видно лица говорившего, но слушателям показалось, будто его глаза вспыхнули вдохновенным и гордым огнем.

— Я один из **четырнадцати** уцелевших людей. Три года назад, израненный и слабый, я зарывал их в этих песках.

Голос его дрогнул. Или, быть может, это только показалось.

— Нам было девяносто шесть человек. Мы пришли сюда из Ашхабада, перерезав наискосок пустыню. Сзади за нами должны были идти части нашего полка. От персидской границы шли шайки басмачей, и нам нужно было ликвидировать их, не давая проникнуть вглубь. А здесь уже были местные банды — остатки джунаидовских отрядов, в свое время не добытых нами и теперь представших по пескам. Донесения, получаемые нами, говорили о том, что эти шайки не спят, что агентура их действует, распространяя контрреволюционные слухи в глухих местах Каракума. Шайка известного бандита Дурды-Мурды шла на соединение с отрядом прорвавшегося через границу старого басмача Нурли, и местом этой встречи был колодец Сары-Туар.

Численность банд нам была неизвестна, но донесения гласили: «Много-много. Как листьев в лесу!» Не смейтесь! Ведь агенты наши были честные, но неграмотные люди. И комполка, рассказав нам обстановку, прибавил:

— Соединение банд Нурли и Дурды-Мурды произойдет па этих днях, не позже четырех-пяти суток. Вам необходимо теперь же занять Сары-Туар и не допустить встречи бандитов. Берите эскадрон, три пулемета и отправляйтесь. Через день за вами двинутся остальные части полка. В случае чего держитесь стойко.

Через час наш эскадрон переменным аллюром шел к пустыне, стремясь выйти к колодцу Сары-Туар.

Вы, товарищи, все-таки не знаете, что такое пустыня. Пустыня для вас — это море волнистого песка, в котором кое-где пробиваются чахлый саксаул да бурая сухая трава. Европейцы при слове «пустыня» всегда делают страшное лицо и говорят: «О-о! Пустыня — это палящее солнце, от которого некуда уйти. Это безводье и жуткая смерть!» Вероятно, такую же представляется она и вам. А ведь по-настоящему пустыня — это беспокойная, копошащаяся, волнующаяся жизнь. Ведь здесь направо и налево, далеко вглубь и всюду щедрой рукой раскидана жизнь! Всмотритесь в эти пески. Они не мертвы: они живут. В них тоже таится жизнь. Здесь и саксаул, и бурьян, и горький колоквинт, и верблюжья колючка, янтак. Эти высокие бугры далеко не безжизненны. Змеи, скор-

пионы, тарантулы, земляные крысы населяют их, даже волки и зайцы попадают здесь. А люди... О-о-о! Людей в этих песках много.

Ведь в «страшном» Каракуме живут до ста тысяч человек; живут полной жизнью кочевников: со своими шатрами, стадами и добром, со своим горем и радостями и с очень темной психологией невежественного человека. Ведь здесь, в этих песках, не так-то легко устроить ликбезы и школы всеобщего обучения. И слухи, сплетни, эти самые «узун-кулак», о которых вы, вероятно, слышали, широкой волной разлетелись в пустыне. Баи и их прихвостни, ишаны и кулаки распускали о Советской власти всякие небылицы. Говорили о том, что афганский падишах уже занял Ташкент и движется со своими войсками на Ашхабад, будто бывший бухарский эмир овладел Баку и объявил газават¹ всем большевикам. Агенты Джунaid-хана, бренча английским золотом, разъезжали от колодца к колодцу и, действуя своими рассказами на темных кочевников, будоражили их. Ишаны и муллы проповедовали газават, читая людям из корана непонятные арабские изречения и призывая их к борьбе за ислам, к восстанию против большевиков.

Пустыня горела жизнью. Пустыня волновалась, и соединение в этот ответственный момент отрядов двух наиболее отъявленных бандитов, Нурли и Дурды-Мурды, означало восстание одураченных баями людей против своей — Советской — власти.

Наши бойцы отлично понимали огромную задачу, стоявшую перед ними. Километр за километром оставлял за собою эскадрон. Пустыня, сухая и спаленная, уже приняла нас. Чтобы выгадать время, мы шли через отдаленные колодцы, минуя караванные пути, тропами, по которым лишь изредка проходят «кумли» — люди пустыни.

Мы шли уже вторые сутки. Как пишется в книгах, день кдонился к вечеру. Солнце уходило за барханы, и пески принимали оранжевый цвет. Кони еле шагали, минутно увязая в песке. И люди и лошади устали. Будь это в обычное, спокойное время, наш рейс был бы иным. Нормальный переход в пустыне надо делать ночью, когда нет над головою мучительного солнца с его беспощадными отвесными лучами. Ночной марш по безводным

¹ Газават — священная война.

просторам Каракума хорош еще и тем, что люди и кони чувствуют себя бодрей, меньше хочется пить и влажность песков облегчает движение.

Шли вторые сутки, и день и ночь, останавливаясь лишь на короткие часы привала, когда усталые люди с размаху бухались в песок. Время от времени мы спешивались и вели коней в поводу. Тогда эскадрон растягивался по пустыне на добрый километр и был похож на большой торговый караван.

Вокруг все было тихо. Изредка попадались громадные серые ящерицы-вараны, с темными полосками на чешуйчатой коже. Они лениво отбегали в сторону и бесстрашно шипели вслед, разевая свои большие беззубые пасти. Раза два покружил над нами залетный степной орел да, сжавшись в комок, переваливаясь через пески, пронесся одинокий волк. Вот и все, что встретилось живого к концу второго дня нашего пути.

Продовольствия было взято с собой много. Его везли на заводных¹ конях и верблюдах. Здесь были консервы, галеты, сахар, чай и лимонная кислота. Опыт переходов по пустыне показал, что подкисленная вода пьется охотнее в жару и значительно утоляет жажду.

Вода — вот главное, что необходимо в пустыне, и хотя мы были вполне обеспечены ею, однако же питьевая дисциплина строго и неукоснительно выполнялась.

Пили мы по команде четыре раза в день: утром, в полдень, в четыре часа дня и в восемь вечера, и никто, ни один человек в эскадроне, не мог глотнуть и капли в другое время. За это грозил расстрел. И это правильно. В пустыне шутить нельзя. Стоит одному нарушить приказ, за ним потянется другой, третий... и боевая воинская часть мгновенно распустится, потеряет дисциплину, а отсюда до гибели и разгрома один шаг. Пили обычно не до полного утоления жажды. Только так нужно пить в пустыне. Ведь принятая внутрь вода через полчаса испаряется целиком. Поэтому мы пили небольшими глотками, полоща рот и подолгу задерживая воду. Время от времени мы мочили коням лбы и протирали им глаза и рты мокрыми тряпками.

Пока все было благополучно. Не было ни тепловых, ни солнечных ударов, и только сильная усталость мучила

¹ З а в о д н ы х — запасных.

бойцов да несколько набитых холок и сорванных спи у коней составляли нашу заботу.

Уже совсем стемнело, когда мы остановились на отдых у каких-то странных горных гряд, которые нередко встречаются в пустыне. Они были невысоки, но труднопроходимы. Эскадрон спешился. Мы с командиром осмотрели эти гряды. Они высились над пустыней и были отличным местом для отдыха. Мы выставили сторожевое охранение и через полчаса пили горячий чай, заедая его галетами и лепешками. Через несколько минут весь эскадрон спал, разметавшись у подножия начинавших охлаждаться каменных гряд, и только охранение да дежурные у коней бодрствовали, борясь с усталостью и сном.

В два часа ночи, когда пустыня еще куталась в тьму и камни были холодны и влажны, мы двинулись в путь. Сизая, необычная луна светила над пустыней. Вокруг луны стоял молочный, туманный круг, и мы с удивлением наблюдали за странным изменением цвета луны.

Отдых был слишком мал, утомление еще не прошло, и глаза всадников все чаще смыкались.

Мы проскакали вдоль колонны, будя дремлющих людей:

— Подтянуться, не спать!

Командир эскадрона, желая разогнать аллюром дремоту, скомандовал:

— Ры-сь-ю ма-а-арш!

И эскадрон, вздымая еще холодный песок, зарысил по пустыне.

Это было единственное средство превозмочь тяжелое, непреодолимое желание сна. А спать на коне нельзя, ибо неправильные, не согласованные с ходом коня движения неминуемо вызывают набой конской спины.

Пройдя рысью километра два, мы повели коней в поводу. Так, чередуя аллюры, шли мы по пустыне, а солнце уже выкатилось из-за барханов и, живое, горячее, большое, стояло перед нами. И тут мы все заметили, что оно было какое-то странное и необычное. И опять, как и ночью вокруг луны, вокруг солнечного диска стояло мутное, туманное кольцо. Бойцы тревожно оглядывались на нас. Они, так же как и мы, понимали, что этот зной, удушливая мгла и белесые кольца вокруг солнца предвещали песчаную бурю, когда неукротимый ветер с беш-

ной силой рвет и взмывает на своем пути сотни тонн песка.

Представляете ли вы себе неудержимо несущуюся по пустыне силу, страшную и неукротимую?

Тревожны стали лица бойцов.

А воздух становился все удушливей и жарче. Горизонт затянуло сплошной мглой. От песков пошло сияние, и противная сухость опалила нас.

Кони еле шли. Удушье сильнее охватило нас. Небо приняло фиолетовый оттенок и, казалось, опустилось на землю. Оно было близко-близко. Маленькое серое облачко с рваными, неровными краями, показавшееся на горизонте, внезапно стало бурым и стремительно понеслось на нас.

Пустыня стихла. Где-то в стороне, как бы обегая эскадрон, промчался горячий, обжигающий порыв ветра, и беспощадный, непреодолимый жар полыхнул на нас.

Облако росло. В его сердцевине мрачно белело светлое молочное пятно. Облако несло и уже настигало нас. По пустыне еще раз пробежал обжигающий порыв ветра.

Солнце остановилось, покрылось тусклой, свинцовой пеленой и, став беспомощным и жалким, неожиданно нырнуло в бурю туч и растворилось в ней.

Мы давно потеряли четкий воинский строй и плелись кое-как, растянувшись тонкой цепочкой на целый километр. Комэскадрона остановил колонну, подтягивая отставших бойцов. Мы сошли с коней и свели колонну в правильный квадрат. Несколько коней тяжело легли, другие, опустив понуро головы, стояли не шевелясь, не обращая внимания на окрики бойцов.

Мгновенная тьма поглотила все и минуты через две сменилась белесоватой мглой. Пески пришли в движение, и вся равнина заволновалась. Почва задвигалась и пошла нам навстречу. И это было особенно страшно. Я, конечно, знаю, что этого не бывает, что это только оптический обман и в поле нашего зрения поднялась и колыхнулась лишь часть дюн и барханов, что сорвавшийся с привязи ветер, неожиданно налетевший на нас, — это он взметнул велену песка, но в ту минуту ум, ослабленный зноем, жаждой, усталостью и ураганом, забыл обо всем.

Песок колот, резал, царапал глаза. Стало трудно дышать. Мы закутали головы в шинели, и, сбившись в кучу, люди и кони беспомощно ждали конца урагана.

А ветер, перекашиваясь по пустыне, неумолчно выл и гудел. Свистел и падал песок. Сквозь шинели мы ощущали его раскаленные колючие ожоги. На минуту все стихло. Я приоткрыл глаза и выглянул из-под шинели. По пустыне ходили, вертясь и сшибаясь, песчаные смерчи. Горизонт был по-прежнему застлан мглой. А над нами низко-низко проплыла страшная бурая туча, и ее центр — белая сердцевина — становился зловеще румяным. Снова загудел ветер, и отовсюду невидимые гигантские лопаты стали швырять на нас груды песку. Я хотел закрыться шинелью — и не мог. Душная истома ослабила меня. Я как зачарованный смотрел на рдеющее багровое кольцо посреди туч. На моих глазах оно увеличивалось, раздвигало тучу, порывалось вперед и, отодвигая весь мир, заполняло его своим жутким, беспощадным светом. Я глядел на него, и мне было больно и страшно. «Это — смерти! Сейчас оно разорвется и накроет нас пеленой багрового песка», — думал я, слабый, потрясенный.

И вдруг... розовое пятно рванулось сквозь тучу, раскололо ее, и яркое, бодрое, спасительное солнце хлынуло наружу. Это было наше знакомое, родное солнце. Его лучи разбудили пустыню. Ветер стих, как укрощенный, и песок по-прежнему спокойно лежал неподвижными грядами, только в воздухе еще носились мелкие, невидимые песчинки. Белый, радостный день поднимался отовсюду. Жара была та же, но удушье миновало.

Я поднялся с земли. Рядом стоял командир. Его лицо было пепельно-серым, и только глаза горячечно горели и светились нездоровым блеском. «Видно, заболел», — решил я, но, взглянув на других, понял, что эта серая бледность была результатом пронесшейся бури.

Я оглядел пустыню — и вздрогнул от изумления. Той пустыни, которой мы проходили часа полтора назад, уже не было. Ураган совершенно изменил ее. Дюны, точно они были живые, ушли, и их волнистые, изрезанные очертания поднимались в противоположной стороне. Барханы встали перед нами, а мы сами оказались в кольце наметанного со всех сторон песка. Ровная, спокойная пустыня снова горела своими обычными огнями. Сверкал песок, жгло солнце, голубело высокое небо, и ничто не говорило о жестоком песчаном урагане, только полчаса назад пронесшемся здесь.

III

К вечеру, усталые, изможденные, мы подходили к колодцу Сары-Туар. От встретившихся по пути людей, шедших из Кургундука, мы знали, что Сары-Туар свободен от басмачей.

Трехсуточный форсированный переход по пустыне не прошел даром. Два коня пали по пути, одиннадцать шли со сбитыми спинами и набоями холок. Остальные медленно плелись по пескам, то и дело останавливаясь.

Командир остановил эскадрон и, подбодрив бойцов веселыми словами, повел нас к Сары-Туару. Впереди, шагах в восьмистах, шли дозоры, уже спускавшиеся с барханов к колодцу.

Наступал вечер. Было тихо, и от колодца по ветру тянулся запах дыма и жилья. Дозоры рысью входили в Сары-Туар. Из кибиток выходили люди. Среди них были и женщины.

Значит, встречные говорили правду. Бандиты и старая собака Нурли еще не подошли к колодцу.

Через несколько минут мы в походной колонне с песнями и гиком въехали в Сары-Туар.

У кибиток стояли женщины. Дети с изумлением глядели на нас. Человек восемь мужчин встретили нас. Это было все мужское население колодца. Они с почтительными лицами отвечали на наши расспросы и длинными палками отгоняли от бойцов огромных бесившихся собак.

Сутки отдыха восстановили наши силы. Кони были вычищены, вымыты и напоены. Отоспавшиеся люди выглядели весело и сыто. Впервые после выступления из Ашхабада мы ели консервы и горячий обед. Есть мясо в походе, в пустыне, нельзя, чтобы не увеличивать жажду, но сейчас, у колодца, где было много вполне пригодной для питья воды, мы позволили себе это удовольствие.

Настроение бойцов было хорошее. Слышались смех, шутки. Я подошел к отдыхавшим в тени людям. Один из бойцов играл на дутаре старинную народную мелодию бахшей. Другой высоким голосом пел, импровизируя текст песни. Его импровизация относилась к нам, к нашему походу, к песчаной буре, к этому колодцу и к предстоящей встрече с басмачами. Иногда он вставлял смешные словечки, высмеивая бандита Дурды-Мурды и его друга и

союзника Нурли, и тогда общий хохот покрывал его пение и однообразный звук дутара.

Пулеметчики были на своих постах. Охранение стояло вокруг колодца, занимая высокие барханы, с которых далеко была видна пустыня. У дороги маячил наблюдательный пост, который задерживал и опрашивал всех проезжавших мимо людей. Но таких было немного. С самого утра и до обеда прошли всего два человека. Один был старик, шедший из Чагана в Экерли; другой — неразговорчивый, сухой, сожженный солнцем кочевник. Старик много и бестолково говорил, пытаясь объяснить, зачем и для чего он идет в Экерли, где у него живет дочь и осталась верблюдица с грузом. Другой хмуро молчал, неохотно отвечая на наши вопросы. Приходилось по нескольку раз повторять один и тот же вопрос и чуть не подсказывать этому человеку слова, прежде чем он сам открывал рот. Я внимательно следил за ним и так и не мог понять, притворяется ли он полудураком, или же на самом деле был совершенно туп. Из часового опроса мы смогли выяснить только одно: что он погонщик каравана, младший чарвадар, из Эрбента и что, оставшись без работы, возвращается к себе на родину в Кизил-Арват. На всякий случай мы решили попридержать его на денек-другой. Когда ему сообщили об этом, он равнодушно выслушал приказ и молча пошел к бойцам, подсел к группе обедавших красноармейцев, жадно поглядывая на еду. Ему дали ложку и котелок, он молча, без слов благодарности, в один момент упледел весь обед и, запив еду водой, также молча пошел в тень, улегся и быстро заснул. Старичка же, шумного и безобидного, мы отпустили через несколько минут. Он потолкался между бойцами, выпросил себе на дорогу куска три хлеба и, помахивая палкой, ушел своим путем.

Проходя мимо кибиток, я встретил нашего пленника. Он сидел на кошме и молча ел краюху черного хлеба. — Здравствуй, товарищ! — окликнул я его.

Он молча поднял глаза и, не отвечая, продолжал грызть хлеб.

— Он, наверно, непормальный, товарищ старшина. За целый день не сказал и трех слов. Придет, сядет около нас и молчит. Ничего не просит, ничего не спрашивает,

все слушает. Дашь ему, съест и опять молчит. Конечно, сумасшедший, — говорили красноармейцы.

Человек ел, никак не реагируя на наши слова, и в то же самое время я видел и чувствовал, что каждое слово отлично доходило до него, но на его темном, непроницаемом лице не было никакого движения.

— Черт его знает кто он такой! — рассердился командир. — Шпион не шпион, дурак не дурак, вообще, подозрительный тип; хотя при желании он мог бы уйти ночью, но не ушел. Надзору за ним никакого. Скорее всего, что дурак. — И он отмахнулся рукой.

Но я по-прежнему был заинтересован. Какой-то внутренний голос настойчиво говорил мне, что этот молчаливый и тупой с виду кочевник был на самом деле совсем иным человеком.

Часа через два двое красноармейцев принесли мне шесть листов, на которых ровными, четкими буквами было написано по-арабски и по-туркменски контрреволюционное воззвание, подписанное Джунаид-ханом, одним из вождей басмачей. Прокламации найдены в разных местах, одна из них висела около самого нашего расположения. Все они были одинаковы.

Точность выражений, отчетливость букв, одинаковый формат бумаги и одинаковые чернила говорили о том, что воззвания эти приготовлены где-то за пограничной чертой и завезены сюда.

Мы собрали бойцов и, разобрав, фразу за фразой, белогвардейское воззвание, полностью разоблачили его, показав, кого и куда зовет своими письмами Джунаид. Меня порадовало то, что наша национальная, лишь недавно сформированная туркменская часть смогла сразу и точно отгадать контрреволюционный смысл воззвания.

Я почти не вмешивался в обсуждение прокламации и лишь изредка направлял беседу бойцов. Вместе с нами сидели и жители колодца. Они слушали обличающие слова красноармейцев, говоривших о том, что письмо Джунаида нужно только богатым и что Советская власть есть власть бедноты, что беднота едина, так как интересы ее во всем свете одинаковы. Жители колодца отвергали призывы мулл и клялись в первом же бою показать всем этим наймитам контрреволюции, как меток глаз и остра сабля в их руках.

Но кто, кто подкинул сюда эти письма? На секунду мы подумали об ушедшем старике. Но его болтливая, забавная физиономия была так добродушна и смешна, что не могла даже и внушать подозрение.

Оставалось или жители колодца, или же сонный, апатичный кочевник. «Скорее всего он», — решил я. Тем более что все время, пока мы вели беседу, этот сонный и равнодушный человек не отходил от нас. Он со вниманием прослушал всю беседу и даже раза два приподнимался, словно желая что-то сказать, как раз в тот момент, когда бойцы говорили о кознях хана, о единстве бедноты и справедливости Советской власти. Несомненно, что-то останавливало его, во всяком случае, он потух и, присев на корточки, сделался снова глухим и безразличным человеком.

Прошла еще ночь. Утром обнаружилось, что пленник исчез. Мы тщательно осмотрели песок, обрыскали близлежащие дороги, но ничего не нашли. После недолгого совещания мы выслали три конных разъезда, которые должны были, не удаляясь на большое расстояние, задерживать бежавшего. Поиски были безрезультатны. Ни бежавшего, ни его следов они не обнаружили.

Мы были смущены. Ясно, что от нас бежал один из агентов и разведчиков Джунаида.

Появление шпиона и его побег говорили о том, что шайки басмачей бродили около нас и что момент встречи приближался.

Проходили уже четвертые сутки с того момента, как мы пришли сюда. Кругом все было тихо. Население колодца держалось приветливо и спокойно. Из опроса людей мы не выяснили ничего нового. Очевидно, бандиты, узнав о прибытии эскадрона в Сары-Туар, изменили свой первоначальный план и соединились где-нибудь в стороне. Один из проходивших кочевников сказал, будто в сторону Чагыла ночью прошла конная группа людей, но, кто были эти люди, он не знал, так как темнота и страх помешали ему выяснить это. Беспокоило нас другое: отправляя эскадрон, комполка обещал через день-другой прийти сюда со всем полком, но время шло, а со стороны Ашхабада не было ни полка, ни донесений. И эта странная неизвестность тревожила нас. Посоветовавшись со мною, комэс-

кадрона решил на ночь усилить посты и выдвинуть далеко за кочевье пулеметный пост.

— Люди уже отдохнули, отоспались, и это будет нетрудным делом, тем более что сегодня мне почему-то беспокойно, — улыбаясь, сказал командир, и в этой не соответствующей его словам улыбке я прочел глубокую тревогу.

Только тут я заметил, что глаза командира глубоко ушли под лоб и вокруг них была черно-синяя кайма. «Когда же он спит? Да отдыхал ли вообще?» — подумал я. Как бы поняв мои мысли, он вдруг нахмурился и быстрым шепотом проговорил:

— Да, брат старшина, тревожно мне что-то. Черт его знает отчего, и сам не пойму. Все кажется, что нависает над нами что-то большое, грозное. — И он, недоумевая, пожал плечами.

— Не спишь ты вовсе, утомился, вот и вся причина. Ложись, все пройдет, когда выспишься, — посоветовал я.

— Да-а, поспать сейчас хорошо бы! — мечтательно протянул командир. Встал с места и, зевая, сказал: — Хо-о-рошо бы пос-па-аты! Еще одну сегодняшнюю ночь отдежурим, и если все пройдет благополучно, то завтра целый день буду отсыпаться!

И по его лицу пробежала такая счастливая и усталая улыбка.

Еще день прошел в тревоге и ожидании. Целый день мы ощупывали в бинокли по всем сторонам пустыню. Ни басмачей, ни ожидаемого нами полка не было. Пустыня была безмолвна и безлюдна. Ни один человек не прошел по ней, и даже местные жители, обитатели Сары-Туара, не выходили из кибиток. Все это было странно, тревожно и предвещало грозу. Красноармейцы были молчаливы.

Командир обошел посты, проверил пулеметы и еще раз указал нам позиции, пояснив каждому бойцу, как надо действовать в момент нападения басмачей.

Ночь тянулась нескончаемо долго. Спать не хотелось, и я пошел вдоль коновязей мимо спавших людей. Их равномерное дыхание мешалось с хрустом зерна в зубах коней. Ночь была тихая, и даже собаки, забившись по своим углам, мирно спали. На горизонте чуть заметно редела мгла, и тонкая, еле уловимая белизна проникла в темноту. Восток, словно обрызганный молоком, медленно

светлеет. Я взглянул на часы. Было около четырех часов. Вдруг какая-то черная тень встала передо мной. Я остановился.

— Товарищ, — негромко сказал подошедший, — не бойся! Это я.

Луна выглянула из серой пелены облаков. Передо мною стоял бежавший кочевник. Я рванул из кобуры наган, но он спокойно остановил меня:

— Не надо. Не бойся, товарищ комиссар. Скорей буди красноармейцев. Басмачи близко. Они подходят к вашим постам. Через час Нурли и Дурды-Мурды нападут на кочевье. Я пришел сюда из Намангута, где у них происходил военный совет.

Все это было так неожиданно, что я схватил его за рукав и, держа наган у самого лица, сказал:

— Ты врешь! Ты шпион Дурды-Мурды. Это ты разбросал здесь прокламации Джунаида. Ты будешь убит, продажная собака!

Он молча покачал головой и, глядя поверх меня вдаль, в пустыню, тихо сказал:

— Нет. Я не продажная тварь. Я бедняк и нищий из племени иомудов, и я первый раз видел большевиков. А разбросал воззвания не я, а сам Нурли, тот старик, которого вы задержали вместе со мной. Это был Нурли. Дай мне воды, я еле стою на ногах от жажды и усталости. За пять часов я прошел сюда большой путь. И торопись, буди людей: через час будет поздно. Басмачи Нурли и Дурды-Мурды сомнут вас, если захватят врасплох.

Я разбудил командира, и странный человек повторил ему все то, что только что рассказал мне. Через десять минут бойцы уже заняли свои места. Посты были оттянуты ближе к Сары-Туару. Замаскированные пулеметы поставлены на барханы с таким расчетом, чтобы ими поражались все подступы к колодцу. Десять бойцов с запасом гранат спрятаны в овражке у самой дороги, остальные легли в цепь. Все это было сделано настолько тихо, что даже обитатели колодца не проснулись. Пленник молча с видимым удовольствием смотрел на все наши приготовления и удовлетворенно сказал:

— Если же я вас обманул, то вы утром рубите мне голову.

Командир, недоверчиво глянув на него, сказал:

— Не беспокойся, сумеем.

Мы, конечно, ни на йоту не верили словам этого подозрительного человека, но то, что басмачи приближались, было очевидно хотя бы из того, что их шпион был снова у нас.

Приготовившись к отпору, мы обсудили положение. Все было странно и нелепо: и вторичное появление этого человека, и его тревожный рассказ о басмачах, и утверждение, будто бы старик, болтавший здесь безобидные глупости, был сам Нурли.

— Почему же ты бежал отсюда, если ты не басмач? — спросил я.

Арестованный коротко ответил:

— Я не бежал, мне надоело сидеть около вас без дела, и я решил продолжать путь на Ашхабад.

— Почему же ты не сказал, что старик, задержанный вместе с тобою, был бандитом?

— Я тогда не знал этого. Я это узнал только сегодня утром, когда пришел в Намангут. Там меня задержали часовые басмачей и привели к начальнику для допроса. А начальником оказался тот старик, с которым вы меня тогда задержали. Он узнал меня и очень смеялся над вами, рассказывая, как ловко одурачил вас. И все смеялись. И Дурды-Мурды тоже смеялся, когда старик рассказывал, как вы отпустили его, а меня арестовали.

— Почему же ты не остался с ними?

Человек поднял голову и сердито посмотрел мне в глаза, и первый раз за эти дни я заметил в нем некоторое волнение.

— Потому что я нищий, голый бедняк. И отец, и дед, и весь мой род всегда были бедняками и служили в рабах вот таким, как Джунаид и его ханы, — сказал он и нахмурился.

— Поешь ты ловко! Видно, опытная собака! — сказал командир. — А если ты бедняк и потомственный нищий, то почему же ты целых два дня валял дурака, притворялся идиотом, молчал да только приглядывался и прислушивался ко всему?

Пленник встал и, подойдя вплотную к нам, глухо, с еле сдерживаемой злобой сказал:

— А потому, что я раньше слышал отовсюду немало сладких слов: и от баев, и от мулл, и от ишанов. А еще потому, что я слушал их сладкие речи и много ошибался. Слова их всегда были сладки, а дела горьки. И мне на-

доело слушать и верить! — Он почти кричал эти слова, размахивая руками, возбужденно и тяжело дыша. — Из-за них я тоже сделал преступление и только месяц назад вернулся обратно на родную землю. Да! Да! — хрипло закричал он. — Я тоже пошел в басмачи, верил в святость мулл и в то, что большевики губят нашу землю.

Мы с изумлением смотрели на него.

— Я ушел тогда с Джунаидом за границу и многое узнал. На свете есть только богатые и бедные, рабы и баи. Одни, как волю, работают всю жизнь. Другие сосут их кровь и труд. Мы остались без крова и хлеба, и наши же вожди и баи продавали нас в батраки любому афганцу или персу. Мы голодали, жили, как псы, а они, как жирные вши, отъедались на нашем голодном теле. И я понял: богатый богатому везде брат, а бедный и богатый всегда враги. Не вы, не большевики, а наши собственные баи — мои враги. Я это понял и решил идти назад. Я уже месяц как пробираюсь к себе домой, работая где попало. И я все слушаю, и я гляжу на все, и я вижу, что большевики — это совсем не то, что говорили нам баи. Вы — настоящие люди, вы оберегаете бедных и убиваете богачей, и за это вам слава! Я молчал и только глядел на вас. Я первый раз встретил Красную Армию, о которой много слышал из разных уст. Одни хвалили, другие проклинали. Одни были бедняки, другие — баи. И я увидел, что бедняки говорили правду. Здесь все были равны: и командиры, и сарбазы¹. Вместе ели, пили, смеялись и работали, как одна семья. Я молчал, а сердце мое обливалось кровью. Я молчал, а внутри меня все кипело и кричало, и мне стало так больно за мои прошлые грехи, что я встал и сейчас же ушел.

Что-то большое и искреннее было в его лихорадочном рассказе, а скорбные нотки были так правдивы, что даже командир с некоторым теплом в голосе сказал:

— Кто тебя знает, кто ты такой — товарищ или враг! Подождем немного. — И уже совсем по-приятельски добавил: — Да ты присядь и поешь чего-нибудь с дороги!

Беглец покачал головой:

— Есть я не буду. Торопитесь, басмачи близко.

Предбоевое, горячее ожидание охватило людей. Командир еще раз повторил распоряжения и, подбодрив

¹ Сарбаз — солдат (персидск.).

бойцов, пошел к правому посту. Я остался в окопе наверху барханов. Ночь уже подходила к концу, и свежий бодрящий холодок набегал из пустыни. Темнота сгустилась над нами, и, как всегда бывает перед рассветом, наступила непроглядная ночь. Луна скатилась за горизонт, крупные, сверкающие звезды горели на небе.

Я снова вспомнил нашего странного гостя и весь его взволнованный рассказ. Его поведение было подозрительно, но его тон, страстность речи смущали меня. Ведь могло же быть, что невежественный, темный, обманутый баями крестьянин на собственном горбу испытал всю «сладость» эмиграции в «правоверные мусульманские края». Ведь мог же он возненавидеть эту свору бандитов, в которую попал по ошибке. «Подождем до утра. Если басмачи не появятся, значит, наш беглец — предатель». И в эту минуту со стороны правого поста раздался окрик, другой — и грохот выстрелов раскатился по пустыне. На дороге застучал пулемет, и разрозненные винтовочные выстрелы опоясали Сары-Туар.

— Не стрелять! — приказал я в своей цепи. — Будем ждать командира. Не робеть! Держаться спокойнее!

Шальные пули несколько раз с воем проносились над нами. Из темноты вынырнула чья-то пригнувшаяся фигура. Это был боец с донесением от командира.

— Басмачи напали на пост номер два. Их разведочная группа, шедшая в голове отряда, натолкнулась на залегших в засаде красноармейцев и была расстреляна в упор. Четверо басмачей убито, двое раненых взяты в плен. По их словам, Сары-Туар атакуют объединенные банды Дурды-Мурды и Нурли численностью в шестьсот пятьдесят человек. Атака идет с двух сторон: от дороги и со стороны барханов. Будьте готовы и отбейте бандитов, это приказание командира.

«Со стороны барханов» — это означало, что через пять — десять минут из черной тьмы пустыни на нас ползут басмачи. Я понял опасность положения. Если басмачи прорвутся к колодцу, то весь эскадрон погиб. Его сомнут и раздавят массой. Моментально создалось решение. Я взял шестерых гранатчиков и отполз с ними вперед. Здесь начинался спуск, по которому должны были пройти басмачи. Как только мы швырнем вперед гранаты, то на пламя и грохот взрывов вся цепь должна открыть залповый огонь.

Перестрелка меж тем разгоралась. Со стороны дороги озарили окрестность взорвавшиеся гранаты. Кругом грохотали выстрелы, и по пустыне, разбуженной пальбой, гудя, перекатывалось эхо.

А ночь проходила, и рассвет вплотную подползал к нам. Вдруг меня схватил за руку ползший со мною красноармеец, и мы замерли на гребне бархана. Прямо на нас, тяжело дыша и спотыкаясь, пригнувшись к земле, густой массой подходили басмачи. Ясно были слышны их дыхание и торопливые, срывающиеся шаги — это осыпался под ними песок. Возня и шорохи стали ближе. В серо-черной предрассветной мгле совсем близко выросло большое темное пятно. Оно двигалось на нас. Нам с вершины бархана был виден блеск их новеньких винтовок. Я крепче сжал свою гранату и, делая знак товарищам, со всего размаху швырнул ее в самую гущу подходивших басмачей. Оглушительный взрыв, за ним четкие взрывы других гранат — и дикий, нечеловеческий вой. Крики, стоны, грохот выстрелов и залпы нашей цепи смешались в один сплошной гул. Швырнув еще по гранате, мы крикнули «ура», и наше «ура» подхватил весь разбросанный по пескам эскадрон.

Басмачи были отбиты. Их толпы откатились назад, и в сумерках рассвета черными пятнами лежали на песке разбросанные тела убитых. Утро вставало над пустыней, и резкий звук трубы — сигнал сбора частей — прозвучал по равнине. Это комэскадрона, отбив на своем участке атаку басмачей, собирал воедино свои немногочисленные войска.

Оставив на барханах наблюдение, я свел цепь обратно к колодцу, где немолчно заливалась труба и чернели редкие фигуры красноармейцев.

Командир, радостный и возбужденный, сказал:

— Надо думать, что следующее нападение будет не скоро. Пока что покорим людей.

И эскадронная кухня, как и в обычные дни, ярко запылала огнем.

У нас был убит один красноармеец и ранено двое, да залетной пулей у самого колодца тяжело ранена женщина, выбежавшая из кибитки.

Утро уже наступило, радостное, молодое и свежее. Солнце мягко поднималось над пустыней. В ожидании обеда мы ели галеты, запивали их водой и с тревожным

любопытством поглядывали вдаль. Но всюду было тихо. Не было видно ни души, и только вдалеке, за очередной грядой барханов, маячили конные фигуры. Это были наблюдательные посты басмачей.

Не прошло и часа, как со стороны далеких барханов показалось четверо конных. На быстром караковом иноходце, держа в правой руке высокий шест с белым флагом, ехал передовой. Я обвел биноклем далекие барханы. Везде, и справа, и слева, виднелись басмачи. Они, как муравьи, облепили дюны. На дороге чернела группа людей.

— Вероятно, это штаб басмачей, — сказал командир и мечтательно вздохнул: — Вот бы их отсюда прапнелю!..

Всадник тем временем подъехал ближе к постам и, размахивая флагом, пронзительно прокричал:

— Не... стре-ляй-те... правоверные... во имя аллаха... едем для переговоров...

— Поезжай ты, — сказал командир, — я останусь здесь. Да смотри осторожней! — И он выразительно глянул на меня.

Часть красноармейцев, заинтересованная появлением конных и криком передового всадника, поднялась из окопов, кое-кто вылез на бугры, желая получше разглядеть подъезжавшую кавалькаду.

— По местам! — скомандовал командир. — Не оставлять окопов!

Со мною навстречу парламентарам выехало трое бойцов. Держа винтовки наизготовку, мы подъехали к басмачам. Их было шестеро, кроме знаменосца. Рябой и курносый узбек, державший в руках мешок с чем-то, два безмолвных, вооруженных английскими десятизарядками туркмена, худой, с курчавою бородкой мулла, рядом с которым, вытянувшись в седле, сидел человек с бритым лицом. Несмотря на сильный загар и высокую туркменскую папаху, квадратный подбородок, белые выхоленные руки и свисавшая из-под папахи тюлевая вуаль говорили о том, что это был европеец.

Он снял дымчатые очки и, сощулив серо-голубые глаза, недоброжелательно оглядел нас. Десятизарядная английская «Ли Энфильд», восьмикратный военный бинокль и фотоаппарат висели на нем.

Возле него находился одетый в пестрый халат крепкий старик с длинной бородой. Все пятеро с коней слегка

поклонились нам, и только англичанин холодно щурил свои злые наблюдающие глаза. Не отвечая на приветствия, я вплотную подъехал к ним. Мне стоило огромного труда не вскрикнуть. Старик был тот самый веселый и беспечный старикашка, всего несколько дней назад бдл-тавший среди нас. Но теперь весь его вид был иной. На нем был дорогой парчовый халат и высокая курпейчатая папаха. За плечами висела новенькая английская винтовка, и из-за полы шелкового бешмета глядела рукоятка большого маузера. И глаза болтливого старикашки были другие. Теперь это были спокойные, уверенные, жесткие глаза, и лишь иногда в них сверкал насмешливый огонек.

«Значит, пленник был прав. Это — Нурли», — подумал я.

Делая страшное усилие, я овладел собой и, не показывая изумления, равнодушно сказал:

— Ну, говорите, что вам надо?

Все снова молча наклонили головы, и мулла негромко сказал:

— Ночью здесь пролилась невинная мусульманская кровь. К стопам аллаха ушли лучшие сыны туркменского народа. И самое горькое и тяжелое то, что умерли эти люди от своих же мусульманских пуль. Вместо того чтобы соединенными силами ринуться на врагов ислама, мы, дети одного и того же туркменского народа, убиваем друг друга. За что проливаете вы кровь ваших братьев мусульман? За то, чтобы московские большевики...

— Ты... блудливая байская лиса! Перестань своим поганым языком морочить людей! За этим вы звали нас? — прервал я муллу. — А это, — указывая через плечо пальцем на молча разглядывавшего нас англичанина, — что? Это тоже «правоверный»? Может быть, даже шейх или посланник аллаха? — крикнул я, затем, взглянув на молчаливого старика, спросил: — Ты тоже это хотел сказать, Нурли?

Глаза басмача широко открылись.

— Откуда ты знаешь, что я Нурли?

— А ты что ж, думаешь, что мы не знали, кто ты такой, когда ты у нас валял дурака? Очень хорошо знали! — просто и очень искренне сказал я.

— Почему же вы отпустили меня? — усмехнувшись, недоверчиво спросил Нурли.

— Потому что у нас на то были свои планы. Понял? —

засмеявшись в свою очередь, сказал я и уже сухо добавил: — Ну, а теперь — зачем вызывали нас?

Мой маневр удался. На лицах басмачей были тревога и удивление. Мой ответ перепутал их карты. Они молча переглянулись, и мулла, достав из-за пазухи письмо, передал его Нурли.

— Вот, — сказал Нурли, — письмо. Прочти всем своим аскерам. Мы дети одного народа, и нам драться нельзя.

Я молча повернул коня. Нурли схватил меня за руку и угрожающе сказал:

— Ой, не ошибись! Вы, верно, не знаете, сколько здесь наших сил!

И он махнул рукой знаменосцу. Тот привстал на стременах и замахал своим флагом. И сейчас же на буграх и барханах пустыни показались басмачи. Их было много. Гораздо больше, чем тогда, когда я глядел на них в бинокль. Пешие и конные, они сплошным кольцом охватили наши позиции. Казалось, не было конца их бесчисленным полчищам.

— Видал? — торжествующе сказал Нурли. — Это только половина, остальные подойдут сегодня. Все колодцы пустыни с нами. А за ними... Англия, турецкий падишах! Сдавайтесь!

— Довольно брехни, Нурли! Мы не старые бабы, и нас не испугать видом твоей трусливой саранчи. Вчера вас было еще больше, а сегодня солнце пустыни сушит их мертвые кости!

— Постой, постой! Ты говоришь о наших убитых. А знаешь ли, что полк, шедший сюда из Ашхабада, уничтожен нами? Ты напрасно ждешь. Никто не придет. Сотни красноармейских трупов гниют в песках Джебела. Смотри! — крикнул он, и узбек, державший мешок, вытряхнул из него под ноги моего коня несколько отрубленных, окровавленных голов.

Я сжал зубы и разорвал письмо в клочья.

— Если через час вы не сдадите оружия, с вами случится то же! — резко выкрикнул Нурли.

— Ты! Шакал с продажной душой! Ни через час, ни через год ты не получишь нашего красноармейского оружия. Попробуй возьми!

Красные глаза Нурли налились кровью. Он побагровел, хотел что-то ответить и вдруг, резко повернув коня, помчался обратно, сопровождаемый своей свитой. Англи-

чанин усмехнулся и, что-то пробормотав, поскакал за Нурли.

Мы спешили и, собрав в кучу семь отрубленных, обезображенных голов, засыпали их песком. Потом мы возвратились обратно.

Было около одиннадцати часов. Солнце палило землю, и голубая колеблющаяся дымка вставала над песками.

— Головы могли принадлежать и не красноармейцам. Эти бандитские номера не обманут нас, — засмеялся командир, когда я доложил ему разговор с Нурли. — Они могли с успехом отрезать головы своим же убитым или первым попавшимся путникам в пустыне. Это брехня! Я никогда не поверю, чтобы они могли разгромить красноармейский полк. Дело не в этом, а вот скверно, что до сих пор мы не знаем обстановки.

Мы сидели в тени кибитки, обсуждая положение и дальнейшие планы. Нас было одиннадцать человек: командир, бюро ячейки, командир и я. На барханах, несмотря на зной, стояло наблюдение. Остальные бойцы были сведены вниз, где отдыхали в ожидании ежеминутной тревоги.

Несмотря на зной и палящее солнце, мы чувствовали себя неплохо. Горячая пища и свежая колодезная вода укрепили бойцов.

Несомненно, что положение басмачей было значительно хуже. Ведь они находились в открытых песках, без воды и без всякого прикрытия, что, конечно, должно было сказаться и на их боеспособности.

— Вот потому-то нам особенно нужно быть начеку, — сказал командир. — Ясно, что к вечеру бандиты полезут сюда. Ведь если они не займут колодца, то через день-другой они все там подохнут от жары и жажды. Уйти же отсюда, не взяв колодца, им нельзя. Ведь это будет их поражением, и весть о нем обожит пустыню. К тому же оставить позади себя сильный красноармейский эскадрон — это значит иметь все время угрозу в тылу. Ясно, что басмачи во что бы то ни стало атакуют нас.

Конечно, это было так. И то, что в течение нескольких часов они успели уже совершить не одну демонстрацию, делая вид, будто обходят своей кавалерией фланги, ясно говорило, что басмаческие стратеги, пользуясь численным

превосходством своих войск, решили утомить нас, тревожа и беспокоя эскадрон. Иногда из-за бугров показывалась конная лава противника и, налетая на наши посты, открывала огонь. Было ясно, что цель этих налетов одна: возможно сильнее беспокоить и нервировать наших бойцов.

Было достаточно двух пулеметных очередей, чтобы вся эта вразброд скачущая орда показала тыл.

Почти весь день мы энергично укрепляли наши окопы, углубляя и выравнивая их.

— Старшина,пусти меня из-под стражи,— сказал пленник.— Напрасно держишь около меня часовых,ведь сейчас в цепи нужен каждый человек,а ночью они пригодятся особенно.

— Почему ты думаешь — именно ночью?

— Потому что я сам был басмачом и отлично знаю их привычки. Басмачи, как шакалы, нападают только ночью!

Я недоверчиво покачал головой. Было бы наивно поверить словам этого странного человека.

— Напрасно ты не веришь мне, командир. Ведь я ни в чем не обманул вас. Басмачи пришли, они напали на вас, и вы благодаря мне сумели вовремя отбить их нападение. Разве я предупредил бы вас, если б был вашим врагом?..

Я молчал.

— Или я сказал бы вам, что я бывший басмач, бежавший за границу? Зачем мне нужно было это говорить?

Я продолжал молчать, пристально глядя на него.

Он вздохнул и тихо сказал:

— Твое дело, командир. Я больше не скажу ни слова.

Командир поднял голову и, подойдя ко мне, сказал:

— Не знаю, как ты, но я верю ему. Мне кажется, его надо освободить.

Я молча покачал головой.

— Теперь не время спорить. Я беру на себя ответственность за это и как командир, и как член партии.

— Хорошо,— сказал я, и мы разошлись по своим местам.

Вечер наступил, как всегда, неожиданно и сразу. На холмах оживленнее замелькали фигуры басмачей. На-

ступившая прохлада оживила их. Длинная колонна войск, то проваливаясь за бугры, то снова возникая на дюнах, потянулась в обход наших позиций. Конные дозоры противника спустились на равнину и, медленно съезжаясь и разъезжаясь, стали приближаться к нашим постам.

По первой же тревоге бойцы в порядке заняли свои места. Вдоль цепи на своем сером коне медленным шагом проехал командир. Не отнимая бинокля от глаз, он держал коня и негромко сказал мне:

— Ну, старшина, держи крепко левый фланг. Ни за что не отдавай его бандитам. В нем ключ всех позиций.

Спусти несколько минут я снова увидел его. Он шел к коноводам в сопровождении нашего пленника.

Признаюсь, я был даже раздосадован такой неосторожностью командира.

«И чего он так доверился ему?» — подумал я, но обстановка приближающегося боя и ответственность за свой участок отодвинули в сторону мысли о подозрительном кочевнике, и я позабыл о нем.

А обстановка резко менялась у нас на глазах. Вчерашняя неудача, видимо, научила кое-чему басмачей. Решимость покончить с нами была видна во всех их действиях. Прежде всего, они повели правильное наступление, со всеми необходимыми предосторожностями. Их густые цепи шли на расстоянии сорока — пятидесяти шагов одна от другой. В то же время сотни полторы кавалерии, приняв строй уступами, быстро подходили к нашим центральным постам. Со стороны дороги, там, где были коноводы и наша небольшая жидкая цепь стрелков, показалась обходная колонна басмачей. И наконец, далеко за пехотой двигался конный резерв; там, вероятно, находился штаб обоих басмаческих вождей, так как несколько значков высоко колыхалось над всадниками. Я обвел биноклем наступавшего противника. Да, нашему немногочисленному эскадрону предстояло жаркое дело. Только хладнокровие, дисциплина и высокая сознательность бойцов могли победить эту бесчисленную орду басмачей. Я посмотрел на товарищей, и сердце мое переполнилось радостью. Спокойные, наблюдающие, внимательные лица. Пристальные, настороженные взоры и твердые, уверенные руки, прижатые к стволам ружей и пулеметов.

Так прошло минут семь. С правого фланга грянул первый залп, сейчас же вся наша позиция опоясалась не-

смоляющим огнем. Сразу же вошли в дело все наши пулеметы. Противник наступал отовсюду. Его было так много, что только бешеный огонь мог остановить его.

А над нами торело пышное, разноцветное небо. Закат, яркий и пестрый, охватил полнеба. Длинные оранжевые столбы вставали над пустыней, окрашивая горизонт в фантастические цвета.

Винтовки уже накалились и, несмотря на ствольные накладки, стали обжигать пальцы. Пулеметы, словно забесившиеся псы, заливались по всему фронту неумолкающим, истерическим лаем. Кое-где рвались наши гранаты. Это значило, что там противник подошел вплотную к цепи.

Часть басмачей, не выдержав нашего огня, залегла и в свою очередь открыла огонь по Сары-Туару. Другие заметались и, отходя, сбились к флангам, примыкая к отрядам, обходившим нас. Желая прикрыть отход расстроенной пехоты, кавалерия басмачей дважды кидалась в атаку на наш участок, но оба раза, сбита огнем, поворачивала обратно. И только левая группа наступающих, неся огромные потери, сумела подойти к кочевью и залечь шагах в ста пятидесяти от него.

Так, в огневом бою, прошел час. Сумерки уже сгустились, и потухающий горизонт лишь изредка вспыхивал в догорающих лучах. Стрельба шла с неослабевающей силой. Я не беспокоился за свой участок, так как возвышенная, господствовавшая над кочевьем, укрепленная окопами позиция была почти неприступна, а гряды дюн и каменные выступы делали нас неуязвимыми. Мой участок, или, как его назвал командир, ключ всей позиции, был неприступен, но положение правого фланга, где беспрерывно гремела пальба, вспыхивали рвущиеся гранаты и слышалось «ура», перемешанное с басмаческим визгом и воплями «а-лл-ла», очень беспокоило меня. Очевидно, это была новая атака басмачей, но я не мог ничем помочь дравшимся там товарищам.

Вдруг все стихло. Еще раз рванулись к небу взрывы гранат, прогрохотали беспорядочные выстрелы, и наступила тишина.

И это было самое жуткое за весь день. Что случилось там? Отбита ли атака басмачей, или жалкие остатки бившихся там взводов легли под ударами озверелых бандитов? И в то же самое время я, занимавший со своими тридцатью бойцами самый ответственный пункт позиций,

окруженный сотнями залегших вблизи басмачей, не мог бросить туда на помощь ни одного человека.

Жуткая тишина длилась недолго. Внизу, со стороны кочевья, раздались голоса, послышался шум приближающихся людей. Где-то в отдалении посыпались и смолкли винтовочные выстрелы. Из моего правого дозора прибежал запыхавшийся боец.

— Товарищ старшина, наши отходят! Басмачи прорвались к дороге, часть их залегла у самого кочевья.

— Где командир?

— Не знаю.

Из темноты стали показываться одиночные фигуры бойцов. Кто-то проволочил по земле пулемет. Из группы подходивших послышались стоны.

— Пропали мы! Разве их осилишь? — услышал я чей-то надорванный голос. — Как саранча!

Говоривший застонал и прилег на песок. Это был раненый. Люди все проходили мимо, спеша укрыться за каменные гряды. «Еще немного — и паника охватит их», — подумал я и громко крикнул:

— Стой!

И эти растерявшиеся люди, послушные привычке к воинской дисциплине, остановились.

— Смирно-о!! — снова скомандовал я.

И все мгновенно смолкло. Даже раненый перестал стонать.

— Где командир, товарищи?

Столпившиеся вокруг меня люди расступились.

— Где командир? — уже тревожней повторил я.

Люди потупились.

— Убит, — глухо произнес кто-то из-за спины стоящих.

— А труп? — спросил я, весь холодея.

Смерть командира в такой момент, когда басмачи окружили нас, была началом конца. И я снова громко повторил:

— А где труп нашего командира?

Все молчали, опустив головы. И хотя было темно, по я видел и чувствовал, как стыд и отчаяние охватили молчавших людей.

— Позор!! Вы не красноармейцы! В вас не течет кровь туркменского народа! Вы не туркмены! Вы — трусы! Вы оставили тело вашего командира басмачам!

Сгрудившиеся возле меня, усталые, растерянные люди повернули назад и ринулись вниз, к кочевью, туда, где, вероятно, уже находились басмачи.

И вдруг, тяжело дыша и останавливаясь, показалась чья-то странная фигура. В темноте я не мог понять, что это было такое. Что-то неясное, тяжелое и медленное поднималось к нам на бугры, но то, что это был человек, было ясно по тяжелому прерывистому дыханию.

Сбегавшие вниз люди остановились около него. И тут при свете озарившей нас луны я узнал нашего кочевника. Он тяжело дышал, почти шатаясь от усталости и тяжелой ноши. Пройдя мимо расступившихся людей, он молча положил на песок безжизненное тело.

Я нагнулся над убитым. Это был командир. Две пули пронзили его: одна пробила грудь, другая — плечо. Черная запекшаяся кровь уже не сочилась, и только гимнастерка была залита ею.

Я вздохнул и поднялся с колен. Люди молчали. Здесь было все, что осталось от нашего боевого эскадрона.

— Командир, — услышал я голос кочевника, — там, внизу, осталось трое раненых. Басмачи еще не вошли в кочевье. Надо их унести сюда.

Через минуту двенадцать красноармейцев и вызвавшийся идти с ними наш странный спутник исчезли в темноте.

Переключка дала тяжелые результаты. Из трех взводов, дравшихся в центре и на правом фланге, уцелело всего лишь двадцать семь человек. Все кони были брошены и, наверно, попали к басмачам. Итого вместе с моим взводом и коноводами налицо остался шестьдесят один человек. Из них девятнадцать раненых, не способных к бою людей. Тридцать пять человек во главе с командиром погибли. Из трех пулеметов один, взорванный гранатой, попал к басмачам. Два «максима» и четыре «люиса» оставались у нас. Я обошел своих бойцов, поговорил с ними, уложив за камни раненых, стал ждать возвращения ушедших.

Внизу по-прежнему стояла тишина.

Среди погибших товарищей было четыре коммуниста и один комсомолец — боевой, энергичный юноша. Это был мой брат Халил, только месяц назад призванный в армию.

И его труп тоже валялся где-то внизу. Оставалось девять человек партийцев, и я их распределил среди бойцов. По флангам позиции я поставил уцелевшие «люисы», а в центре установил оба «максима». Весь запас патронов, гранат, медикаментов и воды мы перенесли к месту, где находились раненые, так как оно было самым защищенным и надежным пунктом нашего участка. Пользуясь передышкой, бойцы укрепляли окопы, закладывая камнями брустверы и делая бойницы. Двое раненых умерли. Стоны их прекратились. Остальные, перевязанные лекпомом, лежали, изредка вздрагивая и что-то тяжело бормоча.

Вдалеке прогрохотал выстрел... за ним послышался другой. Затем все смолкло. Где были басмачи и что намеревались делать они — было неизвестно. Я стал терпеливо ждать ушедших, обдумывая наше положение. Оно было тяжелое. Если завтра не подойдет полк, мы погибнем. Мысли о брате, о моем Халиле, я старался отогнать от себя, но они, как мухи, снова назойливо лезли и мучили меня.

Внизу опять раздались голоса, и сквозь неясную мглу ночи показались немногие фигуры. Дозор негромко окликнул их. Это были возвращавшиеся красноармейцы. Они принесли с собою двух раненых красноармейцев и брошенный при отступлении цинковый ящик с патронами, но кочевника с ними не было. Он еще внизу оторвался от них, сказав, что пойдет к колодцу разведать что-нибудь о противнике.

Это странное исчезновение опять удивило меня. Что он не был врагом, в этом наконец убедился и я, но что означало исчезновение — этого я не понимал.

Мы приготовились ко всяким случайностям и стали ожидать рассвета.

Через час пришел кочевник, но не один. Впереди себя он гнал связанного уздечкою человека, рот его был забит тряпками. Лицо связанного человека было в крови, а глаза полны страха и боли.

Из опроса пленного выяснилось, что банды Дурды-Мурды и Нурли понесли огромные потери и сейчас ожидали подхода двух сотен кавалерии, шедших к ним на помощь из Рабата. Огромный урон в людях помешал басмачам развить успех. Этим и объясняется затишье внизу.

— Но как только подойдут подкрепления, войска Дурды-Мурды атакуют вас, — сказал пленный.

Он как бы примирился со своей участью, говорил довольно бойко, но, когда встречался взглядом с пленившим его туркменом, вздрагивал, и животный испуг снова показывался в его глазах.

Лекпом промыл и перевязал его разбитую голову.

— Кто это тебя? — спросил я, указывая на огромную, вздувшуюся на лбу кровавую шишку.

Пленный робко посмотрел на кочевника и промолчал.

— Это я... прикладом.. не хотел идти... — равнодушно пояснил тот.

Из опроса выяснилось, что кочевье внизу занято басмачами, а отдельные люди проникли уже до самого колодца. По словам пленного, в руки басмачей попало четверо раненых красноармейцев, которых будто бы не тронули бандиты. Конечно, басмач врал, думая этим сохранить себе жизнь. Мы слишком хорошо знали волчью, предательскую натуру бандитов и могли только пожалеть о тех несчастных, которые живыми попали в руки этих зверей. Да еще и неизвестно было, действительно ли они попали в плен.

Ночь медленно шла над пустыней. Текли часы, а вместе с ними уходили и минуты тревожного покоя. Люди дремали, держа винтовки в руках, и только сменявшиеся часовые бодрствовали, внимательно вглядываясь в темноту.

Ни я, ни кочевник не сомкнули глаз. Когда я обходил дозоры, он молча пошел рядом со мной.

— Как зовут тебя?

— Ораз, — ответил он, — Ораз Гельдыев.

А под утро снова начался бой. Опять рвались гранаты, кипела в пулеметах вода, горели раскаленные стволы винтовок, и снова как бешеные, не считаясь с потерями, с воплями и бранью лезли басмачи. Они шли отовсюду: и от дороги, и от колодца, и со стороны песков. Их пули рвали воздух, шипели, разбивались о камни и роем летали над нами. А за цепями шли конные и камчами¹ подгоняли отстававших.

В течение часа мы отбили три атаки врага. Мы поражали врага из окопов фронтальным и фланговым ог-

¹ Камча — плеть (туркменск.).

нем, и больше сотни трупов лежало внизу. Раненые стояли, ползли и падали, а бой все крепчал, и кольцо басмачей все туже стягивалось вокруг нас. Мы отчетливо различали лица стрелявших. Пули проникали повсюду и поражали бойцов. Больше тридцати убитых валялось в окопе. Один из «максимов» смолк.

А басмачи все стреляли с неослабевающим упорством.

— Товарищ старшина, на левом фланге осталось четверо стрелков, — переползая ко мне, доложил красноармеец. Его лицо было бело, а губы, пепельные, дрожали.

— Почему молчит «максимка»? — не отвечая ему, крикнул я, перебегая к центру.

Там, у смолкшего пулемета, опустив голову на песок, лежал убитый пулеметчик, секретарь ячейки Нияз Бердыев.

Эскадрон заметно поредел. От тех растрепанных трех взводов, которые сохранились у меня после ночного боя, оставалось не более тридцати человек. Они тонкой разорванной цепочкой лежали в окопе, стреляя из накалившихся винтовок по врагу. Густой терпкий запах сожженного пороха стоял над нами. Стон раненых, треск выстрелов и хриплые крики басмачей сливались воедино. А над всем этим в сиянии и огне вставало яркое солнце пустыни.

«Продержимся еще полчаса... а потом...» — подумал я, безнадежно оглядывая редкую цепь.

— Патронов! Давай патронов!

— Воды!.. Фельдшера!.. Старшина!.. Где старшина?

— Обходят! — слышались отдельные беспорядочные возгласы.

Требовалось много хладнокровия, чтобы не потеряться в этих возбужденных, полуистерических выкриках измученных, истомленных людей. И снова бросилось мне в глаза спокойное, решительное лицо Ораза Гельдыева, хладнокровно и методически выпускавшего в басмачей патрон за патроном. Он это делал так уверенно и спокойно, что, вероятно, ни одна выпущенная им пуля не пролетела мимо цели.

Неожиданно огонь противника стал ослабевать. Стихла бешеная трескотня сотен разнокалиберных винтовок. И я скорее почувствовал, нежели понял, что наступает самый острый и ответственный момент боя.

Из-за бугров, с левофланговой стороны нашей позиции, выросла густая лава кавалерии, сотен до трех, и в этом

сомкнутом тяжелом строю с резким гиком стремительно понеслась на нас.

Это была басмаческая кавалерия, еще ночью скопившаяся под нашим левым флангом и теперь по знаку Дурды-Мурды атаковавшая нас.

Без выстрела, потрясая кривыми туркменскими саблями, она взлетела на гребень и густой сомкнутой массой налетела на нас.

Я бросился к пулемету — и оцепенел от ужаса. Наш бывший пленник Ораз Гельдыев единым скачком выпрыгнул из окопа и, рванув пулемет, поволок его за собой куда-то в сторону.

— Измен-н-ник! — прохрипел я, сознавая, что ускользает от нас последняя возможность отбить атаку из единственного уцелевшего пулемета. — Измен... — повторил я и смолк, пораженный еще больше.

Быстро, как заправский пулеметчик, повернув «максим», Ораз Гельдыев открыл губительный и точный огонь прямо во фланг стремительно мчавшейся конницы. Ничего нет страшнее и действеннее флангового огня.

То, что произошло в эту минуту, невозможно рассказать. Грохнулись с налета наземь первые ряды. Кони и люди покатались по гребню. Расстреливаемая в упор конница налетела на упавших. В какую-нибудь минуту гора кровавых, движущихся, стонущих и раздавленных тел завалила нашу позицию. На наших глазах и на глазах обезумевших басмачей под пулеметным огнем погибла их лучшая, отборная конница во главе с самим Нурли. Часть кавалерии, движущейся сзади, успела обскákat место гибели своих собратьев и, потеряв равнение и строй, мчалась куда попало по пескам, провожаемая неумолимым огнем красноармейцев.

И здесь мы, оставшиеся в живых двадцать семь человек, выскочили из окопа со штыками наперевес и с криком «ура» бросились вперед.

Первая цепь врага, залегшая всего в пятидесяти шагах от нас, деморализованная гибелью своей конницы, бросая оружие, в панике кинулась назад. А мы, немногочисленные и слабые, бежали за нею, крича «ура».

Со стороны дороги раздались залпы. Это вторая цепь противника открыла по нас огонь, и мы в течение четырех минут, пока успели добежать обратно в окопы, поте-

ряли одиннадцать человек красноармейцев. Так мы заплатили врагу за наш героический порыв.

Из груди расстрелянных тел неслись стоны и слабеющие крики. Иногда оттуда отделялся, хромая и припадая на колени, раненый конь.

Нас осталось здоровых всего шестнадцать человек; среди них Ораз Гельдыев. Хотя басмачи не переставали осыпая нас пулями, но гибель их конницы послужила им хорошим уроком. Они лишь обстреливали нас, не делая попыток к атаке. Я думаю, что здесь немалое значение имела жара, охватившая пустыню, а также и уверенность бандитов в том, что через час или два от защитников окопа не останется никого. В окопе то и дело раздавались стон или крик пораженного пулей бойца. Из двадцати трех раненых семеро умерло от ран, а двенадцать были добиты новыми, залетевшими во время боя пулями. Был ранен и я — в левую руку у самой кисти. Молчаливый Ораз, ни на шаг не отходивший от меня, перевязал мне рану.

Из четырех «люисов» работал только один. Что мы могли делать дальше?!

Но и в эти грустные минуты, когда наша гибель была очевидна, гордость за свой эскадрон, за своих дорогих товарищей не покинула нас.

Ни на одном лице не видел я подлого желания сдаться многочисленному врагу и этим сохранить себе жизнь. Ни разу паника и трусость не охватили нас, хотя ошибок в этом бою мы сделали немало.

А солнце все жгло, и пули по-прежнему долбили наш окоп. Хотелось пить и пить, блестящий песок слепил глаза. Еще один убитый свалился на дно окопа. Это был тот самый искусный бахши, несравненный игрок на дутаре, который своими песнями развлекал наш боевой эскадрон. Вторая пуля попала мне в подбородок и вышла вкось, около уха, причиняя невыносимую боль. Ораз снова перевязал рану, и мне стало немного легче, а быть может, я просто притерпелся к боли.

— У нас скоро кончатся патроны, — предостерегающе сказал Ораз.

Я приказал бойцам сократить стрельбу, хотя мы и без того скупой и редко отвечали на огонь басмачей. А солнце все печет, и боль в ране все усиливается. Кровь, просачиваясь сквозь перевязку, мешает говорить и стрелять. Ра-

пеная рука все-таки позволяет мне время от времени спускать курок.

Еще трое раненых. Их стоны очень действуют на нас. Среди убитых — лекпом. Убит также и наш пленный басмач, тот самый, которого Ораз приволок ночью из кочевья.

А жара все сильнее, и я начинаю не то бредить, не то терять сознание. Это скверно, это может подорвать дух бойцов. Ораз неотступно находится возле меня и то и дело поит остатками воды из фляжек, которые он снимает с убитых бойцов.

Что это такое? Кажется, я действительно по-настоящему брежу. Мне чудится, что отовсюду грохочут чудовищных размеров пулеметы. Они трещат так мощно, что заливают всю пустыню. Мне кажется, будто меркнет небо и черные огромные птицы носятся надо мною, а земля ухает и рвется в муках.

Я открываю глаза. За ворот и по лицу обильно льется вода. Мне несколько легче. Надо мною стоит Ораз и сразу из двух фляжек, не жалея воды, поливает мою горячую, воспаленную голову. Он что-то кричит, смеется и, приподнимая меня одной рукой, другою указывает куда-то вперед.

Я гляжу непонимающими глазами то вверх, в голубое небо, то вдаль, на желтые бугры пустыни, где по пескам скачут, бегут и падают люди. Около них с грохотом и огнем взрываются и встают дымные столбы. Люди кричат, мечутся и бегут... а над ними в беспощадном и неумолимом строе низко нависли три огромные стальные птицы, с которых рушатся на басмачей смерть, огонь и дым... А из-за бугров, наперерез бегущим, в боевой развернутой лаве несется конница в остроконечных буденновских шлемах.

— Аэ-ро-планы! — кричу я и тяжело опускаюсь на дно окопа.

Это был конец Дурды-Мурды. Только жалкие остатки басмачей вместе со своим главарем ушли от сабель нашей кавалерии. Из нашего эскадрона уцелело четырнадцать человек. И все четырнадцать ранены. Восемьдесят два убитых красноармейца на следующее утро под залпы всего отряда были торжественно преданы земле в том самом окопе, который так мужественно защищали они. И среди них во временную братскую могилу легли командир и мой брат Халил.

Рассказчик смолк. Ночь уже проходила, и серые пред-
рассветные тени ходили по пустыне. Костер давно дого-
рел, но зола еще была полна жара.

— А где же был ваш полк? Почему он не пришел во-
время? — спросил журналист.

— Он не мог. Его с полдороги свернули в сторону для
ликвидации другой бандитской шайки, — ответил турк-
мен.

Из-под машины неожиданно встала темная фигура.
Это был шофер Груздев, и по его стремительным движе-
ниям все поняли, что он не спал, а внимательно слушал
рассказчика. Он вплотную подошел к туркмену, сдавлен-
ным, растроганным голосом сказал:

— Душу ты мне всю вывернул, дорогой товарищ... —
и крепко пожал руку заулыбавшемуся туркмену.

Опять наступило молчание. И тогда инженер спро-
сил:

— А куда делся ваш спаситель... кочевник Ораз Гель-
дыев? Он жив?

Оба туркмена засмеялись, и военный, обнимая рукой
все это время молчавшего туркмена, весело сказал:

— Вот он, перед вами. Бывший басмач, ныне пред-
райисполкома всего Сернозаводского района, наш дорогой
Ораз Гельдыев.

Журналист зажег спичку, чтобы лучше разглядеть
скромное лицо героя.

Восток все светлел. За холмами слышалось монотон-
ное позвякивание бубенцов. Это подходил из Чагыла ожи-
даемый караван.

НАЛЕТ

Рассказ



В клубе села Одинцовки было весело. Играл красноармейский баян, артиллеристы вместе с девушками плясали гопака, сменяя его вальсом и венской полечкой. В перерывах между танцами политрук батареи читал собравшимся вслух статьи из газет, а сменявший его весельчак и остролов Вакуленко рассказывал смешные истории «про нашего попа та про його дочку», да так забавно, что весь клуб, все собравшиеся тут и молодые и старые жители Одинцовки покатывались от хохота, слушая «балачки» веселого наводчика.

Было уже около девяти часов. Приближалась ночь. Высокие пирамидальные украинские тополя закрывали бродившую в небесах луну. Иногда ее серебристые лучи просачивались сквозь листву и пробегали по улицам и хатам спокойного села.

Батарея была на отдыхе. Еще пять дней назад ее трехдюймовые пушки усердно били по махновским бандам, выбивая их со станции Игрень, но теперь и люди, и кони отдыхали после боевых трудов.

Оженився комар, оженився...

Взяв собі жинку Муску-невальчку... —

заиграл гармонист, и хор из батарейцев, парубков и девчат подхватил:

Отколь взялась шура-бура...

Пулеметная дробь и два долгих залпа прокатились по селу, потом грохнули разрывы ручных гранат, и вдруг по Одинцовке из конца в конец защелкали пули. Частый огонь охватил село. Ураганная ружейно-пулеметная паль-

ба приближалась, и с края села, возле деревянных сараев бывшей помещичьей экономии, полыхнуло пламя. Густой дым, клокоча и крутясь, взлетел над осветившимися тополями, длинные языки огня забежали, заструились по сараям. Певшие оцепенели.

— Гос-поди Сусе... — негромко проговорил кто-то в конце зала, и вдруг пулеметная очередь, пущенная в упор из-за ближайшего плетня, разнесла распахнутые окна клуба. Брызнули осколки стекла, упала на пол висячая лампа, кто-то охнул, и сейчас же вся охваченная ужасом толпа кинулась к выходу, в панике топча упавших детей и баб.

Крики ужаса и вопли заглушили треск гремевших вокруг винтовок...

А над селом все шире и сильнее поднимался пожар.

В низенькой комнате стоял стол, уставленный ящиками и трубками полевого телефона. За столом, держа в руке стакан дымящегося чая, сидел крепкий, кряжистый человек; другой, полуоткинувшись на лежанке и заложив за голову руки, мечтательно курил, пуская в потолок кольца дыма.

— Хорош чаек! — похвалил первый. — Может, налить и тебе, Григорий Иванович? — предложил он, но куривший, не отрываясь от своих мыслей, покачал головой.

В трубке засипело, раздался негромкий звонок.

— Алле! Начарт Первой Конной слушает, — беря в левую руку трубку и поднося ее к уху, сказал сидевший за столом человек. — Как, как? На Одинцовку? Сейчас передам, — быстро сказал он и слегка изменившимся голосом доложил: — Григорий Иванович, тебя к телефону. Ба-да напала на Одинцовку... Село горит... а ведь там первая батарея.

Куливший разом поднялся. Это был тоже рослый, крупный человек, с крупными чертами энергичного лица.

— Кто говорит? Это ты, Самойлов? Здравствуй. Да, Кулик. Ну, говори. Так, так, — слушая донесение, несколько раз повторил он в трубку. — А как батарея? Неизвестно? Сейчас же бери дежурный эскадрон и полубатарею и скачи галопом на Одинцовку. Да вперед разъезд сильный пошли... Да-да, немедленно. Около моста не на-рвись на засаду... А я пойду со стороны Грайворона. Ну,

добре, пока! — Положив трубку, он схватил другую: — Это кто? Дежурный по штабу? Как фамилия? Ага. Ну, так вот что, товарищ Берзин, это говорит Кулик. Беги сейчас же к комдиву и доложи ему, что на нашу первую батарею и ее прикрытие, находящееся в Одинцовке, напал сам Махно. Сколько там бандитов, пока неизвестно, село горит, на улицах идет бой. Я сейчас выезжаю туда с конным дивизионом и тремя тачанками. Необходимо, чтобы и со стороны Игренья ваши эскадроны перерезали банде путь. Поняли задачу? А ну, повторите! Так, так... Ну, спешите! — И, бросая на стол трубку, он крикнул в окно: — Трубача!

— Трубача! Трубача до командира! — слышались голоса за окном.

— До ко-ман-ди-ра! — спустя минуту донеслось издалека.

— Собирай, Сергей, дивизион! Выводи тачанки, да пусть одно орудие с тремя ящиками будет готово к походу! — быстро приказал начарт вытянувшемуся перед ним в струнку только что мирно пившему чай человеку.

— Слушаюсь! — ответил тот и бросился из хаты.

В дверь вбежал трубач.

— Чего прикажете, товарищ начарт?

— Играй сбор! — крикнул Кулик, быстро набрасывая на себя португезу. Оглядевшись, он вышел во двор, где уже трубил-разливался горнист.

«Тра-та-та-та...» «Всадники-друзи, в поход со-би-райтесь...» — звенел в воздухе сигнал, и со всех дворов, окружавших штаб-квартиру начарта Первой Конной, высыпали люди, ведя за собой коней, таща седла и бряцаая оружием.

Через пять минут стройная колонна всадников вышла на главную улицу местечка и, провожаемая лаем потревоженных собак, на широкой рыси исчезла в темноте.

А в Одинцовке произошло следующее.

В то время как большая часть батарейцев находилась в клубе, остальные мирно сидели по хатам, занимаясь каждый своим делом. Одни дремали, другие чинили поизорвавшуюся одежду, третьи латали сапоги, четвертые попивали из котелков пахнувший дымом чай; кое-кто, сидя

на завалинке со столетними «дидами», вели тихую беседу. У въезда в село стояла застава из восемнадцати конармейцев четвертого эскадрона, приданного в прикрытие батареи. Хотя о бандах здесь не было и слышно, но все же еще одна застава была на всякий случай расположена и у моста, возле сходящихся дорог, шедших к Одинцовке из немецкой колонии Александерфельд и поселка Надеждино.

Командир четвертого эскадрона, краснознаменец, старый конармеец, Степан Заварзин стоял за плетнем своей хаты и точил на бруске пашку. Иногда он пробовал ее лезвие, проводя по остирию ногтем. Кончив точить, он взмахнул над головою пашкой. Клинок со свистом сверкнул в сумерках, охваченных багровым отсветом умиравшей зари.

«Хороша», — подумал он и оглянулся.

Со стороны Гнилой балки в село входил конный отряд. Шедшие впереди дозоры уже прошли мимо него и, не останавливаясь, свернули за угол. Над головной частью колонны развевалось Красное знамя с вышитыми посредине молотом и серпом.

«Что за часть? Наверное, четвертой дивизии», — подумал Заварзин и, подходя ближе к плетню, перегнувшись через изгородь, крикнул:

— Какого полка, товарищи?

— Свои. А где здесь командир? — наезжая конем на плетень, спросил передовой, ехавший под знаменем человек.

— Я командир, — сказал Заварзин и обомлел: перед ним был Махно.

— Измена! — крикнул, отшатываясь, командир и упал возле плетня. Пуля из маузера, пущенная в упор «батькою», пробила ему грудь.

— Ура! Даешь красных! — заревели конные.

Стреляя по сторонам, бросая во дворы и хаты бомбы, паля из пулеметов, они понеслись по улицам тихой Одинцовки, рубя и пристреливая разбежавшихся красноармейцев.

Комиссар первой батареи Михайлов занимал хату старой вдовы, бобылки Устины. Хата была в сторожке от дороги, возле выхода в поле. Недалеко от квартиры Ми-

хайлова расположился и сам командир батареи. Командир и комиссар очень дружили между собой. Они были земляки, из одних мест, оба любили артиллерию, считали ее первым в мире родом оружия и после окончания гражданской войны хотели вместе идти в Артиллерийскую академию.

— Артиллерия — это, брат, первейшее дело, без пушки не бывает победы, — говаривал Решетко.

Комиссар посмеивался, слушая его, хотя втайне вполне разделял мнение своего друга.

Пробыв вечер вместе, они только пятнадцать минут назад разошлись по своим хатам. Решетко пошел к себе, ожидая прихода с рапортом старшины батареи, а Михайлов решил на сон грядущий почитать Дюма. Орудия стояли возле дома командира. Они были отлично вычищены, накрыты чехлами, зарядные ящики стояли квадратом в стороне. Возле них ходил часовой с обнаженной пашкой, и блики заката играли на ней. Со стороны коновязей слышались возня, храп и ржание коней. Один из жеребцов забил ногами.

«Передрались, черти, опять жеребца между конями поставили», — с неудовольствием подумал Решетко и поднял голову.

За домами, совсем недалеко от батареи, слышалась пальба, разорвались ручные гранаты, потом загрохотали залпы, и пули, словно горох, посыпались отовсюду.

«Напала... банда!» — вскакивая, решил командир.

За окном замелькали люди. Какие-то всадники скакали по батарее. Пулеметная очередь бесконечно долгой струей прокатилась во дворе. Ветхие ступеньки крыльца застонали под тяжестью бегущих ног.

Решетко быстро прикрутил ночничок, и слабый, еле видный огонек замигал по комнате.

В хату ворвалось человек семь незнакомых вооруженных людей.

— Ты кто? Командир? — крикнул один из них.

— Никак нет. Я писарь, — поднимаясь с табурета, сказал Решетко. — Он вам нужен? Ежели желаете, сейчас позову, он напротив квартирует.

— Зови, едрена вошь, да живее! — крикнул кто-то в ответ.

— А по какому делу? — притворяясь непонимающим, спросил командир, уже отворяя дверь.

— Зови сюда! Сами ему об этом доложить будем, — усмехнулся в ответ стоявший у окна махновец.

Решетко не спеша вышел во двор и, прячась в тени сарая, перешел на другую сторону улочки. Там было караульное помещение, пулемет и человек десять батарейцев дежурного наряда. По всему селу грохотали залпы. Пули роем носились по воздуху. Казалось, что бой идет во всех дворах еще полчаса назад мирной и тихой Одинцовки.

Командир покачал головой и быстро нырнул в темневший вход караулки.

В помещении было человек двенадцать перепуганных, растерявшихся красноармейцев, в первую минуту даже и не узнавших в вошедшем своего командира.

— Смирно, не дрейфь, ребята! Оружие есть?

— Так точно, у всех есть, — ответили голоса.

— Запереть двери! Да припри их чем-нибудь потяжелее. У кого есть гранаты? — спросил командир.

Гранат оказалось всего семь штук.

— Добре. Семь гранат — это, братцы мои, бо-ольшое дело, — усаживаясь за пулемет, сказал Решетко. — А ну, стрелки, приготовьтесь. Я сейчас пугану этих гостей вон из моей квартиры, а вы в дверях встречайте. — Говоря это, он выпустил полпулеметной ленты прямо в единственное окно своей убогой комнатки.

При свете зажженной бандитами лампы было видно, как грузно повалился на пол стоявший у окна махновец. Остальные кубарем посыпались из дверей. Залп красноармейцев повалил еще трех человек, а командир Решетко, уже не глядя на бежавших из его хаты бандитов, открыл рассеивающийся огонь из пулемета по коновязям и батарее, где возле брошенных орудий хозяйничали махновцы. Он стрелял больше четырех минут, успевая только менять ленты, и под его шквальным огнем падали и люди, и кони.

Комиссар Михайлов только что вынул книгу и не успел еще даже раскрыть ее, как в комнату вбежал один из батарейцев.

— Беда, товарищ комиссар! Махновцы на батарее! — крикнул он и выбежал вон.

Михайлов отложил в сторону книжку и выглянул в открытое окно. Над селом прокатился залп, поблизости

застучали конские копыта. Комиссар сорвал со стены патронташ, сунул за пазуху гранаты и, схватив винтовку, выбежал во двор. К нему подбежало несколько красноармейцев; в первом из них он узнал разведчика Дроздова, остальные были батарейцы и бойцы из четвертого эскадрона.

— Товарищи, сюда! Ложитесь в цепь! — крикнул Михайлов и первый залег в канаву под забором у самого переезда.

Красноармейцы легли рядом, и сейчас же из-за колодца, стреляя на всем скаку, вынеслась пулеметная тачанка, за нею, обгоняя ее слева, мчалась другая, а позади и по бокам скакали конные. Поднявшееся над домами пламя пожара озарило дорогу и часть села. Комиссар видел, как у колодца упал сбитый пулею красноармеец, как у коновязи отбивался от двух конных бандитов часовой. Он отчетливо видел, как сверкнула и опустилась пашка одного из махновцев и как задергался на земле часовой. Первая тачанка, сделав крутой заезд влево, внезапно повернула к ним. Коренная, фыркая и горячась, неслась прямо к канаве. Пристяжные, откинув головы и храпя, были уже совсем близко. На тачанке за пулеметом сидело двое бандитов, позади них, в барашковой шапке, в галифе, с обрезом в руке стояла женщина.

— Взво-од, пли! — поднимаясь на одно колено, закричал комиссар и, откинувшись назад, швырнул под ноги тройке гранату-лимонку.

Столб крутящегося вихря подсек коням ноги. Коренная упала, а налетевшая на нее тачанка перевернулась, увлекая за собою одну из пристяжных. Другая, оборвав построюки, бросилась в сторону, свалив с коня мчавшегося сбоку всадника. Короткий красноармейский залп врезался в общий грохот пальбы. Четверо махновцев упали, но вторая тачанка, обскакивая место, где бились упавшие кони, заскакала лежавшим во фланг и открыла вдоль по канаве продольный огонь. Комиссар чувствовал, как возле его лица, обдавая струйкой ветерка, неслись пулеметные пули, слышал, как шлепнулось, вонзилось в землю несколько стальных ос, как застонал и охнул соседний красноармеец.

— За Советскую власть!.. Смерть бандитам! — закричал Михайлов и швырнул вторую гранату в кучу набегавших слева махновцев.

Он видел, как его граната разорвалась в самой середине толпы и как врассыпную бросились махновцы.

Полянка и дорога все сильнее и больше заполнялись врагами. Из-за поворота дороги поодиночке и группами скакали бандиты. Их уже было сотни полторы. Рассыпавшись в цепь, стреляя из пулеметов и осыпая канаву винтовочным огнем, они с криком и бранью окружали засевших в ней красноармейцев. А над селом все сильнее вставал пожар. Комиссар слышал, как сквозь вой пламени, свист пуль и грохот гранат гудел набатный колокол.

— Обходят, товарищ комиссар, обходят! Сейчас конец нам будет, — услышал Михайлов срывающийся шепот подползшего к нему Дроздова.

— Товарищи, бегом в избу! А я с гранатами задержу бандитов, — сказал комиссар и, размахнувшись, кинул вперед третью лимонку.

Словно горячий прут хлестнул и обжег ему руку. В левом плече заныло, рука наливалась свинцом.

«Ранен», — подумал комиссар и оглянулся. Он был один. Волоча за собою руку, комиссар пополз по канаве. Пули с неистовой силой хлестали вокруг, но комиссар знал, что красноармейцы уже добежали до хаты и стреляют оттуда, облегчая ему отход.

Он дополз до конца канавки и, пригнувшись, побежал по бурьяну вдоль забора к хате. Под ногами его вставала пыль. Пули рвали землю. У самого порога комиссар пошатнулся. Вторая пуля вонзилась в плечо. Красноармейцы втащили ослабевшего комиссара в комнатку и положили его на полу.

— Стреляйте, товарищи, стреляйте! Отбивайтесь... а я сейчас... только отдохну и тоже... — тяжело дыша и делая паузы, проговорил Михайлов.

Огромным усилием воли он заставил себя приподняться и, несмотря на сильную боль в плече и капавшую кровь, отстегнул правой рукой кобуру, достал наган и, вынув из-за пазухи две последние лимонки, сел у самого порога, упершись для крепости ногами в стенку. Его начинало мутить. Голова тяжелела, охватывала сонливость, но тогда Михайлов усилием воли отгонял от себя оцепенение и напряженно прислушивался к грохоту боя, к голосам бандитов, стрелявших уже из-под стены.

— Сдавайся, красная сволочь! Все одно побьем! — звавсем близко от комиссара прокричали со двора.

Еще один красноармеец рухнул на пол. В темноте комиссар уже не видел и не знал; сколько защитников осталось в этой низенькой деревенской хатенке. Через разбитое окно влетел град пуль, пущенных в упор из ручного пулемета. Еще один повалился со стоном, и только в углу у печки кто-то упорно и неторопливо стрелял через окно по мелькавшим на свету бандитам.

«Наверно, Дроздов», — подумал комиссар.

Его отшвырнуло в сторону, и он сильно ударился головой о стену. По лицу потекла теплая кровь. Пробежавший мимо махновец швырнул в окно гранату. В углу кто-то охнул и, роняя хозяйские чашки, медленно сполз на пол. В комнате стало тихо.

«Кажется, все!» — подумал комиссар и негромко спросил:

— Кто-нибудь есть живой?

Никто не ответил, и только со двора сквозь разбитое окно влетали шум боя и голоса махновцев. У самой двери послышались шаги.

— Сдавайся, эй, слышь, которые жить хотят! — крикнули со двора.

Комиссар молчал. Он затаил дыхание, чтобы не выдать себя. «Только бы не потерять сознание... только бы не ослабеть», — думал он, напряженно всматриваясь в темноту.

— Эй, кому говорю! Сдавайся! Усе ваши на селе побиты. Ну! — уже грозно закричал стоявший у двери.

Видя, что ему не отвечают, он сделался храбрее и толкнул прикладом дверь.

— Не лазь, слышь, Мосей, не лазь в хату. Они там сховались, гляди, с винта вдарят! — крикнул кто-то сзади.

— Не вдарят. Усе посдыхали, — произнес чей-то грубый голос.

Дверь рванули, и она, полусбитая пулями с петель, с визгом упала во двор. В проходе стоял огромный детина, за спиной которого виднелись другие.

— Усех побили... Жаль, ушли от мене, гады, — сказал махновец и шагнул внутрь.

Напрягая всю свою волю, комиссар изо всей мочи ударил возле себя обеими лимонками об пол. Теряя сознание, он еще успел заметить, как зашатался, падая, махновец, как с воем кинулись прочь остальные и как, в пыли и

грохоте, провалилась внутрь ветхая крыша ставшей ему могилой хатенки.

Дежурный эскадрон с полубатареей первый подошел к Одинцовке. Обстрелянный заставами махновцев, эскадрон атаковал сторожевое охранение, смял его и, отбросив за мост, повел наступление на село. Два орудия открыли огонь по рассыпавшимся вдоль берега махновцам, третье же стало бить по мосту.

На селе уже догорал пожар, хотя красные, оранжевые и багровые клубы дыма все еще ходили над Одинцовкой. Спешившиеся конармейцы, выбивая гранатами из камышей врага, медленно подходили к мосту. Рассыпавшиеся по берегу группы махновцев яростно отбивались от них, и только картечь сгоняла бандитов за реку.

«Опоздали! Сам Махно уже ушел. Ясно, что эти бандиты прикрывают отход своего батьки», — с досадой подумал Самойлов, слушая отчаянную пальбу и треск пулеметов, защищавших броды махновцев. К нему то и дело приводили одиночных красноармейцев и крестьян, спрятавшихся от бандитов в густом кустарнике и камыше, росшем по берегам реки. Они были испуганы, дрожали от озноба и волнения и долгое время не могли связно рассказать о налете врага.

Стрельба у моста стихла, но вдоль дороги с новой силой застучали пулеметы.

— Отходят... Главные их силы уже с час как ушли на Воронцовку, а сейчас и эти пошли за ними, — доложил один из разведчиков, переплывший реку и добравшийся до села. — Суматоха там идет, товарищ командир, большая... Наших порубанных лежит много, да и бандюков тоже хватает... так скрозь и валяются. Спешить надо. Там есть красноармейцы, которые из домов бьются.

Через минуту все три орудия на высоких разрывах осыпали шрапнелью окраину села и дорогу, ведущую на Воронцовку. Перебежав мост и добив попавшихся на пути отдельных махновцев, конармейцы ворвались в село. За ними с грохотом и шумом понеслись полубатарея и один конный взвод, прикрывавший ее.

Дивизион кавалерии с одной пушкой под командой Кулика подходил к селу Александровка. Хотя до Одинцов-

ки было еще далеко, но зарево осветило край степи. Его причудливые, фантастические отсветы, ежесекундно меняясь, пробегали в вышине, и чем темней была ночь, тем отчетливей и ярче казались эти колеблющиеся зарницы далекого пожара.

— Здорово полыхает, — покачивая головой, сказал начарт и тихо скомандовал: — Голова колонны, стой!

Черная длинная линия всадников остановилась. От шедших впереди дозоров скакал посыльный.

— Товарищ Кулик, на селе никого нет, кроме жителей. Наша застава прошла дальше. Там председатель сельсовета до вас желает прийти. Перепугались, не спят, боятся, как бы и сюда бандюки не кинулись, — доложил конный.

Хотя было уже поздно, но в селе не спали. Горели зажженные огни, лаяли собаки, перепуганные женщины тащили куда-то голосивших детей. Толпа крестьян сосредоточенно и молча стояла у дороги, ожидая подходивший отряд. Это была самооборона. Убедившись, что это красивые, они повеселели, стали разговорчивей, кое-кто закурил, а успокоенные женщины стали тащить обратно в дома свои сундуки, рухлядь и плачущих детей.

— Командир, только сейчас наши молодые ребята прибежали из степи. Они там сторожили, чтобы предупредить вас. Они говорят, что Махно со своими людьми ушел из Одинцовки и повернул на Воронцовку, — сообщил Кулику председатель сельсовета.

— Есть отсюда короткий путь на Воронцовский шлях? — спросил начарт.

— Есть.

— Мосты исправлены? Пройдет пушка?

— Пройдет, — сказал председатель.

— Добре. Давай нам твоих разведчиков, пускай покажут дорогу.

И, забрав двух парней, Кулик повернул свой отряд на юго-запад и повел его по степи на Воронцовку.

— Григорий Иваныч, а не подведут, не обманут нас жители? — осторожно спросил Сергей.

— Нет. Во-первых, им самим от Махно смерть и разорение, а во-вторых, я был уверен в том, что банда не пойдет на Андреевку, а обязательно свернет к Воронцовке.

— Почему же? — спросил Сергей.

— Очень просто. Махно не дурак и отлично знает, что сейчас по тревоге отовсюду скачут на помощь Одинцовке наши эскадроны. И из-за Игренья, из Капинки, и из Грай-Ворона, а вот в Воронцовке-то у нас ничего нет. Ясно, что он с главными силами бросится туда, а для отводу глаз мелкие партии кинет по степь в разных направлениях.

Спустя полчаса отряд кавалерии, пройдя пышные поля, спустился в Сухую балку и, следуя по ней, вышел на Воронцовский шлях. На шляху за курганами было тихо. Зарево догоравшего пожара опустилось за горизонт. Ночь, темная и густая, опять повисла над землей.

Впереди, рядом с охранением и проводниками, ехал Кулик. Дойдя до разветвления дорог, ведущих на села Воронцовку и Гашун, он спешил отряд и, сведя его с дороги в балку, оставил там. Между курганами уже лежала спешенная цепь конармейцев. У дороги, в кустах и ложбинке, стояло пять пулеметов, глядевших в темноте своими тупыми стальными рыльцами прямо на дорогу. Из ерика чернел ствол замаскированной пушки.

— Ну, все готово для встречи дорогих гостей,— обойдя позицию, сказал Кулик и лег на траву возле наблюдателя.

Восток уже посерел. Влажный туман, оторвавшись от земли, низко стлался по равнине. Предутренний холодок пробежал по курганам. До восхода солнца было недалеко, хотя мгла еще курилась и была дымчатой и неясной.

— Идут,— сползая на животе с кургана, прошептал наблюдатель.

Кулик сильнее прижал к глазам бинокль и, не двигаясь, глядел вперед, в темную мглу, которую прорезал какой-то шум. Лежавшие в засаде конармейцы затаили дыхание.

— Без моего приказа не стрелять,— не отрывая от глаз бинокля и не поворачивая головы, сказал командир.

Шум нарастал. Уже отчетливей слышались цокот копыт, бряцание сабель и прерывистый храп коней. Из серой мглы вырвались конные. Они на широкой рыси пронеслись мимо, обдавая стремительным, свистящим ветерком лежавших у обочины конармейцев. Они как видение, как выходцы тьмы пронеслись мимо и исчезли за дорогой. По-видимому, это были передовые. Не успел

растаять стук копыт, как вдали, за курганами, снова возник шум. Но теперь это был топот множества коней. Стучали колеса, тархтели телеги, раздавались возгласы, отдельные голоса. Темная масса быстро катилась по дороге, и вместе с нею рос и приближался гул. Вдоль дороги бежало облако пыли, уже различаемое глазом в дымчатой предутренней мгле.

Восток посветлел. Сквозь мутную и седую мглу просачивался свет. Пока еще слабый, еле ощутимый, он раз и другой пробежал по степи и, как бы задерживаясь на гребнях курганов, медленно пополз дальше. Словно какая-то пелена сдергивалась с горизонта. Он светлел и окрашивался в розоватый цвет.

Из-за поворота вынеслась толпа конных. За нею сплошной массой скакали тачанки, телеги, экипажи. Они уже миновали курганы. Низко опустив головы, откинув назад шеи и тяжело дыша, вылетела первая тройка. За нею мчалась вторая, третья... остальные. Пыль, кружа, взлетала из-под копыт разъяренных скачкою коней. С их морд летела пена. Грызя удила, они неудержимой лавиной неслись вперед.

— Огонь! — закричал начарт.

Из дула орудия вырвалось пламя. Горячая картечь врезалась в коней. Ровный залп раскатился по степи. Забили пулеметы.

— Беглый, шесть патронов! — снова закричал Кулик.

Дым и пламя рванулись на дороге. Картечь в упор секла людей, кромсала конские тела, экипажи. Давя друг друга, в скрежете, воплях и треске падали люди, валились тачанки. Раздавленные кони бились внизу под кушей налетавших на них тел. Стоны, хrapение, вопли неслись с дороги, а неумолимая пушка все озарялась вспышками огня, и раскаленная картечь хлестала по дороге.

— Эскадро-о-ны, по коням! В атаку марш-марш! — скомандовал начарт.

Осыпaeмый пулями, заметался и рассыпался хвост колонны. Прыгая с коней, бросая тачанки, по степи бежали люди, отстреливаясь от яростно рубивших их кон-армейцев. Одиночные всадники и несколько экипажей карьером неслись обратно к Одинцовке.

Осторожный и хитрый Махно, как всегда, ехал в хвосте колонны, в одной из последних тачанок. При первых

же выстрелах он спрыгнул на землю и, сопровождаемый своим «адъютантом» анархистом Евтушенко и телохранителями Степурой и Максюком, бросился в сторону от дороги. Замыкавшие колонну ординарцы «бабки», ведущие в поводу двух заручных и оседланных коней, подскакали к атаману, и Махно, вскочив в седло, сопровождаемый всего пятью всадниками, во весь опор понесся в сторону от места боя, бросив на произвол судьбы банду с награбленным ею в Одинцовке имуществом.

Комбриг Горячев, прозванный за свою отвагу и молодечество «удалой головой», вел из Игренья на широкой рыси эскадроны в сторону Одинцовки. Проскакав Александровку и выйдя к перекрестку дорог, шедших на Анненфельд и Крутояры, комбриг услышал частые оружейные выстрелы и пулеметную трескотню. Не останавливая эскадроны, Горячев на рысях развернул их в лаву и широко наметом понесся на шум боя. Неожиданное и быстрое решение комбрига довершило разгром маховской банды. Охватив бегущих маховцев, эскадроны в короткой и беспощадной рубке истребили весь конный заслон и конвой атамана. Больше сотни зарубленных бандитов, девять пулеметов, свыше двухсот оседланных коней и много телег и тачанок с награбленным имуществом было захвачено лихим кавалерийским ударом Горячева. Пленных почти не было. Разгоряченные боем буденновцы только к концу рубки оставили в живых и захватили в плен десятка полтора бандитов.

Часов около одиннадцати утра отряд Кулика возвратился в Одинцовку. Вся прилегающая к реке часть села обгорела. Завалившиеся хаты и сараи еще курились, и крестьяне вместе с красноармейцами ведрами заливали черные дымящиеся руины.

На площади начарта встретил командир батареи Решетко, стоявший впереди шеренги артиллеристов.

— Смирно! — скомандовал Решетко и, подойдя к Кулику, доложил: — Во вверенной мне батарее все орудия и все зарядные ящики целы!

...После полудня в братской могиле, вырытой возле полусгоревшей колокольни, хоронили убитых бойцов.

Грохнул прощальный залп орудий батареи Решетко, и комья земли полетели в могилу. Бабы заголосили. Мужики закрестились, а стоявший вокруг эскадрон вместе с Куликом запел «Интернационал».

Красное знамя заалело, заплескалось над бойцами.

— Эска-дро-оны, по коням! — раздалась команда.

Застучали колеса орудий, взметнулась коричневая пыль, по дороге заструились конские копыта, и отряд, извиваясь длинной лентой, потянулся обратно из Оди-
цовки.

Приказом по Конной армии за подписями командарма Буденного и члена Реввоенсовета Ворошилова первой батарее навечно было присвоено имя героически погибшего комиссара Михайлова.

ЭСКАДРОННАЯ ЛЮБОВЬ

Р а с с к а з



I

— А у меня, друзья, рассказ этот будет не о пылкой любви и не о страданиях неразделенной страсти. В нем не будет даже романтики любви. Словом, не о том, о чем пишут в романах о влюбленных. Мой рассказ будет иной... Я расскажу вам о том, как целый эскадрон бойцов полюбил одну женщину и какие удивительные эмоции родила эта любовь... — улыбаясь, сказал директор и потушил папиросу.

— Эскадрон... одну женщину? — удивленно переспросил инженер.

— Да, одну... — тихо, словно отвечая себе, повторил Чеплыгин, закрывая глаза. — Это было на Дону... Летом тысяча девятьсот девятнадцатого года. Шли бои. Деникин наступал, мы задерживали белых. Горячие, кровавые дни, когда забывалось все — и дом, и семья... Когда чувства, похожие на любовь, отодвинулись в сторону... Бои, отступления, разведки, налеты — какая тут любовь! Кругом смерть, пули, сожженные хутора, обезображенные трупы и трясущиеся, перепуганные, обездоленные люди... Обстановка, не располагающая к любви. И вот тут-то, оказывается, в это самое время, любовь и взяла в плен целиком весь эскадрон.

Он мягко улыбнулся, открыл глаза и, оглядывая слушателей, повторил:

— Целиком! Недалеко от станицы Великокняжеской по линии железной дороги есть село Ельмут, частично населенное немцами-колонистами, предки которых когда-то переселились сюда из Германии. Преследуя белых, мы

с налета захватили это село. Пока пехота обстреливала вокзал, мы с гиком проскочили по улицам, срубили несколько не успевших скрыться кадюков и заняли станцию. Село стало нашим, противник бежал. Был я тогда командиром третьего эскадрона тридцать четвертого полка дивизии Буденного. Бойцы у меня были народ лихой. Почти все казаки-фронтовики, изведавшие всю тяжесть галицийских походов и карпатских боев. Это были надежные, крепкие ребята. Большинство из бойцов покинуло своих жен, отступая с нами с Терека и Кубани, и где и как, в каких условиях находились их семьи, никто не знал.

После боя наш полк, как наиболее потрепанный в операции, оставили в резерве, на отдых, дней этак на четыре-пять, в этом же самом селе. Дивизия пошла дальше, а мы порасседлали коней и отдыхаем. Отвели моему эскадрону место на северной окраине села, невдалеке от реки. Осмотрел я взводы, оглядел коней, поговорил с бойцами и пошел в штаб полка за новостями и инструкциями; а обычно сам я располагался всегда с первым взводом эскадрона. Посидел около часа в штабе, выяснил все, что мне было надо, и вернулся обратно в эскадрон. Гляжу, больше половины взвода нет — ни людей, ни коней не видно. Хаты, в которых взвод расположился, пусты, и только человек семь бойцов в одних рубашках лежат, прохлаждаются в тени под навесом сараев. Что за оказия?

— Где первый взвод?

— Переменил фатеру,— смеется кто-то,— ребята к реке ближе подались.

— Купаются, что ли? — спрашиваю.

— Да нет... уже все покупались, а то так, насовсем перешли.

— Как насовсем? А где Игнатенко... взводный?

— И он там. От него главное и пошло. За им, кобелем, весь взвод к мельнице увязался.

— К какой мельнице? — не понимаю я.

— К обыкновенной. Во-о-он она, отсель виднеется...

— Да какого лешего им там надо?

Бойцы расхохотались.

— Не лешего, товарищ командир, а бабы... Там дюже хорошая баба, мельничиха, имеется, а Игнатенко ее как завидел, так туда свой штаб и перевел... А за ими весь взвод подался... Гляди, кабы весь эскадрон к ночи там не

был, дюже немка добрая... У ее морда будто рисованная.

— На что я холостой, аж и то к ночи на мельнице буду,— добавил другой, и вижу по глазам говорящих, что дело серьезное, несмотря на шутки и кажущуюся беспечность.

Обошел расположение взвода — пусто. Злоба меня тут охватила и, признаюсь, любопытство. Да оно и вполне понятно. Было мне лет двадцать восемь, мужчина крепкий, молодой, а тут еще слова о писаной красоте мельничихи разожгли... Физиология, конечно, чистая физиология, как там ни говори, но я в те минуты даже сам себе не поверил... Ку-д-да там! Мне казалось, что я немедленно же должен идти на мельницу только потому, чтобы распечь, обругать Игнатенко, увести обратно взвод и так; краешком глаза, взглянуть на хваленую немку, очаровавшую бойцов.

— Безо-б-разие! — проговорил я и пошел к мельнице, где расположился исчезнувший взвод.

И хотя я нахмурился и сделал строгое лицо, но по ироническим взглядам моих информаторов ясно видел, что они не поверили мне.

Мельница была невелика. Обыкновенная водяная мельница с небольшой плотиной, над которой буднично свисали ивы. Остановленное колесо, отсутствие сутолоки и гама придавали мельнице грустный, запущенный вид. С первого взгляда она очень напоминала оперную заброшенную мельницу из «Русалки». Тот же обрыв, та же тишь и безлюдье. Но это только с первого взгляда. Когда я подошел к саду, из-за деревьев показались люди. В густой тени лип была разбита коновязь, у которой мерно шагал дневальный. У стен жилой хаты сидели бойцы. Весь их вид говорил о том, что они расположились тут надолго и по-домашнему. Одни купались в реке, другие, свесив ноги в воду, чинили белье, третьи возились с седловкой. Разбросанные вещи взвода, домовитый покой говорили о том, что люди уже прижились к этому месту, чувствовали себя здесь хорошо и что тревожить их было бы совсем лишним. И эта уютная оседлость еще больше обозлила меня.

— Где взводный?

— Только что туточки был. Должно, в хату пошли,— оглядываясь, сказал один из мывших ноги бойцов и добродушно предложил: — Ты б, товарищ командир, помылся. Вода здесь вежливая, теплая. Усю грязь начисто отмое.

Я сердито глянул на него и только что хотел предложить собираться к обратному путешествию в село, как из дверей хаты вышла женщина, и я сразу же забыл, зачем я пришел сюда. Она была невысокого роста, с ярко-рыжими волосами, большими серыми глазами и с чуть полнеющей фигурой. Было ей, вероятно, лет двадцать пять. Она искоса быстро взглянула на меня и, опуская глаза, почти прижимаясь к стене, робко прошла к плетню, на зубьях которого висели сохнувшие на солнце тыквы. Я глупо поглядел ей вслед и неизвестно для чего pokrutil свои отросшие усы.

— Мельничиха... Ха-а-рошая баба. Германка!— глядя на возившуюся женщину, пояснил боец.— Мельник с беляками тикал, а она осталася... Сочная ягодка! — причмокнул он.

Его слова, вероятно, долетели до немки. Не оглядываясь, она еще ниже пригнула голову и, сняв с кола большую румяную тыкву, поспешно внесла в хату.

Солнце сильнее ворвалось во двор мельницы, или же мне это только показалось, во всяком случае мне стало жарко и радостно.

— Игнатенко наш лисой кругом нее ходит... С самого утра ужом круг нее плетется...— сердито продолжал боец.

Другой, чинивший перебитый пулей арчак, коротко вставил:

— Мало что ходит. Это еще не факт, что взводный. Насчет бабов начальства нету.

— Правильно! — засмеялся кто-то.

Я пристально оглядел говоривших. Они замолчали, недружелюбно принимая мой взгляд.

«Надо сейчас же уводить отсюда взвод»,— решил я и вошел в хату.

II

Жилище мельничихи было из двух комнаток. Первая была прохладными сенцами, в которых находились разные домашние вещи: чугуны, ведра, корыта, сломанный

табурет, какая-то рухлядь. Все это было расставлено по углам. За занавеской пряталась крохотная кухонька. Во второй комнате, светлой и чистой, сидел у стола Игнатенко и, надувая щеки и делая страшное лицо, пускал пузыри, играя с девочкой лет четырех. Ребенок, видимо уже привыкший к чужому, смеялся, плепал ручонками и в свою очередь строил уморительные гримасы. У порога сидели двое бойцов. На широкой лежанке лежали аккуратно сложенная амуниция и шинель Игнатенко, а в углу стояли винтовка и два патронташа взводного. Сам Игнатенко был в чистой гимнастерке с расстегнутым воротом, вымытой шеей и гладко побритым подбородком.

«Устроился по-домашнему», — хмуро подумал я, подходя к взводному. Мой приход смутил Игнатенко. Он неуклюже встал, почесался и, глядя куда-то в сторону, неопределенно сказал:

— Ну, чего есть нового, Василь Григорьич? Может, чайку горячего попьем? — совершенно некстати спросил он, явно уклоняясь от предстоящего разговора. И это смущение, семейная обстановка со смеющимся ребенком, гладкие щеки, расставленные в спокойном порядке вещи взводного обозлили меня.

— Устроился? — коротко спросил я.

Взводный вздохнул и, отворачиваясь в угол, сделал вид, будто бы ищет кисет.

— Вот что, любезный друг, собирай взвод да выводил его обратно в село, на старые квартиры, а о нарушении дисциплины поговорим позже...

Игнатенко повернул ко мне красное, вспыхнувшее лицо. Его глаза сердито сверкнули, и он обидчиво забормотал:

— Почему обратно? Это я вовсе не понимаю, к чему подобное, товарищ эскадронный. Да! Опять же тут и вода, и сено, и луг... коням легче... Да-а... А насчет взвода, Василь Григорьич, я ничего не имею, я его не звал, он сам сюды перебрался. — И, окончательно запутавшись, замолчал, судорожно мигая своими белесыми веками. По его красному, загорелому лицу пошли белые пятна. Девочка, умолкшая при моем появлении, тихо заплакала, оглядываясь на дверь.

— Довольно, товарищ Игнатенко. Стыдно тебе, взводному командиру, делать на фронте подобные вещи! Взвод здесь ни при чем. Собирай людей и веди их обратно! —

сухо приказал я и почувствовал, как кто-то схватил меня сзади за рукав.

Я повернулся. Передо мной стояла мельничиха. Прямо в упор на меня смотрели два огромных серых глаза. Даю вам слово, что никогда, ни до того, ни после, не видал я таких прекрасных глаз! Быть может, это было мгновение, а может, и несколько минут. Что-то глубокое, новое и такое сильное было в них, и вдруг две большие слезы медленно выступили из-под ресниц и скатились по щеке.

— Гос-по-дин... това-а-рищ... — лепечет она, дергая меня за рукав, — не надо... уходил... не... надо, не на-а-а-адо! — выкрикнула она последнее слово и как грохнется к моим ногам...

Упала, волосы рыжие волной разметались, сапоги мои пыльные залили, а сама дрожит, рыдает. Ребенок увидел это, ка-ак взвост! Растерялся я. Чувствую, что что-то надо делать, сказать слова какие-то мягкие... успокоить, а что сказать — и не знаю. И эти слова «не на-адо», с огромной тоской и болью сказанные, так меня по сердцу резанули, что понял я: неспроста так горько мучается эта женщина. Поднял я ее, отвел к столу, а Игнатенко из сенцев воды ей в кружке принес. Отпила она воды, одной рукой кружку держит, другой — дочку к себе прижимает. Не силен я в живописи, но, знаете ли, что-то фламандское, классическое было в этой сцене. Настоящий Ван-Дейк! Красивая, розовая, плающая жизнью рыжеволосая немка с потоками слез на щеках и круглая, толстенная девчурка у нее на коленях... а колени, обозначившиеся под платьем, тоже фламандские, полные, ну прямо с полотна классических голландцев. Подождал я минуту, вижу — успокаивается женщина, и тихо так, ласково говорю:

— Вы, гражданка, не хотите, чтоб мы отсюда уходили?

Мельничиха, глотая слезы, молча мотнула головой.

— А почему? Вы объясните. Если причина стоящая, тогда я отменю приказание. Вы понимаете меня?

— По-ни-ма-ю, — тихо, точно с трудом, проговорила хозяйка и подняла на меня глаза.

Словно плетью кто огрел меня по сердцу. Непередаваемой красоты... и ничего такого, что обычно утверждают господа романисты. Разные там намеки, страсти, недомолвки и прочее. Наоборот, такая грусть, такая скорбь, что одним этим тоскливым взглядом можно человеку всю

душу наизнанку вывернуть. Как будто в могилу близкого, только что умершего человека смотришь.

— Боюсь я... ночью... одна. Не надо уходил... не надо!

— Бойтся одна оставаться, без народа. Тут ее красоту весь эскадрон видел... Кто знает, чего может быть... Верно я говорю? — обрадованно заговорил Игнатенко. — Никак нельзя уходить!

Я отошел к окну и задумался.

В самом деле, если увести отсюда людей, то могла приключиться беда. Разве мог я поручиться за всех сто человек моего эскадрона? Конечно, нет. Время было военное, да и вообще могли сюда ворваться люди и из других частей. Да и просто сельчане, соседи, парни со станции, хулиганы, для которых события этих дней были б лучшим прикрытием для насилия.

Я посмотрел на женщину. Ах, как же красива была она в эту минуту! Ее робкий взгляд встретился с моим... Страх, обреченность, мольба, надежда были написаны в нем. А щеки немки горели таким румяным пламенем, так бурно пылали ее воспаленные губы, что я судорожно проглотил слюну и, вместо слов, погладил по голове плакавшего ребенка.

Глаза мельничихи вспыхнули. Не вытирая слез, она улыбнулась и тихой, виноватой походкой пошла в сенцы и загромычала посудой. Игнатенко недружелюбно сказал:

— Чай остаетесь пить? — и в его упавшем голосе явно прозвучали ревнивые нотки.

— Остаюсь, — сказал я, — и не только на чай, а и совсем!

Звон посуды за занавеской прекратился. Игнатенко круглыми глазами смотрел на меня.

— Я тоже перехожу сюда. Ночую с вами, — деланно беспечно сказал я и почувствовал, как легко сделалось мне. Словно что-то тяжелое отлетело в сторону.

И я снова погладил притихшую девочку и очень весело крикнул в сенцы:

— Ну что ж, хозяйка, угощай чаем гостей!

По хмурым лицам бойцов, по коротким, отрывистым ответам я понял, что взвод недоволен моим решением. Игнатенко сделался неразговорчив. Словно подчеркивая

свою неприязнь, он стал кстати и некстати подчеркивать «товарищ начальник». Я чувствовал на себе обиду взвода.

Хозяйка была молчалива. Настроение взвода передалось и ей. Она тревожно взглядывала на меня, на Игнатенко, и ее осунувшееся, невеселое лицо побледнело.

Чем ближе подходили сумерки, тем печальней и тревожней становилась женщина. Быстрые, нервные взгляды, случайные, невпопад сказанные слова, странные ответы выдавали ее волнение.

Ночь опускалась на село. В сенцах, на полу каморки и за дверями мельницы располагались в суровом молчании бойцы. Эта хмурая тишина пугала женщину, и, вероятно, поэтому она не отпускала от себя ребенка, ища в нем слабую, неверную защиту себе.

Я лег на полу в ее комнатке. У стены стояла деревянная лежанка, на которой возвышались подушки, одеяла и тюфяки. В сенцах, головой ко мне, улегся Игнатенко. Нас разделял только порог. Рядом с ним легли двое бойцов, а за раскрытыми настежь дверями — весь остальной взвод. Люди укладывались молча. Изредка слышался чей-нибудь короткий шепот да сдерживаемый кашель или вздох. И в этой волнующей, невеселой тишине была настороженная неприязнь взвода. Тихая донская ночь окутала землю. Тело ныло, но спать я не мог. В полутьме я слышал, как хозяйка глубоко и горестно вздохнула и осторожно прилегла на свою заскрипевшую постель. Что-то забормотал во сне ребенок, и сейчас же как по команде задвигались, закашляли, зашумели люди. От порога и вдоль лестницы раздались возня. Кто-то приподнялся. У двери чиркнули спичкой. Взвод не спал. Игнатенко протянул через порог руку и, нащупывая в темноте мое плечо, сказал совершенно некстати:

— Василь Григорьич, а который теперь будет час?

Снова наступила тишина. Опять тьма окутала нас, с неудержимой силой захотелось спать. Словно теплые, баюкающие волны охватили и закачали меня. Я сладко вздохнул, потянулся... и сейчас же огромным напряжением воли потушил в себе сон.

«Не-е-ет! Спать нельзя! Не-воз-можно!» — повторял я, в то же самое время чувствуя, как сладкий яд близости женщины охватил меня самого. Глаза хозяйки, серые, огромные, встали передо мной. Они звали сквозь тьму и были вот тут, совсем близко... Мне стало душно.

Было так тихо, что ясно слышалось, как билась крылом о потухший почник залетевшая на огонек бабочка. Темнота и волнение скрадывали расстояние. Мне казалось, что прекрасная немка лежит совсем близко и что стоит мне протянуть к ней свои горячие руки, как я встречу ответные объятия женщины. Я протянул руки... Тьма, пустота встретили их.

Во сне перевернулся и что-то пролепетал ребенок, и сейчас же я снова услышал над собою утащенное сопение Игнатенко. Я плотнее сжал глаза и задышал еще ровней и спокойней.

Текли часы. На секунду я забывался в быстром, беспорядочном сне, но сейчас же просыпался. Стоило кому-нибудь повернуться, чихнуть или сделать какое-либо движение, как весь взвод начинал копошиться, кашлять, усиленно вздыхать, чиркать спичками, переговариваться и этим давал понять каждому, что мы не спим, бодрствуем и внимательно наблюдаем один за другим.

Так лежали мы летней бессонной ночью у ног нашей хозяйки Минны. В окно уже просочился рассвет. Серые длинные тени заколыхались, скользя по стене. Утренний холодок, резкий и бодрящий, пробежал по комнате. Где-то вдалеке заскрипел журавель, и бледные, дрожащие звезды медленно растаяли на небе. Приближалось утро. До меня донесся храп. Еще минуту я слабо боролся со сном и затем словно провалился в глубокую яму...

Когда я открыл глаза, был яркий день. В окно глядело солнце. На дворе щебетали птицы, а за столом, причесанная, с повеселевшим лицом, хлопотала хозяйка. У окна играла девочка. На пороге, с сонным, опухшим лицом, сидел только что проснувшийся Игнатенко. Он скучно взглянул на меня и широко зевнул.

— Недоспал? — ехидно осведомился я.

— За суседями доглядал, чутко заспался, — не менее ехидно ответил взводный.

После обеда, обходя взводы, я снова пришел на мельницу. Мертвая тишина да клевавший носом полусонный дневальный встретили меня.

— А где люди? — спросил я.

— Спят, товарищ командир. Весь взвод лежит... Кто в саду, а которые на сеновале, — позевывая, сказал дне-

вальный.— Нехай днем поспят, ночью опять в сторожовку.— И хитрая улыбка оживила его сонное лицо.

Я пошел вдоль двора. Под тенью плетня, уткнувшись лицом в охапку свежего, пахнувшего цветами сена, лежал Игнатенко. Я остановился над ним. Вздвигая носом тонкие, замысловатые трели, изредка что-то бормоча. Возможно, ему снилась прекрасная Минна. Из-за деревьев торчали босые ноги, раскиданные руки и разметававшиеся тела бойцов. Я оглядел это сонное царство и недовольно покачал головой. В эту минуту в окне мстнулась рыжая, огненная копна волос, мелькнуло лицо мельничихи, и мне показалось, будто в ее больших серых глазах дрожал и искрился смех.

Я не поверил себе. Я так привык к ее испуганному, обреченному виду, что эта улыбка...

Я вошел в комнату. У стола возилась Минна. Она угловато поклонилась и сейчас же скрылась за занавеской. Ну конечно же это только показалось мне. Какая могла быть улыбка у этой запуганной, задавленной страхом женщины?

Потом мы пили чай. Я, Игнатенко и маленькая Пупсен, дочка Минны. Мы быстро сдружились с девочкой, а сахар, обильно посыпавшийся в ее растопыренные ручки, окончательно обморозил ее. Она поочередно садилась к нам на колени, весело щебеча какую-то немецкую песенку. Строя уморительные гримаски, она, коверкая, лепетала русские слова, проявив особенную нежность к черным, лихо закрученным усам Игнатенко. Она тербила их своей маленькой ручонкой, вызывая этим громовой смех бойцов и смущенную улыбку укоризненно качавшей головой матери.

— Мене все дети любят. Бо я дуже добрый,— прихвастнул вздвигаясь, победно глядя на меня.

«До их матерей»,— подумал я. Мне очень уж не понравилась сияющая, словно медный таз, глупая рожа вздвигаясь.

Хозяйка ухаживала за нами, но сестра за стол не решалась. Она поила нас морковным чаем, подливая бойцам горячий напиток. Из широкого зева русской печи она вытянула окутанные вкусным паром тыквенные пироги и горячие коржики и стала раздавать их бойцам.

К вечеру она достала из погреба два ведра холодного, устоявшегося молока и принесла их взводу. Мне же и Игнатенко молча поставила по крынке густого, прохладного каймака. Это заботливое гостеприимство растрогало бойцов. Люди повеселели. Совсем по-свойски, словно со старой знакомой, заговорили они с нею. В их словах, в самом обращении с немкой не было и тени вчерашнего заигрывания. Ненужная болтовня, упорные взгляды, назойливые приставания — все это рассеялось как дым. Это были другие люди, неожиданно нашедшие в этой случайно встретившейся женщине и в этом маленьком забавном ребенке свои где-то далеко оставленные, давно потерянные и наполовину забытые семьи и дома.

И хозяйка почувствовала это. Ее глаза стали внимательней, спокойней, движения уверенней и легче. Угловатость и робость, выдававшие волнение, почти оставили ее. Она легко и свободно держалась с бойцами, заговаривая с ними, подходя и угощая их, и только по отношению ко мне и Игнатенко у нее остались прежние недоверие и страх. Не знаю, быть может, я ошибался, но всякий раз, как только я ловил ее редкий, искоса брошенный на нас взгляд, мне приходила в голову эта мысль.

В одиннадцать часов мы потушили огонь. Как и вчера, я спал на старом месте, в комнатке Минны. Игнатенко — в сенцах за порогом, головою ко мне, а бойцы в прежнем порядке на лестнице и дворе. Словом, все было по-вчерашнему, с тою лишь разницей, что женщина уснула раньше всех. Теперь, после того как весь взвод почувствовал в ней своего, близкого и родного человека, ей никого уже бояться не приходилось. И хотя к концу вечера глаза ее снова стали грустными и настороженными, тем не менее я видел, что в ней произошла какая-то перемена. Ложась спать, она спокойно убаюкала ребенка, напевая ему тихую колыбельную песню. Через несколько минут хозяйка уснула.

И эта ночь прошла для меня без сна, хотя я слышал дружный храп взвода и спокойное, ровное дыхание женщины.

Не знаю, быть может, я что-либо прошептал или сделал какое-то движение, не помню, но сейчас же щелкну-

ла зажигалка и слабый огонек озарил склонившееся над мною лицо Игнатенко.

— Что надо? — щурясь от света, спросил я.

Зажигалка потухла, и глаза взводного, с подозрением глядевшие на меня, исчезли.

— Блохи! Спать не дают... гады... — со вздохом сказал Игнатенко.

«По морде бы тебя!» — подумал я.

Образ Минны, с таким трудом почти восстановленный мною в памяти, рассеялся как дым. И даже ее огромные глаза растворились в темноте.

А из уголка комнаты, где лежала виновница нашей бессонницы, доносилось ровное дыхание. Хозяйка спала. Спали и бойцы. Их могучий храп эхом переливался во дворе, и только мы, два полувлюбленных болвана, сторожили друг друга.

Утром эскадрон мылся в баньке во дворе мельницы. Через двор были протянуты веревки, на которых висело мокрое, сушившееся белье бойцов. По двору сновала хозяйка. Лицо ее было оживленно, глаза смеялись. Она покрикивала на мужчин, неуклюже стиравших белье. Вдруг немка нагнулась над чьим-то корытом, отодвинула смущенного бойца и стала энергично стирать его грязные, заношенные портки. Брызги пены и воды разлетались в стороны от сильных движений Минны. Из-под платка выбился клочок огненных волос немки. Через минуту она вместе с двумя бойцами уже носила охапки дров и соломы для подтопки бани, в которой повзводно мылся эскадрон.

Я помылся и, бодрый, освеженный, вернулся в комнату. Хозяйка поднялась из угла и, пригласив к столу, снова села и стала молча штопать вымытое красноармейское белье. Во дворе группами прохаживались бойцы. Тут были люди из всего эскадрона. Когда один из вновь пришедших эскадронцев брякнул что-то по адресу нашей хозяйки, весь взвод негодуя зашумел на него. Даже стихли похабные песни и бранные слова, без которых так трудно было прожить нам в те дни. Если у кого-нибудь срывалось с языка колючее словцо, сейчас же и бойцы и сам неосторожный старались замять его.

Взводный, не сводя млеющих глаз с хозяйки, с трудом допивал третью чашку морковного чая. Он тяжело

сопел и, вытирая полотенцем пот, мучительно пил ненавистный ему чай. Минна, доштонав синие с белыми полосами подштанники, подошла к нам и, передавая их просиявшему взводному, сказала:

— Готово... носите здоровье!

Игнатенко вскочил и, проводя ручищей по усам, галантно ответил:

— Мерсю! — и, перекинув через руку свои «невыразимые», сияя, сказал, указывая на Минну: — Они, Василь Григорьич, здорово белье чинюць, чистая портнойка.

— Давай ваше белье... командир... я его буду стираль, починяйт, — сказала хозяйка и подняла на меня глаза.

Лучше б она ударила меня палкой, чем этот неожиданный взгляд в упор. Я почувствовал, как по моей спине заходили мурашки.

— Спасибо, не надо, — буркнул я и стал надевать португю.

— Куда, Василий Григорьич? — довольным, разнеженным голосом спросил Игнатенко.

— В штаб полка, — сказал я, застегивая кобуру. — А ты бы, взводный, осмотрел коней. Как у тебя с боеприпасами во взводе? — отворачиваясь от пристального взгляда хозяйки, поинтересовался я.

— Ничего, запас полный, — сказал Игнатенко и тревожно спросил: — А что? Разве скоро в поход?

Я и сам не знал этого, но, заметив испуг в глазах хозяйки, почему-то соврал:

— Скоро! — и вышел из хаты.

Мне совсем не нужно было идти в штаб. Я просто почувствовал, что нужно сейчас же уйти из дому и возможно дольше не быть возле немки.

«Надо реже встречаться с нею... Меньше думать о ней. Да и какое мне вообще дело до нее! Пусть она хоть женихается с этим дураком взводным, мне-то, в конце концов, что?! Сегодня же переберусь обратно в село, и черт с ними, с этой дурацкой мельницей, ее хозяйкой и болваном Игнатенко!» — обозлился я, отлично понимая, что никуда с мельницы не уйду, что и сегодняшняя ночь пройдет так же глупо и бессонно, как и прошлые две.

Прошло еще два дня. Наш полк по-прежнему стоял в резерве. Эти дни я проводил в расположении остальных

взводов, тормоша бойцов, осматривая оружие, седловку и обоз. Утром я устроил проводку и осмотр коней. Мы мяли им бабки, терли холки и смазывали набитые спины, заливая пораженные места жиром, мазями и густым зеленым мылом.

В эти дни я приходил на мельницу только ночевать. Зато кони моего эскадрона были отлично накормлены, вычищены и игривы. Бойцы с уважением поглядывали на меня, когда я в десятый раз обходил коновязь, заглядывая в торбы повеселевших коней. Комполка похвалил меня, отметив заботу об эскадроне. Если б они знали, что в этом сугубом рвении и заботах прятал я свою неистовую любовь к немке!

И вот тут со мной произошла странная вещь. Что это такое — случай, совпадение или же какое-то другое необъяснимое явление? Когда я выходил из штаба полка, у самого крыльца я встретил переходившую дорогу Минну.

Немка вздрогнула, задержалась на миг и... опустив голову, быстро прошла мимо, но я видел, как вспыхнули ее щеки и кончик маленького ушка.

Я медленно пошел вдоль села, все думая, думая и думая о моей дорогой хозяйке и ее вспыхнувшем лице.

Очнулся я за околицей, наткнувшись на небольшое стадо коров. Пастух, подросток лет шестнадцати, поднялся из ковыля и перешептливо попросил табаку. Закурив, он срывающимся, петушиным баском сказал:

— А я тебя, товарищ, два раза окликал... пока ты на телка не наткнулся.

Мы покурили. Белое, стелющееся море ковыля уходило далеко по степи. Сильно пахло мятой, полынью и чабрецом. Я лежал на животе рядом с мальчишкой-подпаском, болтая ногами, чему-то смеялся вместе с ним, а внутри у меня тепло, ликовало.

— Чудной ты... и веселый, — вдруг сказал пастух, — аж наскрозь светишься. А я веселых люблю, — сознался он и заиграл на своей камышовой дудке.

До сих пор я помню этот острый и пряный запах степных трав, незатейливую мелодию пастуха и горячее, яркое солнце, кипевшее в моей груди.

В село я вернулся другим путем. Обойдя церковную площадь, я пересек пустырь, где одиноко торчал станичный журавель с длинной деревянной колодой, из которой

казачки по вечерам поили скот. За углом слышались женские голоса, пронзительно завизжал поросенок и, вереща, стремительно пробежал мимо меня. За ним, размахивая хворостиной, выскочила казачка. Увидев меня, она спряталась за плетень. Посреди улички стояли три женщины, оживленно гуторя между собой. Одна из них равнодушно посмотрела на меня пустым, безразличным взглядом и чуть-чуть посторонилась. Другие две, ядреные, разбитные казачки, лукаво ухмыльнулись. Круглая, молодая бабенка, толкнув локтем молчавшую соседку, что-то громко сказала. И все трое задорно и густо захохотали мне вслед. Я оглянулся. Лица первой я не видел — она отвернулась, — зато толстуха вызывающе подмигнула мне и, хлопая подругу по бедру, крикнула:

— Эй, товарищ... слышь, что ли?

— Ну слышу! В чем дело, тетя?

— А вот в ей, — показывая на соседку пальцем, сказала казачка. — Она к тебе в стряпухи хочет. Возьмешь, что ли?

— Если не дорого, возьму, пожалуй, — засмеялся я.

— Об цене разговор после будет... споетесь. Ты гляди, баба-то какая! Что грудью, что спиной — всем вышла, — подталкивая вперед хохотавшую подругу, озорничала казачка.

Я хотел ответить ей, но так и остался с раскрытым ртом. Из-за угла, обходя баб, вышла Минна.

Она прошла мимо меня, не поднимая глаз. Я растерянно поглядел ей вслед, забыв о моих веселых, озорных казачках. Немка шла быстро и ровно. Из-под белого платочка огненной прядью вырвался и блеснул знакомый клоч волос. Не оглянувшись, она скрылась за плетнями станицы.

Я все глядел вслед, хотя на дороге уже не было никого.

— Растаял, нечистый дух! Гляди, очи лопнут, на баб чужих гляючи! — обозлилась казачка и, проходя мимо меня, вдруг сказала визгливым голосом: — Проходи, проходи, антихрист окаянный! Сейчас до командира пойду жалиться, чево к бабам кидаешься!

И они негодуяще прошли мимо меня.

Ночью меня разбудили. Конный ординарец привез из штаба приказ. Его появление произвело немалый переполох

лох. Разбуженная шумом немка, накинув на себя платье и засветив ночничок, с тревогой глядела на конверт в руках ординарца. Игнатенко, сидя на полу в ожидании, зевал и почесывал волосатую грудь. Из сенец заглядывали полуодетые бойцы. Появление ординарца среди ночи могло кончиться немедленным выступлением в поход.

Я вскрыл пакет.

«Ввиду полученных сведений о прорыве белоказачьей дивизией Улагая у Солодовников ваш эскадрон временно, до ликвидации прорыва белых, закрепляется за штабом полка в качестве его боевого охранения. Примите меры к усилению постов и пр.».

— В поход? — застегивая гимнастерку, спросил взводный.

На дворе раздавались голоса, вспыхивали огоньки, топтали кони. Эскадрон готовился в путь.

— Спать! — коротко сказал я. — Завести коней обратно. А ты, взводный, усиль у моста караулы.

— Слушаюсь! — сказал Игнатенко, надевая на ходу винтовку и волоча за собою патронташ.

Немка молча смотрела на меня.

Бойцы укладывались в сенцах, тихо перешептываясь и вздыхая.

— Ложись спать! — сказал я хозяйке и вышел во двор.

Светили звезды, плескалась вода, да, приглушенно топая, прошел караул. Обойдя дневальных, проверив посты, я вернулся обратно. Игнатенко уже спал, чуть посвистывая носом.

Перешагнув через него, я тихо разделся и прилег.

В сенцах всхрапывали бойцы. Кто-то протяжно проstonал во сне. Девочка хозяйки завозилась на лежанке, и сейчас же раздался тихий, еле слышный голос Минны, баюкавший ребенка:

А-а-а, шляф, Киндхен, шляф!..

Я затаил дыхание.

Да дранзен штен цвай Шаф... —

шепотком напевала Минна.

Ребенок стих.

Еще в гимназии я неплохо знал немецкий язык, но за годы войны хотя и забыл его, все же песенку Минны понял до конца.

Унд венн майн Киндер пхт шлафен вилль,
Данн комт дас шварце унд бейст..

— А-а-а...— еле слышно донеслись до меня слова замирающей колыбельной.

Неожиданно для себя я тихо, но очень внятно сказал:

— Их либе дих, Минна!

Песенка оборвалась. Но я знал, что хозяйка не спит, тревожно прикорнув в своем углу.

По двору бегала Пупхен, волоча за рукав большую, сшитую из разноцветных лоскутков куклу, сооруженную эскадронным швцом Недолей. Голова куклы была сделана из кожаного кисета, на белой потрескавшейся коже которого чернильным карандашом были нарисованы нос, два глаза и покривившийся рот. Я узнал его. Это был кисет взводного, щедрый подарок влюбленного Игнатенко.

— Всем взводом малювали. Кто портки старые дал, а кто и кишения не пожалел,— многозначительно сказал взводный, поглаживая усы.

— На то ж оно дите малбе. Гляди, как радо, аж светится,— засмеялся Недоля, перекусывая длинную нитку и вдевая ее в иглу.— Я из цих остатков, мабуть, ишо как-у-небудь матрешку ей зроблю.

Через двор шла хозяйка, неся на коромысле ведра с молоком. Когда она поравнялась с нами, я негромко, раздельно повторил:

— Их либе дих!

Опущенные веки Минны дрогнули, шею и уши залила краска смущения.

— Чего... чего? Как ты сказал, Василь Григорыч? — изумленно спросил Игнатенко.

— Погода, говорю, нынче хорошая.

— Погода? — недоверчиво протянул взводный. — А ты разве по-ихнему знаешь?

— Знаю!

— По-года! — косясь на меня, повторил он.

Я пошел к воротам, чувствуя на себе тяжелые, недоверчивые глаза Игнатенко.

В полдень в село пришли и остановились на ночевку обоз с боеприпасами, лазаретные двуколки да полурота пехоты, прикрывавшая их в пути. Мимо станции к Великокняжеской, пыхтя, прошел бронепоезд «Красный Царичын». Часа через два со стороны Маныча донеслась далекая оружейная пальба. Потом все стихло. Близился вечер. Желтый закат облил степь, позолотив горизонт и небеса.

По дороге шло стадо коров, впереди которых, задрав хвосты, суматошно скакали телята. Сквозь облачко пыли я увидел пастушонка, с которым день назад лежал за околицей в траве.

— Давай закурить, товарищ, помираем без курева!

Покурив, он тряхнул головой и побежал за стадом, оглушительно хлопая длинным кнутом.

Пахло коровами, молоком, теплым навозом. Со степи набегали запахи мяты и чабреца.

В штабе меня предупредили о возможности скорого выступления в поход.

Через приоткрытую дверь до меня донесся разговор. Беседовали Минна и Игнатенко.

— Чего тебе давеча сказал командир?

— Чего говорил? Я его не понимал.

— Как «не понимал»? Разве ж он не по-вашему балакал?

Минна ответила не сразу.

— Не знаю! Я не понимал,— снова повторила она, и я услышал, как сильнее зазвенели перетираемые полотенцем чашки.

— А сама покраснела,— внезапно снижая голос, хихикнул взводный.— Аж вся зашлась краской. Отседа... и до этих пор тоже...— Его голос взволнованно оборвался.

Послышалась недолгая возня. Затем напряженное дыхание борющихся людей, чмоканье, напоминающее сорванный, неудавшийся поцелуй, глухой звук, похожий на удар или толчок. По полу, звеня, разлетелась посуда. Из сеней стремительно вышла Минна, приглаживая на ходу волосы и сбитый на сторону платок. Глаза ее были сухи и злы.

Увидев меня, она остановилась и молча посмотрела мне в глаза, пристально, спокойно, сурово.

С тех пор прошло уже много лет, но и сейчас, вспоминая этот взгляд, я волнуюсь, как и тогда. Повторяю, в эти дни я по-хорошему, по-настоящему любил мою немку. И, как видно, она почувствовала это. Ее злые, суженные зрачки дрогнули, в них затеплился огонек. Она вздохнула, отвернулась и тихо прошла во двор. Я смотрел ей вслед растерянный, смущенный. Дойдя до ворот, Минна вдруг обернулась, встретилась со мной взглядом, и, засмеявшись радостным и глупым смехом, побежала по дороге к селу.

В хате, у зеркала хозяйки, покручивая ус, стоял взводный.

Вертится, крутится шар голубой... —

разнеженным голосом напевал он.

Вертится, крутится над головой...

Перегнувшись ближе к стеклу, он выдавил на щеке прыщ и подмигнул мне.

Вертится, крутится, хочет упасть.
Кавалер барышню хочет украсть!

— Романец — первый сорт! Хорошая песня! — похвалил он свой репертуар.

— Подходящая, только вот что, кавалер, ты зачем хозяйку обижаешь?

— А что? Не обижал!

— Не ври, взводный! Брось свои романсы и приставания, а то...

— Что «а то»? — внезапно багровея, переспросил Игнатенко. — Ты что об себе думаешь? Раз командир, так во все дела лезть можешь? Ты эту дурость брось! Слышишь? Я не погляжу, что ты начальник, ежели что, недолго и за клинок... — И он постучал по рукояти своей пашки.

Я молчал.

Это еще больше взбесило его.

— Подумаешь, учитель нашелся! Ентельхенция собачья! Посадили тут вас на нашу голову... Три года на германской от офицерья спокою не было, так на вот, и в Конармии благородия дали! Чего глядишь? Чего настагился? У самого с немкой не выходит, так рабочий чело-

век виноват? А я, может, с ней ищю сегодня спать буду! Какое тебе дело? Ну? Какое?

— Не таращь глаза, не испугаешь, да и усы тоже придержи — рассыплются! А насчет шашек разговор у нас потом будет. Понял? По поводу же хозяйки — если такставишь вопрос, то пусть эскадрон решает.

— Ка-ак эскадрон? Ему какое до того дело?

— А так! Общее это дело, эскадронное. Вся сотня немку под защиту взяла, всем эскадроном и решать будем.

— Что решать-то? — запнувшись, спросил Игнатенко.

— Сам знаешь что, — снимая амуницию, сказал я.

— Да что я сделал, Василь Григорьич? Ну что такого? Ну, разок облапил было... побаловался.

— Там будешь говорить, взводный, перед всеми.

— Не надо этого, товарищ командир.

— Чего — этого?

— Того, значит... срамить меня не надо перед всеми.

— Чем срамить-то? Немка выйдет, свое скажет, а ты говори то, что мне сейчас сказал. Можешь и вовсе отказаться... Не трогал, мол, не лапал... врет все хозяйка.

Игнатенко молчал и только переступал с ноги на ногу.

— Не надо этого, прошу тебя, Василь Григорьич, — наконец обмякшим голосом хрипло сказал он и отвернулся.

— А почему?

— Товарищей стыдно! Сам ведь понимаешь, Василь Григорьич, эскадрон не шутка... Как возьмут все они меня за зебры! Сраму не оберешься. Потом год в глаза никому смотреть нельзя будет. Да и какой я тогда для них начальник буду?

— Почему же? Ведь только что ты кричал на меня, на шашках рубиться хотел, интеллигентом называл, а теперь отбой бьешь!

— Василь Григорьич, ну что ты, дорогой, куражишься да дурочку из себя строишь! Сам знаешь: раз эскадрон решил немку не обижать, разве кто противу всех пойдет? Раз все товарищи ее своей красноармейской женой или навроде вдовы посчитали, так все ее и беречь по-товариществу должны...

— Ну?

— А я с путе сбился. Ошибся маленько. Я думал, что она не спротив. Ежели по согласу — эскадрон тут ни

при чем. А она... — взводный замялся. — Одно слово, вповатый. Так ты, Василь Григорьич, не говори эскадрону. Не простят такого ребята. А что насчет разных там шашек болтал, так вдарь ты мне раз, ну два по морде — и квиты. А? Идет? Василь Григорьич? — И он с надеждой уставился на меня.

— Ну ладно, и бить не буду, и эскадрону ни слова, тем более — скоро в поход.

— А что? Разве чего слышно?

— Денька через два выступаем.

— Через два день? Через два день? Уходил? Геензи форт?

В дверях, опершись о косяк, стояла хозяйка.

— Цвай одер драй таген, — ответил я.

— Цвай... таген... — Губы хозяйки дрогнули.

— А говорила — не понимаешь, чего командир по-германски сказал! — сердито сказал Игнатенко, о котором мы в эту минуту забыли совсем.

Стемнело. На селе загорелись огни. Бойцы ужинали, позванивая котелками, чавкая и смачно жуя.

Игнатенко сидел на полу, играя в шашки с Недолей. Пупхен мирно спала, зажав под локоток свою размалеванную Матрешку. Я разглядывал на карте-десятиверстке Сальскую степь, через которую шла кавалерия белых.

— Вот и запер свою дамку! Сиди, покуда не выпущу, — делая удачный ход, засмеялся Игнатенко, победно глядя на озадаченного Недолю.

На постели, задумавшись, сидела хозяйка. За весь вечер она не сказала ни слова. Глаза ее были беспокойны. Лицо озабоченно. Глубокая морщина прорезала лоб. Что-то тревожило ее. Неужели наш близкий уход? Раза два я искоса, будто нечаянно, взглядывал на нее, но она упорно не замечала меня. Губы немки были сжаты, чересчур спокойное лицо бледно.

— Сдавайся, Недоля, чего там! Все равно от судьбы не уйдешь! — снова засмеялся Игнатенко.

Немка вздрогнула, и ее бледные щеки запылали.

Она порывисто встала и сурово, почти с ненавистью оглядела нас. Ее потемневший взгляд остановился на мне. Игнатенко, бросив дамки, изумленно смотрел на нее. Бойцы, удивленные странным видом хозяйки, смолкли.

Вдруг Минпа крупными шагами стремительно подошла ко мне. Глаза ее были суровы, но лицо стало мягче, и нежная, чуть заметная улыбка прошла по нему.

Она за руку потянула меня к себе. Я встал, и хозяйка на виду у всех медленно обняла меня.

Взводный, держась за стенку рукою, неподвижно спел на полу. Бойцы из сенец заглядывали в комнату. Кто-то выронил чугунок, загромыхавший по полу.

Не обращая внимания на людей, Минна приподнялась на носки и, дотянувшись до моих губ, крепко поцеловала меня.

Игнатенко охнул и завозился у порога. Тогда хозяйка сердито повернулась к нему и, резко шагнув вперед, одним рывком руки опустила тяжелую войлочную полость, висевшую над выходом в сенцы. Затем она прикрутила огонек ночника и обвила меня руками.

Ночничок мигнул и с треском потух. В хате стало тихо. И вдруг я услышал, как за опущенной занавеской стали уходить люди. Они старались не шуметь, еле ступая на носки. Когда кто-нибудь из них неосторожно ступал, остальные сдержанно цыкали на него. Так прошло несколько секунд, затем послышался чей-то возмущенный голос:

— А ты чего остаешься, взводный? Выдь, выгребайся немедленно... Весь эскадрон требует.

Секунду спустя тихо закрылась дверь. Сенцы были пусты.

Когда я проснулся, Минна, одетая в белую кофту и новую юбку, уже суетилась за столом. Ее длинные, рыжие косы были заплетены, выбиваясь из-под нарядного платка. Запах свежего утра, горячего хлеба и жарившейся яичницы несся из сенец. В сенцах не было никого.

Стол был покрыт красной скатертью с черными поперечными полосами, пол чисто вымыт, а на стенах развешаны белые рушники и цветные олеографии, видимо покоившиеся на дне сундука.

«Новобрачные!» — подумал я.

Минна вышла. Я быстро оделся и, подойдя к окну, распахнул его. Свежий утренний воздух ворвался в комнату. Во дворе было оживление. Я перегнулся через подоконник и обомлел. Под окном в кружок стояли эскад-

ронцы, посреди которых с белым платком в руке виднелся бородатый Скиба, лучший песенник и запевала полка.

Увидя меня, казаки заулыбались, закивали головами, но серьезный Скиба поднял руку и махнул платком. Все сразу смолкли и подтянулись.

«Что за черт!» — подумал я.

По полю соколик по-ха-живает...

Он лебедку бе-е-лую выгля-ды-вает... —

высоким, чистым тенорком завел Скиба, дирижируя платком.

И сразу же по двору мельницы разлилась старая терская казачья свадебная песня.

Чтоб была лебедушка краше всех... —

подхватили голоса.

Чтоб очи были лазоревые... —

загудели басы... И подголосок, взлетев высоко над поющими и обгоняя их, выводил:

Сокол-ба-атюшка, Василь Григорь-е-вич,

Не пущай лебедку одну гу-у-лять...

«Да здесь весь эскадрон!» — смутился я. Но тут платок Скибы снова взметнулся вверх. Свадебная оборвалась, и озорная, веселая песня:

Командир наш, командир,

Командир наш молодо-ой... —

разлилась, разлетелась по тихой мельнице. С присвистом, с уханьем, с пристуком пели озорную песню смеющиеся, довольные эскадронцы. А у самого круга песенников, посреди казаков, подбоченясь, стояла веселая, смеющаяся Минна.

Целый день эскадрон добродушно озорничал над своим командиром и сияющей Минной. Целый день я не видел взводного Игнатенко, уклонявшегося от встречи со мной.

Через день мы уходили в поход.

Рано утром, когда через село потянулись обозы и я, уже сидя на коне, выводил эскадрон, обняв стремя и при-

пав головою к моему колену, провожала нас наша хозяйка: Слезы мешали ей говорить, она, всхлипывая, только кивала проходившим мимо нее эскадронцам.

И они, теперь серьезные и чинные, понимая ее состояние, степенно проезжали мимо, кланяясь с коней, прощаясь с нею:

— Бувай здорова, хозяйка!

— Не поминай лихом!

— Спасибо за ласку! Мабудь, ще встретимся!

А швец Недоля, нарушая дисциплину и строй, выехал из рядов и, вытягивая из кармана тряпицу с сахаром, сказал:

— Отдай, мать, дочке, да смотри береги дите!

Пыль уже поднялась за околицей, когда я на намете догнал свой эскадрон.

Село скрылось за холмами.

— Василь Григорьич, а который теперь будет час?— вдруг спросил меня взводный, и по его неестественно напряженному лицу и смущенно бегавшим глазкам я понял, что он простил меня.

Вместо ответа я вытащил из кармана белый с розово-кирпичным отливом кругляш и протянул его Игнатенко:

— На.

Он взял и, поднося к самому носу, понюхал его.

— Духовитый! Хорошие кругляши печет немка...— одобряюще сказал взводный,— не иначе как в меду тесто катает да на смальце жарит.

Он помолчал. Утреннее горячее солнце играло на глянцевиной, твердой корке кругляша.

Взводный переломил его, засунул кусок в рот, долго, с наслаждением жевал и вдруг подмигнул мне:

— А ведь не скажи ты, Василь Григорьич, тогда германке эти самые слова, ни ввек бы она на тебя не взглянула!

— Какие слова?

Степь курилась далекими сизыми дымками. За буграми вставала пыль. Кони шли широким шагом, пофыркивая и горячась. Эскадронцы стихли. Чуть слышный говор висел над колонной.

— Какие слова? — переспросил я.

— Германские.— И вдруг, что-то припоминая, взвод-

ный пистово закричал: — Эх... лех... дех!.. Кабы не те слова, не видать бы тебе, прямо скажу, германки.

Он вздохнул и продолжал:

— Ты, товарищ командир, в разных там гимназиях да музеях учился, академии, может, кончал. Я не сержусь, чего уж... А вот кабы не эти слова, быть бы королем Игнатенко!

Он доел кругляш и, круто повернувшись на седле, хрипло зашел:

Эх, да расколился, сырой дуб,
На четыре грани...

И казаки-эскадронцы, словно ждавшие запевки взводного, разом подхватили с коней песню, которую пели бабы по станицам.

А кто любит чужих жен... —

и весь эскадрон с ухмылкой глядел на меня, весело, любовно и ободряюще выкрикивая озорные, веселые слова песни, —

Того душа в рае!

Это пелось для меня. Это значило, что эскадронцы вторично чествовали меня — не как своего командира, а как представителя сотни, ухаря казака, молодчагу парня, выполнившего с честью весь несложный этикет казацкой любви.

Кони мягко ступали по пыли.

И, несмотря на то, что мы были на походе, что уставом не разрешается петь на линии огня, я молчал, слушая, как бесшабашно звенели казацкие голоса над тихой степью и как увлекшийся, примирившийся Игнатенко, размахивая плетью, дирижировал орущим эскадроном.

ИЗМЕНА

Повесть



I

«Вчера, 29 сего августа, на село Поплавино со стороны хутора Черкасова в 11^{1/2} часов ночи был совершен налет банды атамана Стецуры, именующего себя начальником штаба «войск Иисуса Христа». Красноармейская застава и пост Особого отдела, всего числом 9 человек, перебиты».

«Сего 3 сентября в 3^{1/2} часа дня конной бандой атамана Стецуры, в количестве 70 человек при 3 пулеметах на тачанках, разграблен хутор Веселый и подожжен полустанок Верхний Карамыш. Сведений о дальнейшем продвижении банды не поступало. Телефонная связь с полустанком до сих пор не установлена. От бронепоезда, вышедшего в сторону Верхнего Карамыша, донесений нет.

Комбриг (подпись)».

Фролов устало всматривался в уже дважды прочитанные строки, из которых сквозь высохшие чернила вставали разгромленные, подожженные села и пролитая кровь.

— Опять Стецура... Ты что-нибудь понимаешь, а? Гриш! — обратился он к смуглому, с глубоко ушедшими под лоб глазами человеку в кожаной куртке и серой барашковой кубанке.

— Чего ж тут понимать-то? Дело ясное. Опять бандиты зашалили. Значит, надо уничтожить их.

— «Надо»! Я сам, брат, знаю, что надо. Да как? Разве с теми измученными тремя сотнями разбросанных по уез-

ду кавалеристов мы можем ликвидировать бандитизм? Пойми, Гриша, пойми, милый, нам самим бы удержаться в Бугаче, пока наши справятся с поляками и подойдут сюда.

— Эх, сказал! Нам, браток, не удержаться, а покончить с ними надо, да без чужой помощи, самостоятельно. И чем скорее, тем лучше, потому что все куркули и все кулачье городское, разинув глаза, ждут не дождутся сюда этого Стецуру с его волками.

— Ну да, ты рассказываешь то, что я сам знаю. Ты научи — как? Как ликвидировать бандита? Не идти же нам всем из города и гоняться за ним по уезду?

— Это не дело. Не успеем мы отойти и на двадцать верст, как Бугач будет занят Стецурой, и уже отсюда не скоро выбьешь его.

— Да, пока не разграбит все, не уйдет, — поддержал Фролов.

Председатель и начсоч¹ устало взглянули друг другу в глаза — и в этом взгляде прочли и тяжелую ответственность, и бессонные ночи, и сознание огромной опасности, нависшей над уездом.

— За неделю — четвертый налет, — вздохнув, прервал молчание председатель, вытягивая из печки дымящийся уголек и шумно раскуривая набитую махоркой козью ножку. — И все ближе и ближе они. Круг суживается. Агентура доносит об усиливающейся деятельности бандитов на окраинах и пригородных хуторах. Если мы помедлим с месяц, нас сожмут в кольцо — и тогда каюк.

Просипел телефон. Начсоч взял трубку.

— Да, ЧК... Говорит Бутягин. Слушаю. Что? Горит? Персияновка горит? Сейчас выезжаю. — И, передавая трубку вздрогнувшему Фролову, он глухо и коротко доложил: — Персияновку подожгли... Стецура... Наши отходят на Гашун. Сейчас еду туда.

Он на ходу схватил со стола пояс с пристегнутым к нему кольцом и уже из дверей, глядя в упор на принимавшего по телефону донесение Фролова, громко и резко спросил:

— Ну, а теперь ты тоже считаешь, что надо еще походить?

Начальник секретно-оперативной части.

Не отрывая уха от трубки, Фролов тяжело вздохнул и глухо, но твердо сказал:

— Действуй... Действуй, Гриша!

Через секунду Фролов, согнувшись над столом, что-то упорно и устало чертил на разостланной перед ним двухверстке.

За окном раскинулась черная ночь. По глухим, чуть освещенным улицам проносились конники, спеша к горевшей Персияновке.

II

Никанорова солома,
Никанорихина рожь,
Никанора нету дома,
Никанориху не трожь... —

потряхивая на ходу трехрядкой, во всю глотку подпевал своей гармошке высокий белобрысый парень с плутовскими глазами и хитрой, лисьей мордочкой. Около него ковылял хромоногий мужичонка, еле поспевавший за своим веселым соседом. Несколько мальчишек шествовали в отдалении за этой парой, не сводя восхищенных взоров с гармониста.

— Добрые люди ще в церкви богу молятся, а эти природы уже зенки себе самогоном залжили! — сердито сплюнул один из мужиков, неодобрительно глядя на приближавшуюся группу.

— И где они его достают? — с завистью поддержал другой, разглядывая веселого гармониста и его не совсем трезвого спутника.

— Эх, друг сердечный, таракан запечный! Была бы глотка, а самогону хватит, — куражливо ухмыльнулся гармонист.

Еще несколько секунд резали воздух веселые, говорливые звуки гармошки, хотя парень и мужичонка уже исчезли среди базарной толпы.

Несмотря на то что была пятница и день выпал солнечный, съехавшиеся из окружающих сел и хуторов крестьяне привезли мало продуктов. Ночной налет банды на Персияновку смутил и горожан и крестьян, трепетавших при одном имени атамана Стецурь. По базару, множась и обрастая, ползли тревожные слухи. Появилось несколько очевидцев, своими глазами видевших самого

«батьку Стецуру», обещавшего не позже как через неделю занять город.

Еще не было и четырех часов, однако и без того многочисленный базар быстро таял. По всем дорогам и улочкам, ведущим из города в степь, катились и скрипели крестьянские подводы, телеги и можары. Хмурые, озабоченные мужики понукали лошадей. Четверо пеших милиционеров, дежуривших на базаре, напрасно пытались уговорить разъезжавшихся мужиков не поддаваться панике.

Из-за хаты вынырнул белобрысый гармонист. На его плече висела собранная и застегнутая на крючок трехрядка. Оглядев площадь, он ухмыльнулся и, подойдя к запрягавшему коней мужику, спросил:

— Что, дядько Трохим, поедешь низом или через мельницу?

Рыжебородый мужик глянул на него поверх коней и, еле заметно прищурив глаза, хитро осклабился.

— Низом.

— Ну ладно... Коли встренешь мово папаньку, передай, что сынок здоров — больше некуда, а об остальном прочем — все в аккурате.

Мужик снова усмехнулся и, уже взбираясь на телегу, буркнул:

— Ладно, скажем. А вертаться скоро будешь?

— Да как справлю свои дела.

— Ну, прощевай! — и рыжебородый взялся было за вожжи.

— Дядя, а дядь... може, продашь хоть полпуда мучицы? — Откуда-то вынырнувшая молодая женщина с отчаянием и решимостью уцепилась за рыжебородого.

— Тю, проклята... Нема муки. Не продаем, — сплевывая, ответил рыжий.

— Браток, смилуйся. Вот как перед истинным прошу, браток! Дома уже третий день муки вовсе нету. Ну, продай...

— Ступай к коммунистам, у них проси. — Рыжий смачно выругался и, ударив вожжами по коням, быстро покотился по опустевшей площади.

Женщина заплакала, с ненавистью глядя вслед удалявшейся телеге.

— Не реви, тетка. Вот уйдут ваши, придут наши, тоды хлеба всем вдосталь хватит, — сказал гармонист.

Женщина, не поворачивая головы и продолжая всхлипывать, прошептала в тоске:

— Да кабы, бог дал, скорее пришли, а то, покуда придут, у меня мать, отец голодом подохнут...

Парень минутку постоял, подумал.

— А вы сами чьи будете? Муж ваш кто?

Заплаканное лицо женщины зарделось.

— Да я не замужем. Я не об себе думаю. Об отце, матери беспокоюсь. Товарищ дорогой, может, вы помощь нам окажете? А? Может, у вас хоть немного мучицы раздобудем? А? Я бы вот полушалока свой новый отдала. А, товарищ?

Парень нахмурился.

— «Товарищ» — это брось. Не товарищ я. Ну-к что ж, один другому помогать должон. Я тебе мучицы дам, а ты меня, может, и поцелуешь. — И он, ухмыльнувшись, заглянул девице в глаза.

Девушка опустила глаза и, отворачиваясь, заулыбалась.

— Ну уж вот, всегда так. Я об деле, а они с шутками.

— Каки таки шутки? Всерьез говорю. Да рази таким глазкам можно плакать! Никогда! Ну ладно, ладно. Не сердчайте. Пошутковал. А где вы, к примеру сказать, живете? А? Знаю. Это около Косой горы, возле собора? Ну ладно, вечером, когда стемнеет, я вам пудика полтора мучицы принесу. А уж вы меня не забывайте.

— Только вы не обманите. Может, сейчас бы дали? — недоверчиво протянула девица, испытующе глядя на него.

— Не бойсь. Коли я сказал, значит, свято. А как вас величают? — И он ближе придвинулся к девице.

— Тоня... Галкина. Не забудете?

— Ни в жизнь. Разве можно. Ну, покуда! — И, отнеся галактию поклон, парень большими шагами пошел вдоль площади.

III

Моросил мелкий дождь. Косые капли секли намокшую землю и пеленой обволакивали улицы. Тусклое сентябрьское утро глядело в окна дома, где помещалась ЧК.

В кабинете председателя сидел Бутягин и спокойно, не спеша докладывал. За столом лицом к двери расположился Фролов и хмуро, словно ему это наскучило, слушал начсоча, и только его утомленные, но острые глаза не теряли напряженного выражения.

У окна, у стола и на кожаном диване сидели представители рабочих и профсоюзных организаций города, добровольно мобилизовавшие себя и пришедшие сюда для того, чтобы обсудить создавшееся положение, решить, чем можно помочь власти, чтобы отразить подступавшего к Бугачу врага.

В дверь сильно постучали, и в комнату вошел худой, жилистый человек, одетый в длинную кожаную куртку и высокие сапоги. Фролов и Бутягин подняли головы и выжидательно глядели на вошедшего.

— Товарищ председатель, ты уж извини, помешал, да дело больно важное пригнало.

— Что такое? — спросил председатель, и в его настроенных глазах блеснула тревога.

— Неладно у нас. Очень неладно. Ну, да я уж после скажу, — оглядываясь на сидевших, сказал вошедший.

— Говори сейчас.

Человек в куртке еще раз посмотрел внимательно на Фролова, молча переждал минутку и сказал:

— Нехорошо... Кажется, предатель завелся...

— Чего ты говоришь? — приподнимаясь с места, воскликнул Фролов.

— Ты не ошибаешься, товарищ Глушков? У нас, в ЧК, предатели? — поднявшись с кресла, сказал Бутягин, и его глаза странно засветились.

Спрошенный, переступая с ноги на ногу, тихо, но еще более решительно сказал:

— Нет, товарищ Фролов, не ошибаюсь.

Невольные свидетели этого разговора, делегаты города, смущенно поднялись с мест и потянулись к выходу, но Фролов жестом остановил их:

— Стойте! Вы не лишние здесь, товарищи... — и, снова обращаясь к Глушкову, спросил: — Кто?

— Федюков, — коротко сказал Глушков.

— Уполномоченный по борьбе с бандитизмом? Не может быть! Ты ошибся, товарищ Глушков. Федюков не может быть предателем. — При этих словах Бутягин вскочил и задыхающимся шепотом добавил: — Ты пони-

маешь, что ты говоришь? Ты обвиняешь в предательстве одного из наших товарищей, коммуниста с заслугами перед революцией! Смотри, товарищ Глушков, подумай сначала, о чем ты говоришь, и только потом делай свое заявление.

— Стой, стой, Бутягин! Это, брат, не дело. Так нельзя поступать. Товарищ Глушков такой же коммунист и тоже служит и живет для революции, и его заявление как чекиста и члена партии имеет свой вес, — перебил возбужденного начсоча председатель и, обратясь к спокойно стоявшему Глушкову, спросил: — У тебя есть факты?

Глушков, не меняя выражения своего насупленного лица, ответил:

— Есть, товарищ председатель. Вот один из них. — При этих словах он расстегнул куртку, вытянул из бокового кармана истертый бумажник, порывшись в нем, достал аккуратно сложенный листок и протянул его председателю.

Тот пробежал листок глазами и, окинув взглядом начсоча, передал документ ему. Бутягин внимательно прочел бумагу. Лицо его передернулось судорогой гнева, а на худых небритых щеках запылали яркие пятна румянца.

Делегаты напряженно смотрели на чекистов.

— Эге-ге! Если даже половина того, что есть здесь, правда, то предателя надо наказать так, чтобы никому не повадно было продолжать его игру.

Начсоч возбужденно пробежался по комнате и, останавливаясь перед молча стоявшим Глушковым, просто и дружески сказал:

— А ты меня, брат, извини. Сам знаешь, что в нашей работе не то что другу... — И он сильно потряс руку неподвижно стоявшему Глушкову. — Наблюдение ведется?

— Не выпускаем из виду.

— Правильно! Усилить надзор. Он ничего не примечает?

— Пока нет. Уверен в себе очень.

Председатель встал и, нервно потирая руки, сказал:

— Смотри, Глушков, тебе мы поручаем это дело. Следи и не упускай ничего. Арестовать при первом же факте измены! Только помни: чтобы был жив. Слышишь? Ты мне ответишь за него. Что бы ни случилось, ни один волос не должен упасть с головы Федюкова. Через него

мы доберемся и до Степуры. Федюков слишком важная птица. Он должен быть арестован только с поличным. Сейчас мы с Бутягиным обсудим это.

И председатель, подойдя вплотную к Глушкову, крепко пожал его худую, негнущуюся руку.

— Извините нас, товарищи, но попрошу вас посидеть рядом в приемной. Нужно кое-что приготовить по этому делу. Через час я приглашу вас, а пока прошу молчать о том, невольными свидетелями чего вы только что были, — обращаясь к делегатам, сказал Фролов.

Люди поднялись и, подавленные неожиданным, страшным открытием, теснясь, вышли в коридор.

Когда делегаты вышли, Бутягин и председатель, ни слова не говоря, внимательно взглянули друг на друга. По лицу Фролова пробежала тень неуверенности и сожаления. Начсоч глядел на него в упор, и в его серых маленьких глазах горели такое упорство и решимость, что председатель вздохнул и молча опустил в кресло.

Прошла минута молчания. Встретив полный непоколебимой воли взгляд Бутягина, председатель устало и тихо сказал:

— Хорошо! Делай все как нужно.

Бутягин облегченно засмеялся и, повернувшись к удивленно на них глядевшему Глушкову, негромко сказал:

— Ну, дорогой, слушай теперь меня и не удивляйся ничему. Федюков — преданный и честнейший наш товарищ. Все, что он делает, делается для того, чтобы разгромить и уничтожить врага. Федюков не сегодня-завтра пойдет в лапы Степуры и или погибнет там, или спасет всех нас. Так надо... понимаешь, Глушков? Ты ни о чем пока не спрашивай, но так надо, и ты тоже помогай нам в этом. Сейчас Федюков здесь, в кабинете, сделает то, что необходимо для разгрома врага. Ничему, повторяю, не удивляйся и помни, что так нужно для победы. Понятно?

Глушков, несколько секунд внимательно и настороженно слушавший Бутягина, перевел глаза на Фролова.

— Да, дорогой друг, надо решиться на большое самопожертвование. Федюков — герой! — тихо сказал Фролов.

Глушков вдруг просветлел. В его глазах блеснул теплый, радостный свет. Он тихо сказал дрогнувшим голосом:

— Понимаю... Все понимаю, товарищи. У меня с души камень свалился... — Он хотел еще что-то сказать, но вместо слов только мягко улыбнулся и махнул рукой.

— Вот и хорошо. А теперь зови сюда Федюкова, да не забудь, входя обратно, так приоткрыть дверь, чтобы в приемной было слышно все, что произойдет здесь.

— Есть, — коротко ответил Глушков и вышел из кабинета.

...Федюков, темноглазый, невысокий брюнет, с приятным и несколько нервным лицом, вошел в комнату и добродушно поздоровался с сидевшими. За ним не торопясь вошел и Глушков.

— Зачем звали, товарищ начальник? — спросил Федюков, почти вплотную подходя к столу, за которым сидел Фролов.

— Так, друг, дельце есть. Садись, потолкуем, — и председатель указал ему на свободный стул. — Вот в чем дело. По некоторым сведениям стало известно, что Степура готовит нападение на Бугач. Полгорода говорит об этом, слухи растут, как грибы после дождя, население боится, а мы не предпринимаем никаких контрмер. Я спрашиваю тебя: известно тебе об этих случаях, знаешь ли что-либо о панике на базаре? О бандитских разъездах, подходивших к городу?

— Конечно, знаю, — сказал Федюков, с удивлением глядя на горячившегося председателя.

— «Зна-а-ю», — передразнил его Фролов. — Мало пользы, что знаешь. А толк какой? Приняты тобою какие-нибудь меры? Ведь ты уполномоченный по борьбе с бандитизмом. Банды гуляют под самым носом, а мы о них узнаем, когда они сожгут или разграбят село или когда весь базар об их приходе говорит. Что делает твоя агентура? Где твои планы? Прошлогодние новости с базара носишь? Плохо, брат, работаешь. Ни к черту не годится твой отдел. Сменю я тебя, кажется, с уполномоченных...

— Ваше дело сменить... Однако что можно, то и делаем. Никто больше не сделает. Судите сами, денег на работу мало, сеть слабая. Что ж, мы святым духом, что ли...

— Ну, будет! У Степуры денег больше, что ли, однако он вот все наши планы знает, все предупреждает.

— Да, видать, поболе.

— А ты откуда знаешь? «Поболе»? Считал, что ли? —

Председатель остановился, глотнул воздуха и менее сурово сказал: — А что, ребята, нет ли у кого парабеллума? Нужен мне будет сегодня. Я бы свой наган на денек сменил.

Бутягин и Глушков переглянулись.

— У меня, тоже наган, — сказал начсоч. — Кроме Федюкова, ни у кого, кажется, парабеля и нет.

Федюков медленно отстегнул кобуру и протянул ее Фролову.

— Если на денек — возьми.

Фролов взял револьвер и, не вынимая его из кобуры, положил около себя на стол.

— А мне дай, товарищ Фролов, свой. Без оружия, сам знаешь, как-то неудобно и выходить.

В эту минуту председатель встал и, вынув из ящика стола наган, сухо и властно сказал:

— Подождешь! А теперь, Федюков, расскажи нам все целиком, без утайки, о Степуре и о том, как ты продался ему.

Федюков вздрогнул и медленным взглядом поглядел вокруг себя. Прямо перед ним стоял Фролов, правая рука которого лежала на рукоятке нагана. В полураскрытой двери показались взволнованные лица делегатов.

— О чем говоришь? Не понимаю! Кому еще проданся? — переспросил Федюков, придавая голосу и лицу удивленное, недоумевающее выражение.

— Не понимаешь? Ладно, сейчас поймешь. Ты не дури, Федюков. Все раскрыто. Нам известно, говори правду, все равно один конец.

— Чего известно?

— Все! И измена, и твое подлое поведение, и связь с бандой. Сам знаешь что.

— Ложь! Врете вы все! На пушку берете. Что вы, с ума сошли, что ли! Что ты, не знаешь меня, Бутягин, что ли? Вы не бузите, ребята, я сам с семнадцатого года в партии...

— Молчи, — спокойно прервал Бутягин Федюкова, — хватит. Жили-то вместе, да не знал я, что ты такой гад, а то бы давно тебя прикончил. Ложь, говоришь? А это что, тоже ложь? А это что? Ну? Говори — ложь? — при этих словах Бутягин бросил на стол пропавший документ и копию мобилизации ЧОНа¹. — Ты думаешь, что мы

¹ ЧОН — части особого назначения.

дураки, ничего не видим? Все, брат, давно раскусили и сами тебе дислокацию подсунули. На, брат, снимай копию, радуйся, да уж поздно!

У двери толпились люди, с ненавистью глядя на изменника, готовившего им гибель.

Федюков молча потупился, исподлобья глядя на говорившего. Его темные глаза горели, бледное лицо внезапно покрылось капельками пота. Губы были плотно и крепко сжаты. Вся его небольшая, плотная напружинившаяся фигура напоминала цепкую, хищную кошку, готовую к прыжку.

Потом задорный и насмешливый огонек пробежал в его глазах, и, как бы на что-то решившись, он дерзко спросил удивительно ровным и спокойным голосом:

— Дознались? Ну и черт с вами! Жалко, что немножко рано. Опоздали бы, голубчики, недельки на две, я бы вас сам здесь развешал на суках. Ну что ж, веда, все равно больше ни слова не скажу. — И он беззаботно сплюнул, поворачиваясь к выходу.

— Стой! Успеешь еще, — остановил его Фролов. Лицо председателя было бледно, губы судорожно подергивались. — Глушков, — продолжал он, — сходи-ка за караульным и приведи сюда. А ты, Бутягин, обыщи его!

Глушков, за все это время не издавший ни одного звука, повернулся и вышел в коридор. Не успел он пройти и десяти шагов, как в комнате председателя один за другим грохнули два выстрела. Когда Глушков вбежал обратно в комнату, он увидел, как начсоч медленно и тихо валился набок, прижимая руки к груди. Глушков на бегу подхватил его и, осторожно поддерживая, усадил на стул. Посреди комнаты стоял совершенно спокойный Федюков, на полу лежал выбитый из его рук Фроловым револьвер. В комнату на звук выстрела вбежали люди. Председатель, не сводя с груди Федюкова дула нагана, приказал:

— Обыскать! У него оказался запасной револьвер.

Федюков засмеялся.

— Брось, лишнее... Больше нету... и то, слава богу, хоть на одного пригодился...

— Глушков, веда его в одиночку. Поставь караул. Я его поручаю тебе. Чтобы ни один волос не упал с его головы, что бы он ни говорил и ни делал. Остальным выйти из кабинета! — И Фролов осторожно склонился над неподвижным Бутягиным.

По коридору Глушков и красноармейцы уводили равнодушного к своей судьбе Федюкова.

Необычайное событие потрясло и взволновало город. Тысячи толков, слухов и пересудов множились по городишку и росли, обгоняя один другого.

Притихшие ранее кулаки заволновались. На перекрестках улиц появились безграмотные прокламации Стецуры. В семь часов вечера наглухо запирались крепкие дубовые двери одноэтажных домов, за толстыми стенами и железными засовами выжидали перепуганные горожане. И только городская беднота еще сильнее сплотилась вокруг власти, влившись в боевые отряды ЧОНа.

Раненого Бутягина перенесли в квартиру председателя, где дважды в день его посещал гарнизонный врач. Рассказывали, что Федюков был водворен в одиночную камеру, откуда через день был вызван к председателю для допроса, но он ни слова не сказал и только вызывающе рассмеялся, когда ему предложили сообщить о Стецуре. Не добившись никаких результатов, его отвели обратно в одиночку, где у дверей неотлучно дежурил часовой.

IV

Хутор Пшеничка был таким же, как и все сытые степные хутора, раскиданные по Украине. Так же нарядно глядели большие скирды, пузатились низкие, просторные амбары и шумно сопели сытые коровы и заводские бугаи. Веселым, задорным ржанием заливались игруны-жеребята, и, солидно поматывая курдюками, колыхались белые отары овец. Горы желтых дынь и огромных кавунов заполняли дворы, и наливной виноград прел и вяло скисал в чанах.

В городе было скудно и голодно. Последние лавчонки закрылись от бестоварья и страха перед Стецурой. Не хватало хлеба, не доставало муки, масла, и почти исчезло мясо. А в привольных степных хуторах ломились амбары от зерна и меда, огромными шматками висело свиное сало и не переводились курятина и вино.

Уже второй день, как Пшеничка была занята под штаб Стецуры. Три лучшие просторные хаты были отданы под жилище атамана и его хмельных и буйных соратников. При атамане расположилась конная сотня и десятка полтора тачанок с пулеметами, остальные части

отряда были разбросаны полукольцом вокруг хутора. На желто-зеленых скатах холмов были установлены дулами в степь три полевых орудия. Кое-где закурились костры, и сизый вьющийся дым лениво полз от земли. Черные квадраты коновязей раскинулись по краям серой от пыли дороги. Ржали застоявшиеся кони, перекликались люди.

Сторожевого охранения почти не было, кроме выставленной вперед редкой цепи часовых. Бандиты, зная слабость оперировавших против них красноармейских частей, были уверены в своих силах и безмятежно кочевали по станицам, лишь пожарами отмечая непокорные, строптивые хутора. За ними, то теряя их из виду, то снова соприкасаясь с ними, следовали три измученных, измотанных красноармейских эскадрона с сотней-другой чоповцев. Но это преследование больше походило на осторожное наблюдение, обе стороны уклонялись от решительного боя. После разгрома Персияновки красные отстали, и банда теперь беспрепятственно гуляла по степи, делая временные привалы на хуторах.

Во дворе большой, с ярко выбеленными ставнями хаты суетливо шныряли люди, по воздуху носился еще не улегшийся куриный пух. Густой дым валил из трубы хаты, свидетельствуя о готовящемся пиршестве.

Из раскрытых дверей хаты вылетали отдельные фразы, смех и гомон. У низенького крыльца было поставлено два пулемета. Около них в еще сырую от дождей землю был всажен огромный шест, на остром конце которого, колыхаясь, чернел огромный бархатный квадрат: на его темном фоне был нашит череп со скрещенными под ним берцовыми костями. В хате находился сам батька Стецура и его штаб «войск Иисуса Христа», как гласили намаленные на бархате буквы.

Двое дюжих молодцов сидели у самого шеста, покуривая махру и молча сплевывая к подножию «штандарт». Через плечи караульных свешивались карабины, а грудь, плечи и животы тонули в массе самых разнообразных предметов вооружения, начиная от пулеметных лент и кривого артиллерийского тесака, вплоть до кургузой, восьмиугольной гранаты, лихо привешенной к поясу.

Из низеньких дверей хаты высунулась юркая девушка, одетая в защитный френч и высокие потрескавшиеся

лакированные сапоги. Не выходя наружу, она звонким, повелительным голосом кинула в гущу сновавших по двору людей:

— Есаула Кандыбу к атаману!

Приказание, словно по ветру, понеслось во все концы.

— Есау... ула... к ата... ману...

Один из часовых докурил наконец свою самокрутку и, скосив глаза в сторону исчезнувшей за дверью фигуры, не спеша сказал:

— Командует... Ровно генерал или комиссар какой. — Он привстал и со вздохом неожиданно добавил: — Вон и есаул иде.

Оба стража сонно и безразлично поглядели на приближавшуюся от коновязей фигуру есаула.

Штаб атамана состоял из четырех человек: Ивана Мокиевича Луценко, начальника хозяйственной части; казначея Афанасия Ивановича Кабанова, есаула Кандыбы, начальника штаба и правой руки Стецуры, и, наконец, двадцатилетней девушки Агриппины, любовницы атамана, исполнявшей службу адъютанта.

В чисто убранной хате, с белыми занавесками и большими потемневшими иконами в углу, было жарко. За небольшим столом сидели Луценко, Кандыба и Агриппина, а Кабанов стоял у самой двери, внимательно следя за карандашом есаула, гулявшим по распластанной на стене десятиверстке.

Справа от есаула сидел небольшого роста, скромно одетый мужчина с незначительным, как бы равнодушным лицом. С первого взгляда можно было подумать, что это случайный, некстати затесавшийся сюда человек, но почтительно-подчиненное выражение на лице Стецуры и внимание, смешанное с подобострастием, которым окружал его есаул, говорили о том, что этот внешне невзрачный человек был центром и хозяином всей группы.

— Как вы считаете, господин майор, можем ли мы? — начал Стеcura.

— Никаких майоров! Перед вами Сергей Сергеевич Власов, — быстро, с явно нерусским акцентом произнес невзрачный человек.

— Извиняюсь, — улыбнулся атаман. — Значит, Сергей Сергеевич, вы одобряете наш план?

— Да, но только выполняйте его скорее. Мне надоело

платить наличными деньгами за планы, которые вы никак не проводите в действие.

— Теперь уже скоро. Думаю, что дня через три Бугач будет нашим, — твердо сказал есаул.

— Я верю вам. И помню, что вы офицер старой российской армии. — Человек поднялся и, пожимая руку мгновенно вскочившему Стецура, сказал: — Помните, атаман, что я и наше посольство не забудем ваши старания. Возьмите под залог Бугача этот аванс. Пока здесь тысяча полновесных долларов.

Стецура поклонился.

— А теперь дайте мне провожатых до разъезда. Двух ваших наиболее надежных людей.

Когда он удалился, Стецура погладил пачку новеньких двадцатидолларовых бумажек и, иронически ухмыляясь, сказал:

— Вот вам он верит, как офицер офицеру, а деньги все-таки дает мне... А-ме-ри-ка!..

Есаул, не отвечая атаману, продолжал доклад:

— Итак, момент наступает самый удачный и подходящий, и я полагаю, что мы должны использовать его. Надо атаковать врага и уничтожить. Силы наши втрое превосходят красных, наши люди свежи и сыты...

— И напоены, — лениво ухмыляясь, вставил Стецура.

— Обстановка в городе и в селах складывается благоприятно... В случае нашего успеха нас поддержит в городе расположенная к нам часть населения. Зажиточная масса Бугача за нас. В городе продовольствия нет, крестьяне ничего не везут. Наши агенты проникают во все учреждения красных, и даже ЧК частично в наших руках. Мы знаем о красных решительно все. Обстановка складывается так, что нам необходимо как можно скорее атаковать Бугач.

— Кончил? — облегченно вздохнул атаман. — Ну, так я теперь тоже должен сказать несколько слов. — Атаман грузно приподнялся и медленно прошел на середину комнаты. — И речь моя будет такая. Что хотим мы идти на красных — это добре, что хотим мы их уничтожить — тоже хорошо, да только одно неладно: американец вон хочет, чтобы все вышло скоро... А скоро — не будет споро. Надобно спервоначалу подумать да поразмыслить, а потом и в бой идти. А выходит так: разбить мы красных разобьем, город возьмем, а потом что? А потом будет вот

что... Из губернии придут другие с бронепоездом да с полками и нас выбьют, а тогда пиши всему делу прощай! И так и далее! Потому что силы у нас пока немного, а задача велика. Дело не в том, чтобы город взять да с недельку в нем побыть, а в том, чтобы фронт держать, красных беспокоить, в страх вгонять, голодать заставить, народ супротив них поставить... А когда наши, бог даст, подойдут, вот тогда и ударим на город, да так, чтобы ни один из них не ушел. А пока потихоньку да почаще колоть, жечь, налетать, не давать покою... Вот в чем наша задача, и вот на что мы имеем приказ, хотя бы есаул и обещал гостю через три дня занять Бугач...

Закончив свою речь, атаман прошелся медленно по комнате и удовлетворенно произнес:

— Ну-с, послушали мы друг друга, побеседовали — и ладно. А теперь не грех и закусить. Вон уже солнце к закату уходит, да и под ложечкой сосет.

Через несколько минут хозяйка переменила на столе скатерть и накрыла на стол. Атаман и его штаб жадно принялись за еду.

В дверь просунулась лохматая голова ординарца. Вошедший, уставившись на атамана, засопел:

— До вас, батька атаман, прибыли. Дожидаются.

— Кто? — утирая ладонью усы и прожевывая гусятину, спросил Степура.

— Не могу знать. Видать, свои.

— А ну, Грушенька, взгляни, кто такой, да доложи нам. — И атаман продолжал еду.

Кабанов и Кандыба ели молча, не уступая в аппетите атаману, и только мрачный Луценко ел мало, медленно и с достоинством. Большой, пузатый графин, до середины налитый мутным самогоном, и глиняные кувшины, наполненные чихирем и холодной брагой, украшали заставленный яствами стол.

Дверь распахнулась, появилась Агриппина, на лице ее было написано чрезвычайное волнение. За нею, согнув огромную, нескладную фигуру, боком пролез в комнату лохматый мужик.

— Ганшин, — широко раскрыв глаза, проговорил Степура, и по его лицу пробежала беспокойная тень.

Есаул вскочил с места, и только один Луценко продолжал сидеть, невозмутимо оглядывая вошедшего.

— Какими судьбами? Али что случилось? — проговорил Стецура, впиваясь взглядом в лицо гостя.

Тот молча махнул рукой и, не отвечая на вопрос, схватил большой ковш с брагой, поднес его ко рту и долго, не отрываясь, пил. Наконец он глухо сказал:

— Раскрыли... Вчера в вечер Федюка арестовали. ЧК за ним следила.

Кандыба тихо подкрался к двери и заглянул внутрь кухни. Кухня была пуста. Есаул крепко запер дверь на задвижку и так же бесшумно возвратился назад.

— Ничего не знаем... как есть ничего. Выдал кто али сами набрали, бог его знает, одно верно, что Федюку конец. — И Ганшин снова махнул рукой.

— А остальные как? А Семка?

— Эти ничего. Пока целы.

— Так! А насчет показаний как?

— А кто их знает. Не думается, чтоб чего узнали, не таковский парень Федюков, сдохнет, а не выдаст.

— Да?

— Героем до конца остался. Чего уж там было, точно не скажу, не знаю. Однако верно, что двух человек Федюков решил, когда его забирали. Бутягина, начальника секретной части, да еще кого-то. Семка обещал разузнать все и прислать донесение.

Стецура привскочил.

— Чего? Чего? А ну повтори, чего сказал. Федюков Бутягина пришиб? — И по хмурому, озабоченному лицу атамана пробежала неуверенная радость.

— Стрелял, — подтвердил Ганшин, мотнув головой, — это факт... Да убил али нет, не знаю... Рази там узнаешь... Обо всем Семка обещал сообщить.

— А он откуда будет знать? — спросила Агриппина.

— Кто? Семка? Ну-у... Он со своей гармошкой куда хошь дойдет. Опять же у него баба завелась, брат у ей солдатом в ЧК служит. Ну, обо всем ему она и докладывает.

Атаман встал и, отодвинув от себя тарелку, молча устоялся на безмолвно сидевшего есаула.

Минуту они выразительно смотрели друг на друга, затем атаман не выдержал и, пригнувшись к Кандыбе вплотную, радостным, срывающимся голосом спросил:

— Ну-с! Что ты мне скажешь на это, Семен Порфирьевич?

Есаул секунду помолчал и затем спокойно, но отчетливо произнес:

— Если это правда, что Федюков убил чекиста Бутягина, то я поздравляю всех. Мы освободились от самого страшного врага.

Стецура прищурил сытые, сияющие счастьем глаза и захихикал радостным смешком.

— Ну, коли так, то меняется все дело. Завтра же ударим на город, нехай радуется Сергей Сергееч.

V

Городок тихо засыпал, убаюканный теплой осенней ночью. Редкие фонари тускло освещали безлюдные улицы. У низенького окна скособочившейся хаты остановился человек. Несколько секунд он напряженно осматривался, затем, как бы в чем-то убедившись, решительно и быстро шагнул к слабо освещенному окну и негромко постучал. Глухое собачье ворчание и шум открывшейся двери встретили его.

В полосе брызнувшего изнутри света показалась невысокая, стройная женская фигура.

— Тоня! — окликнул ее пришедший и, огибая черневшую на пути собачью конуру, двинулся вперед.

— А я уже заждаюсь, Сема, — радостной скороговоркой заговорила девушка, бросаясь навстречу. — Да помолчи ты, Полкан, шел обратно! — замахнулась на ворчавшего пса.

— Ничего, ничего, Тоня. Делов куча была, вот и не приходил. Прямо во, по сие место хватало. — И парень притянул к себе девушку.

— Ну, Семушка, идем, что ль, в избу, а то отец с матерью еще не спят, заругают, — слабо уговаривала девушка.

— Э... Тоня, милая, в избу мне нельзя. Дело такое, что надо бы нам без других побалакать. Давно брат-то, Степан, был?

— Утром был, да и сейчас дома. Он завтра в карауле, так сегодня ему отпуск даден.

— Дома? Ну ладно, ладно, это хорошо. — Парень потер ладони и весело сказал: — Ну, в таком разе валим в избу! Только ты, Тонь, отца с матерью уложи скорей, а мы втроем-то и побеседуем.

— А что, Семушка, али что есть?

— Ух-ух, сколько! Всего, кажись, и не оберешься. — И парень поднялся на низенькое крылечко.

— Да что ж ты ерунду несешь! Боишься, так прямо и скажи, — взволнованным голосом говорил Семен, размахивая руками перед носом сидевшего рядом с ним красноармейца. — Где это видано, чтоб за сына отец с матерью отвечали? Да и за что? Что, они знать должны, где ты? Зато какой тебе почет будет от атамана! Первым человеком сделает после себя. И денег, и власти — всего будет почем зря. Все равно, друг, через день-два атаман заберет город, и тогда, смотри, плохо будет всем, кто у них служил. А особенно вам, военным. Небось никуда не скроешься. Всякий знает, что в ЧК служил.

— Ну что ж, что в ЧК, — угрюмо перебил Степан, — наше дело маленькое.

— Нет, брат, врешь, не маленькое. От тебя вон сейчас все зависит. Поможешь нам, так человека нужного спасешь, а нет, так смотри, хоть Тонька ваша мне вроде как и жена, а смотри, Степан, видит бог, не помогу. Пальца о палец за тебя не ударю, когда атаман в город придет.

— Да что ты пристал, ровно репей к хвосту. Что я могу сделать в таком деле? Что я, комиссар, что ли? Ну, буду на часах стоять, кругом народ, коридор длинный. Федюкова все знают. Ну, хоть бы я его ослобонил, куда он там, в ЧК-то, скроется? Ты об этом-то подумал, дурья голова? Что он, духом святым, что ль, исчезнет? — заволновался красноармеец. — Этак, брат, не то что убежать, а и шагу не пройдешь, как все откроют.

— Обожди, не тарахти, — спокойно перебил Семен, — ты меня слушай. Ты перво-наперво прямо скажи: ежели бы все вышло благополучно, взялся бы ты помочь Федюкову и с поста вместе с ним тикать?

Красноармеец напряженно молчал, глаза его смущенно бегали по сторонам.

— Ну?

— Ежели б все в аккурате, так да.

— Слава богу, решил. Ну а об чем другом — уж не твоя печаль. Найдутся еще добрые люди, ты только слушай внимательно, что я тебе скажу. Когда тебе на посту стоять?

— С часу ночи до трех. Опять же утром с шести до восьми.

— Утром не надо. Обделаем ночью. Слухай дальше. Я тебе дам завтра кой-чего... Ключ дам, так ты, брат, с-под двери к нему просунь его. Да как дверь откроют, веди его по коридору, будто арестованного, во двор. Об остальном уж не твоя печаль.

— А я? — переспросил неуверенным голосом красноармеец.

— А ты вали тем же часом на мельницу, а оттуда с Тоней поедете до атамана.

— А ты как, Сема? — затаивая дыхание, спросила до сих пор молчавшая Тоня.

— А я, милая, раньше вас к батьке атаману с Федюком прибуду. Только чтоб братец-то твой до завтра не передумал.

— Степа, а Степа! Решил, что ли? Уж решай что-либо одно, — со страхом обратилась к брату девушка.

— Да ладно, раз сказал, менять не стану. Все равно один черт, не сегодня-завтра ваши заберут город, конец нам придет, а так хоть живой останусь.

— Во-во! — обрадовался Семка. — Ну, по рукам, что ли?

И они обменялись рукопожатием.

...Все вышло удивительно просто и тихо.

Ровно в час Степан заступил на пост, а спустя полчаса Федюков, открыв ключом дверь, вышел в коридор. Коридор, в котором находилась одиночка, был в самом углу большого четырехэтажного дома, занимаемого ЧК, и выходил на глухой двор. Ввиду изолированности и отдаленности коридора особого внутреннего караула в нем не полагалось, кроме часового, стоявшего перед дверью Федюкова. Оба, ступая на цыпочки, тихо прошли по чуть освещенному коридору и осторожно спустились во двор. Едва скрипнула давно не смазанная дверь и две тени нырнули в черную ночь, как из караульного помещения, расположенного во внутреннем флигеле, показалась третья тень. Спустя секунду все исчезли в темноте. Когда через полтора часа пришедший на смену разводящий обнаружил исчезновение часового и арестованного, по узким лестничкам засновали, забегали, засуетились люди и загудели телефоны.

В ту же ночь, под самое утро, на Косой горе, в доми-

ке Тони, был произведен обыск и поставлена засада. Перепуганные старики долго не могли понять, что случилось, и только после того, как допрашивавший их следователь, увидя, что старики решительно ничего не знают, растолковал им, в чем дело, оба, и старик, и старуха, заплакали и долго причитали. Не узнав ничего нового, следователь отпустил стариков, а еще через день было снято и наблюдение, так как стало ясно, что ни сбежавший сын-красноармеец, ни дочь, жившая с каким-то Семкой-гармонистом, не возвратятся больше в этот покосившийся дом.

VI

Закувала та сива возуля..
Ранним-рано, на зори... —

выводил слова старинной запорожской песни молодой певец, одетый в короткий бешмет с засученными до локтей рукавами. Вокруг певца стояли люди, со вниманием слушавшие эту старую, давным-давно знакомую и десятки раз петую мелодию.

— А ну к бису эту песню! Тянут, будто попа за камилавку. Хиба моим молодцам нужна такая панихида? Щоб рожі повытягивало... Давай нашу, молодецкую! А ну, сыны!

И, притопывая ногой, Стедура пьяным голосом выкрикнул:

Ой, яблочко,
Цвету ясного!
Бей, рубай, не жалеј
Лиха красного...

— Ох!.. Ух!.. Ах! — разом застонали, засвистели, подхватили окружающие.

Далеко за полями ухнуло и перекатилось эхо, и гулким, дробным стуком застучали кованые сапоги бросившихся откалывать трепака людей.

Второй день буйное веселье не покидало ставку начальника «войск Иисуса Христа», в безудержной радости беспшибашно праздновавшего удачный побег из плена одного из наиболее ценных сотрудников, бывшего комиссара ЧК — Федюкова. Открывались дотолє бывшие под запретом четверти со спиртом и двойным самогоном, и пьяная, буйная ватага людей опять пила и гуляла.

Если бы не опытный, всегда осторожный есаул, то, вероятно, и сторожевые посты перепились бы в лоск. Вести, которые привез Федюков, говорили о панике и развале среди красных. Эвакуация города была неминуема.

— Есаул Кандыба! — приказал атаман. — А ну, почитай-ка наш приказ по отряду! — Стецура, тяжело отдуваясь, поднялся с места и, слегка пошатываясь, подошел к штандарту с живописным изображением черепа.

Есаул ровным военным шагом прошел за ним. Шум и пьяные возгласы в толпе не умолкали.

А ну, там, тише! — закидывая назад голову и багровев от крика, завопил атаман. — Геть! Кому говорю! Слушать мою команду!

Шум стих. В сторону штандарта повернулись красные, распухшие от вина лица. Стоящие в ближних рядах с любопытством, как бы впервые, оглядывали есаула, вынувшего из полевой сумки серый листок и спокойно развернувшего его. Со стороны коновязи, от хутора, с огородов, через плетни, перелазы и прямо по улице спешили бабы, хуторяне, ребятишки.

— Господа громада! — откашлявшись и поводя по сторонам глазами, начал Стецура. — Конечно, как все наши казаки и атаманы вместе со мною и штабом празднуют спасение нашего дорогого брата и друга Ивана Фаддеича Федюкова и вместе с нами молятся за святое дело освобождения Расеи! Все вы знаете, дорогие братья, кто такое есть наш дорогой Федюков и какая его, значит, заслуга. Не будем долго об этом докладывать, ибо он есть герой. И вот, дорогие братья и казаки, вспомним тех, кто не испугался ЧК и из тюрьмы увел от смерти нашего дорогого героя Федюкова. Запомним их навсегда и крепко и сильно закричим им — ура! — При этих словах Стецура сорвал с себя барашковую шапку и с размаху кинул ее оземь.

Из середины толпы, вытолкнутые десятками рук, вывалились гармонист Семка, Тоня и ее брат, больше всех смущенный этим неожиданным почетом. Тоня, пунцовая от похвал, стояла рядом с гармонистом, смущенно потупив глаза, и только Семка, развязный и бойкий, привыкший всюду держаться как на базаре, широко осклабился и, низко кланяясь, закричал:

— Ура, братцы, нашему атаману!

— Хлопцы! Пей, ешь, жри, кути... за счет атамана!..—

Степура перевел дух и громко крикнул толпившейся невдалеке куче хуторян: — Станичники! Угощай моих ребят как полагается, чтобы были и сыты, и пьяны, и нос в табаке...

VII

— Товарищи! Чрезвычайное собрание Революционного комитета считаю открытым. Прошу еще раз пересчитать присутствующих, после чего товарищем Фроловым будет сделан доклад о текущем моменте и положении города.

Большинство собравшихся было одето в серые шинели и сапоги. Пестрели два-три женских платка. Настроение у собравшихся было возбужденное. Неровный гул голосов стоял в комнате.

Фролов поднялся и мерным, спокойным шагом прошел вперед, к кафедре.

— Товарищи! Доклад мой есть не что иное, как информационное сообщение о том, что происходит в настоящее время вокруг нас, каковы планы врага и что в свою очередь предпринимаем мы для того, чтобы нанести ему контрудар. Товарищи, ни для кого из вас не является секретом, что мы окружены, почти совсем отрезаны от нашей губернской базы. Связь, которую мы еще имеем с центром, очень слаба и каждую минуту может прерваться. Силы наши невелики, в то самое время, когда силы банды атамана Степуры значительно превышают наши и непрестанно растут, усиливаясь за счет дезертиров, уголовного элемента и волнующихся кулацких хуторов. Итак, дорогие товарищи, вы видите, что в смысле количественном банда значительно превосходит нас, к тому же инициатива нападения все время находится у них в руках. Все последнее время бандиты «Иисусова войска», как они себя называют...

При этих словах по залу пробежал легкий смешок.

— ...беспрестанно тревожат наши жидкие заставы и охранения и настолько уверены в своей безнаказанности, что стали даже днем нападать на наших красноармейцев, доставляющих фураж и продовольствие для гарнизона из соседних хуторов. Никаких новых сил в ближайшее время получить из центра нам не удастся, и мы должны собственными силами, вот этими самыми руками, освободить себя и уезд от наседающей банды.

И, товарищи, несмотря на то, что я вам сейчас докладывал, мы все же это можем сделать. У нас, друзья, есть то, чего нет и не может быть у наших врагов: партия, идея, рабочие, трудовое крестьянство. С таким капиталом мы сокрушим врага. Революционный комитет, вместе с ним и Чрезвычайная комиссия призывают вас беззаветно отдать себя революции.

Докладчик умолк. Громкие аплодисменты, горящие, возбужденные глаза и крики приветствовали его слова.

Вставай, проклятьем заклеянный
Весь мир голодных и рабов... —

негромко запел кто-то в углу, и сейчас же все поднялись с мест, и комната огласилась величавыми звуками «Интернационала». В полураскрытые окна смотрели голубые, начинавшие темнеть облака.

Когда все смолкло, худой рабочий-старик неловко встал и, бочком пробираясь вперед, подошел к застывшему у стола докладчику.

— Товарищ Фролов! Вот ты говоришь — идея. А как же насчет федюковской измены? — с болью в голосе спросил он.

Зал мгновенно стих. Глаза всех устремились на председателя ЧК, ожидая от него ответа.

Минута прошла в глухом молчании. Предчека гордо откинул голову назад и твердо, коротко сказал:

— Товарищи, через неделю вы здесь, в этом зале, будете судить Федюкова.

VIII

Темная ночь. Спит Бугач, спят домишки. В глубоком сне молчат пустынные слободки.

На далеком вокзале суетливо бегают мерцающие огоньки и глухо, с надсадою стонет маневровый паровоз. У здания ревкома зацокали копыта. Чей-то тихий, приглушенный голос спросил:

— Эй... кто тут есть?

Из серой, непроглядной мглы так же тихо раздалось:

— Товарищ Глушков?

— Я. Готовы вы, что ли?

— Готовы, все в сборе.

— Ну, так сейчас к вокзалу. Только со стороны то-

варной, там на путях стоит поезд без огней. Живо занимать теплушки, чтобы без шума и не курить!

— Не бойсь, знаем, не маленькие, — ответили из тьмы голоса.

— Старшой кто? Ты, что ли, Саенко?

— Я, товарищ Глушков.

— Ну, вперед! — И конный растаял в темноте.

Было около двенадцати часов. На запасном пути заброшенной и почти не обслуживаемой товарной станции бесшумно мелькали люди, рассасывавшиеся по темным, неосвещенным теплушкам. В вагоны втаскивались пулеметы. Люди тихо рассаживались по нарам, коротко перебрасывались словами. Вскоре таинственный поезд без огней тронулся с места.

...Атаман Стецура совсем близко подошел к осажденному городу, и если бы не бронепоезд красных, то атаман вряд ли удержался бы от искушения атаковать врага. Разведка банды почти доходила до слободок Бугача, но, вовремя обнаруженная и обстрелянная красными, без потерь отошла назад. Красные были осведомлены о передвижении отряда и проводили ночи в караулах и охране. Часть кавалерии Стецуры под командой Луценко и Кабанова была направлена в сторону слободок, чтобы ночью тревожить красных.

Черная, густая ночь стояла над степью, и хуторок, в котором расположился атаман, совсем потонул в непроглядной тьме. Развьюченные кони жевали овес и мягко шлепали в темноте своими ласковыми, отвислыми губами. Тихая ночь убаюкала людей, и дремавшие часовые широко позевывали, мечтая о скорой смене. Почти весь отряд, за исключением штаба, спал мертвым сном.

За столом сидели атаман, есаул, Федюков и Тоня. На кровати лицом к ним полулежала Агриппина, с любопытством и недоброжелательством разглядывавшая новую товарку. На столе шипел ярко начищенный самовар, чернели куски холодного мяса и стояли две четверти с розовым пенистым вином. Тоня, с переброшенным через плечо полотенцем, перетирала чашки.

— Ну, значит, Антонина у нас будет за хозяйку. Отставку тебе, Гриппа, от хозяйства объявляю, — засмеялся Стецура.

Он потянул Агриппину за руку, посадил рядом с собой на скамью.

— Ну, други дорогие, прошу к столу, поближе, потеснее. Чем богаты, тем и рады. Вот, бог даст, возьмем через денек-другой город, тоды уж покутим всласть. Так ли, Гриппа? — И он шлепнул по спине свою соседку.

Та глянула на атамана и молча кивнула головой.

— А ты, Тоня, хозяйничай. Режь, наливай, задабривай. Чтой-то мне сегодня выпить хочется, — продолжал Стецура.

— Видать, скоро в городе будем, — засмеялся Федюков.

— Надо думать, что к счастью, — поддержала его Топя, накладывая на тарелку атамана холодное мясо.

Ну, выпьем, — сказал атаман, протягивая руку чашке, доверху наполненной вином.

— Выпьем, — подтвердил Федюков.

И все пятеро высоко подняли свои чашки.

— За нашу удачу и за разгром красных! — проговорил есаул, чокаясь.

— Аминь, — спокойно и уверенно закончил Стецура.

Федюков поднял над головою свою чашку и громким и проникновенным голосом повторил:

— За нашу удачу и за разгром врага!

— Что же ты, Федюков, только с нею чокнулся? — обиделся Стецура, указывая на Тоню.

— Потому что вы, други, выпили первыми, не дожидаясь меня, — засмеялся Федюков и весело продолжал: — А чтоб не было обидно, давай выпьем и с тобой, атаман.

Чаще звенела посуда, и весело пенилось вино. Головы пьющих приятно хмелели, и сами собою начинали развязываться языки. Тоня раза два небрежно, как бы вскользь, взглянула на часы, висевшие на стене, и атаман, случайно приметивший этот взгляд, с пьяной фамильярностью и игривым смешком спросил ее:

— Ты что, красавица, на часы поглядываешь? Скучно тебе с нами, что ли?

— Да нет. Просто Сему жду. Сема скоро придет.

— А, Семка! Жених твой богоданный! Али уже муж, а? Ну-ну, не таись. Скажи нам, може, уже муж? — пьяно смеялся Стецура, хватая Тоню за полные локти и стараясь прижать к себе. — А то, если нет, мы тебя сами, без попа, обвенчаем. Вон выбирай — кого хочешь, бери любого. Хочешь есаула, хочешь Федюкова, хочешь меня... А?

— Вот последняя бутылка, а потом и спать, — улыбаясь, сказала Тоня и, взяв с окна бутылку, медленно разлила вино по чашкам. — Ну, все до дна за мое здоровье! — И, пригнувшись к самому лицу Стецуры, она задорно посмотрела на него.

— Все до дна! — повторил атаман и, не отрывая губ от чашки, выпил вино.

Есаул молча проделал то же самое.

— А ты чего не пьешь, Федюков? Пей за ее здоровье!

— А я маленько погожу, — с улыбкой ответил тот, отодвигая от себя чашку.

— Чего годить-то? Пей — и вся. А потом спать, — пьяно бормотал не замечавший пристального взгляда Федюкова Стецура.

Слегка покачиваясь, он прошел к постели и, грузно бухнувшись на подушки, хрипло сказал:

— Гриппа, ну-ка, скидай с меня сапоги. — Не дождав-шись ответа, он сонно приподнял голову и, внезапно раздражаясь, повторил: — Кому говорят... скидавай!.. Два раза, что ль, просить?

Но адъютантша не слыхала бормотания рассерженного Стецуры. Разметав руки вдоль стола, она спала крепким, безмятежным сном. Ее голова свисла над краешком стола, и начинавшее терять равновесие тело медленно сползло со стула.

— Ну... — снова начал Стецура и сейчас же оборвал неоконченную фразу, видя, как есаул, поднявшийся было с места, тяжело рухнул на скамью. — Ишь... черт... на...ли...зался, — еле ворочая языком, пролепетал терявший сознание Стецура.

В каком-то колеблющемся тумане он близко от себя увидел широко раскрытые, устремленные на него зрачки Федюкова. Комната заходила ходуном. Огни лампы взметнулись к потолку, и черная, тяжелая пелена грузно легла на грудь атамана. В ушах трещали и лопались сухие и звонкие колокольчики. Потом наступила тишина.

— Сильное у тебя вино, Тоня. Каких молодцов с ног посшибало! — не выпуская из рук голову Стецуры, негромко проговорил Федюков и, полуобернувшись к бледной Тоне, сказал: — Готов... А ну, взгляни, товарищ Попова, который теперь час!

— Около двух, — тихо, спокойно ответила девушка,

и только вадрагивающие уголки губ да смертельная бледность лица говорили об охватившем ее волнении.

— Через час наши атакуют хутор. Укладывай по местам приятелей и давай уносить отсюда ноги. Через полчаса будет поздно.

Девушка кивнула и стала помогать Федюкову, аккуратно укладывавшему атамана в пышную, пуховую постель. Прикрутив лампу, оба спокойным шагом прошли мимо дремавших у штандарта часовых. Один из них приподнял было голову с брешенного на землю седла, но, увидя знакомую фигуру Федюкова, успокоился. Где-то вдали лаiali сторожевые псы. Маленький хуторок безмятежно спал.

IX

— Кто идет? — раздался из темноты оклик часового. На черном гребне холма появились фигуры.

— Свои.

— Что пропуск? — спросил часовой.

— Пуля.

— Проходи. — Успокоенный ответом, часовой опустил винтовку, сделал несколько шагов навстречу идущим.

— Что, браток, своих не узнал? — весело спросил человек, подходя вплотную к часовому и ударяя его по плечу.

— А кто его знает... ночь-то, вишь, какая, — оправдывался часовой.

По степи потянуло предутренним ветерком, сырая прохлада поднималась от земли. Часовой зябко повел плечами и, отставив винтовку, спросил:

— А что, долго еще до рассвета?

— Да недалече... А что?

— Да смены жду. Надоело ночь-то стоять.

— А... так-так!.. Ну ладно. Мы тебя сейчас сменим. — И, не меняя спокойного тона, говоривший продолжал: — А ну, товарищи, забирай его!

Недовольный такою шуткой, часовой раскрыл было рот, чтобы ругнуть вновь прибывших, но прямо на него глядело дуло кольта. Несколько ловких рук в одну секунду связали часового и, забив кляпом рот, положили, словно тюк, в траву.

— Товарищи, дальше следует второй пост. Мы с Федюковым подойдем к нему и точно так же снимем и его.

А за ним начинается самый хутор и стоянка бандитов. Так что ли, Федюков?

— Правильно, товарищ Бутягин. Только надо взять чуточку вправо, по ложбинке, там у них коновязи. Когда заберем последний пост, на холме установим пулеметы — и айда по коням! Одни кони сотни две бандитов передавят.

— Молодец ты, Федюков. Ну, ребятки, вперед! А ты, товарищ Глушков, подожди артиллерию и передай: как только мы откроем из пулеметов огонь, пусть они кроют по бандитам картечью.

— Слушаюсь!

Х

Наступление велось с трех сторон. Высадившийся верстах в четырех от хутора отряд взял направление на северо-восток, с тем чтобы занять у самого расположения бандитов позиции и затем по сигналу внезапно атаковать.

Чоновцы, которыми командовал Бутягин, подкрепленные караульной ротой ЧК, шли во фронт. Кавалерия заходила в тыл хуторку и, спешившись, заняла позиции, ожидая общего сигнала к наступлению. Два орудия были установлены против хутора. За буграми, на опушке леса, в густой тени деревьев, прятался бронепоезд, к которому в случае неудачи атаки должны были отходить красные войска. Хутор был окружен. По горизонту уже поползли серые тени, и темная ночь стала медленно уступать место осеннему рассвету.

Оглушительно рывкнули орудия, два гулких взрыва судорожно взметнули к небу полосы черного дыма. Звучное эхо едва успело откликнуться за холмами, как из мрака застучали десятки пулеметов и частые ружейные выстрелы. Казалось, бесчисленные шмели, жужжа, бороздили воздух. Коня сорвались с коновязей и, топча на пути бегущих людей, бешено носились по хутору.

Где-то за буграми грянуло «ура», и новые залпы прорезали темноту. Сотни пуль с воем неслись по степи, вонзаясь в глиняные дома, перелетая через низенькие плетни и заборы, за которыми пытались укрыться еще не пришедшие в себя «воины Иисуса Христа».

Мощное «ура» все росло. Атакующие сбили остатки еще державшихся бандитов и приблизились к самому

селу. Сзади за хуторком, там, где дорога вела на станцию, загрохотали ружейные выстрелы, разрывы гранат и четкой дробью застучали пулеметы. Это спешенная кавалерия из засады открыла огонь по убегавшим к станции остаткам недавно грозного отряда «Иисусовых войск».

При первых же звуках разорвавшихся гранат Семка-гармонист, бывший в ту ночь дежурным по отряду, приказал выкатить вперед пулеметы и открыть по наступающим огонь.

— Не робь... цель на вспышки! — командовал он. — Стрелки, в цепь!.. Кому говорю, в цепь! Куда бежишь, собачий сын! — Размахивая карабином, он бросился навстречу мечущимся в панике по двору людям. — Открыть огонь! Бей, ребята, залпами. Это разведка красных. Сейчас подойдет батька атаман и в два счета опрокинет противника.

Загоревшийся от снаряда овин озарил канаву, в которой залегла кучка бандитов. В ту же секунду совсем близко грянуло дружное «ура», и ряд гулких взрывов опоясал грохотом и пламенем канаву.

— Обошли! Измена! Обошли! Где атаман? Спасайся!..

Десятки людей, бросая винтовки, перепрыгивая через плетни, кинулись врассыпную, оглашая стонами и криками взбудораженную ночь.

Семка рванулся с места и ловко, словно заяц, стремительными прыжками бросился во двор, туда, где был расположен штаб отряда и где еще развевался бандитский штандарт. Пули с воем проносились над ним. У самых дверей, раскинув руки и подогнув под себя ноги, лежал в луже крови один из часовых. Другого не было совсем. Конь атамана, вырвавшийся из конюшни, со звонким ржанием метался по двору. Штандарт реял над самой дверью, за которой царил мертвая тишина. Семка со всего размаху влетел через сени в горницу и хриплым, задышающимся голосом закричал:

— Атаман здесь, что ли?

Из-за кустов и плетня, отстреливаясь, выбежали несколько бандитов. Один из них, перебегая двор, ахнул и, взмахнув руками, упал у самого штандарта. Возле него поднялся косматый дымный столб. Огонь, земля и свистящие осколки снаряда взлетели над убитым.

Бегущие, огибая место разрыва, бросились низами, через задний двор, к дороге.

Один из них в страхе присел и, озираясь, жалобно закричал:

— Пропали наши головы, как есть кругом оцепили!

Отшвырнув от себя ружье, он поспешно вытащил из кармана красноармейскую звезду и, нацепив ее на фуражку, побежал, согнувшись, вдоль забора. Другой шмыгнул к стогу сена, стоявшему возле атаманской коновязи.

Не получив ответа, Семка ринулся было обратно, но блеснувший из сеней огонек на секунду озарил часть горницы и широкую кровать, на которой безмятежно спал человек. Семен бросился к спящему и, дергая его за плечо, крикнул изо всех сил:

— Атаман, вставай, красные в селе!

Стецура качнулся от толчка, не издав ни малейшего звука.

— Да вы что здесь, подошли все, что ли? — заревел Семка.

За окном гремели выстрелы. Разлетелось вдребезги оконное стекло. Семен еще раз сильно встряхнул Стецуру и истошным голосом закричал:

— Ата-ма-ан! Вставай, очухайся, красные на селе! Батько, атаман, вставай, спасайся! Измена!

Под его кулаками Стецура приподнялся, уставясь на Семена мутным взглядом, что-то пробормотал и снова уронил голову вниз.

— Вставай!.. Ну ж, вставай, это я... Семка! — тормоша его, с отчаянием в голосе закричал гармонист и потащил к выходу тяжелое тело пьяного атамана.

Он с трудом выволок его за порог и, быстро оглядевшись, зашептал:

— Да очухайся ты, ну, приди ж в себя, батько. Еще не все потеряно. Бежим в степь... на хутора дальние. Ну! Ну ж, вставай! Спасайся, батько!

Стецура протер кулаками глаза и, широко зевая, проговорил:

— А-а! Се-емка!.. Вина да-а-ай! — и, звучно икнув, лег на землю.

— У-у! Гад!.. — закричал Семка.

Он пихнул ногой валявшегося у порога атамана и бросился к коновязи. Из стога ему навстречу выскочил притаившийся бандит.

— А ну, бросай винта!.. Стрелять буду! — грозно закричал, он, направив в упор на Семку дуло своего ружья.

— Да ты что, очумел, что ли? Это ж я, Семка! — озадаченно сказал гармонист. — Своих не узнаешь, дура!

— Я те дам дуру!.. Кому рассказываю, бросай оружие, а то сейчас с винта вдарю! Ну-у! — угрожающе крикнул бандит.

И по его мрачному тону и лихорадочному блеску глаз Семка понял, что тот не шутит. Он тяжело вздохнул и выронил винтовку, поднимая вверх руки.

— Вот то и добре, що ты и есть самый Семка. Это мене вроде как бог` помогает,— скручивая ему назад руки, пояснил бандит. — За таких сазанов, як ты да Стецура, большаки меня не то что не тронут, а, гляди, медалью дадут. Ну ты, контра собачья, ложись наземь, а то сейчас прикладом тюкну! — крикнул он, замахаясь на потемневшего Семку.

Гармонист молча лег на землю. Бандит связал ему и ноги, после чего направился к Стецуре. Взяв спавшего атамана за ноги, он без всяких церемоний подволок его по земле к лежавшему Семке и, уложив рядом, прикрыл своей шинелью.

Выстрелы смолкли. Шум боя затихал. Кое-где еще слышались отдельные крики. Далеко за домами в последний раз застрочил пулемет. Было уже совсем светло.

На улице, приближаясь, раздались голоса:

— Сюда, сюда, товарищи, здесь их штаб, только осторожней.

Бандит испуганно посмотрел в сторону и тревожно пробормотал:

— Подходят!

Он быстро закрестился, не сводя глаз с угла, откуда уже громче слышались голоса.

— Ой, да помогите ж мени, добрые люди! Ой, да скорейше идыть на подмогу, а то втекут, ей же боже, втекут бандюки, окаянные злыдни! — неистово завопил он, как только увидел показавшихся на улице вооруженных людей.

Впереди с маузером в руке шел Бутягин.

— Что за человек? Чего орешь? — остановился он возле бандита.

— Бандюков споймав. Самых наиглавнейших комап-диров, атамана Стецуру, хай ему бис, и Семку, щоб ему

очи повылазили. Они вот туточки, под шинелькою, ховаются.

— Стой, не тарахти, — остановил его Бутягин и, сдержив с лежавших шинель, с удивлением сказал: — Да неужто они?

По его лицу пробежала радость. Он нагнулся над лежавшими. Гармонист закрыл глаза и отвернулся, атаман сонно и блаженно похрапывал, что-то невнятно бормоча во сне. Из-за плетня подошел Глушков, еще пахнувший пороховым дымом, сияющий, возбужденный. Он тоже склонился над лежащими.

— Да ведь это же Семка-гармонист, можно сказать, главный их заводила и агитатор. Помнишь, Бутягин, я писал тебе о нем!

— Как же, помню. Разве можно забыть такого гуся! — сказал Бутягин.

Глушков поднял голову Стецуры и похлопал его по плечу:

— Эй ты, атаман божий, проснись, что ли! Ну!

Он сильно потряс за плечи Стецуру. Атаман закашлялся. Потом, не открывая глаз, ухмыльнулся и сказал:

— А ну, хлопнем еще по чарке!

— Уже хлопнули, — засмеялся Глушков, махнув рукой перед носом атамана.

— Заберите их, товарищи! — приказал красноармейцам Бутягин.

— Господин товарищ, это ж я их один усех опрокинул, — вытягиваясь перед Бутягиным, заговорил бандит, схвативший Семку.

— А ты кто? — оглядывая его с головы до ног, спросил Бутягин.

— Я есть незаможный крестьянин, мобилизованный циими бандюками с-под ружья. Як же вони знущалыся над нами, над хлиборобами, ой, боже ж мий, як знущалыся, яку шкodu наробыли нашему брату селянину! — хватаясь за голову, продолжал скороговоркой бандит.

— Взять и его. Там разберемся, — сказал Бутягин.

— Да за що ж мене? Ваше сиятельство, господин товарищ. Я ж самолично, не бояся смерти, споймал их, а вы ж мене в кутузку!.. — уже издали донесся визгливый голос уводимого красноармейцами «незаможного селянина»,

— Ура!.. Ура, брат Бутягин! — выбегая из хаты, закричал Глушков. — Все тут, и есаул, и Агриппина! Никто не ушел.

— Чистая работа! Разве от таких молодцов, как наш Федюков и Попова, уйдут? Кстати, где они? — улыбаясь, осведомился Бутягин.

— В город только что отправились. Им теперь покой нужен, — сказал Глушков и, перебивая себя, крикнул красноармейцам, подбравшим по двору раскиданное бандитами оружие: — Товарищи, сюда, в хату! Помогите вынести отсюда бандитов да, кстати, заберите эту бандитскую регалию, — указывая на все еще развевавшийся штандарт «войск Иисуса Христа», засмеялся он.

По хутору звонко разливался сигнал трубача, игравшего сбор.

Солнце поднялось над степью. Красноармейцы сгоняли пленных бандитов, собирали раскиданное по полю оружие.

XI

— Итак, товарищи, как вы уже знаете, силы наши были втрое слабее сил атамана, и тем не менее мы разгромили и уничтожили банду. Атаман Стецура и его штаб сидят в ЧК.

Гром аплодисментов прокатился по залу.

— Бойцы соперничали друг с другом в мужестве. Чоновцы и чекисты безостановочно атаковали врага. Нам сильно помогли — и это я должен отметить в первую очередь — наши товарищи чекисты: Бутягин, Федюков, Попова и красноармеец караульной роты товарищ Степан Грицай. При их помощи наш уезд очищен от кулацких банд, и мы можем возвратиться к мирному труду. Товарищи чекисты, прошу выйти вперед.

Аплодисменты прорезали тишину.

— Когда нам стало ясно, что небольшими вооруженными силами не уничтожить врага, мы разработали план, по которому в штаб банды должны были войти наши люди. Исполнить это опасное поручение взялись трое наших товарищей: Попова, Грицай и Федюков. Для того чтобы войти в полное доверие к врагу, товарищ Федюков через нашу агентуру связался со Стецурой и стал его снабжать сведениями, уже потерявшими для нас цен-

ность. Товарищ Попова вошла в организацию бандитов и помогла «бежать из-под расстрела» Федюкову, после его «покушения» на Бутягина. Вот и все! А теперь, товарищи, я должен напомнить вам мои же слова, сказанные здесь. Я пообещал, что через неделю перед вами будет Федюков и вы сами станете судить его. Вот они, «подсудимые», перед вами...

Никогда стены здания, в котором происходило собрание, не слышали более громкого и восторженного гула, чем тот, который покрыл последние слова Фролова.

И вдруг сквозь этот шум трогательно и просто прозвучел четкий, знакомый напев:

Вставай, проклятьем заклейменный...

Это, роня счастливые слезы, пел старый рабочий, тот самый, который так недавно и так неловко спросил об изменнике Федюкове.

Шум смолк. Люди застыли. И через секунду весь зал, все собрание уверенно пело слова великого гимна:

Мы наш, мы новый мир построим...

Ласковое, совсем не сентябрьское солнце золотило головы певших людей.

СТАРЫЙ КАЗАК

Р а с с к а з



I

Майор Павлов поднял голову и прислушался. Из кустов орешника донеслись взрывы безудержного хохота. Приглядевшись, майор увидел группу красноармейцев, среди которых стоял общий любимец полка, старый Родион Бабич, низовой, терский казак, год назад добровольно вступивший в армию. Казак, жестикулируя и приседая, что-то рассказывал под общий хохот слушателей.

«Веселый мужичишка! Опять свои балажки разводит», — подумал майор и не спеша направился к бойцам.

II

Казак Родион Бабич воевал с немцами уже в третий раз. Первый раз — на германском фронте в 1915 году, когда он, лихой урядник Кизлярско-Гребенского полка, в конной атаке под Тарнополем зарубил трех немцев, за что и получил Георгиевский крест. Бабич и посейчас носил на груди рядом с орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу» черно-желтую ленточку.

— Кавалер ордена Георгия четвертой степени, — с гордостью говорил Бабич и добавлял: — Креста нема. Утерять еще в гражданскую войну.

Второй раз Бабичу пришлось схлестнуться с германом за Ростовом в 1918 году. «Тоже его добре порубали», — повествовал старик.

И наконец, в третий раз Родион Бабич пошел воевать в 1942 году, когда на его родной Кавказ пришел наглый и ненавистный германец.

— Казачьи земли топтать, и где это видано? — оттачивая пашку, бормотал старик, время от времени пробуя то на ногте, то на хворостинке остроту жала дедовского клинка. — У нас на Тереке двести лет как вороги землю не топтали. Прощай, маты! Живы будем — повидаемся, а в случае чего подавайся вместе с худобою через буруны напрямки к Кизляру. Там у свояка отсидишься, пока мы не возвратимся. — И, сурово глянув на плакавшую жену, Бабич неожиданно ласково сказал: — Ну-ну, ладно! Будет, Дарья!

Уже отъехав за плетень, он, привстав на стремянах, по-хозяйски оглядел свою хату, баз, сад, огороды и самодовольно сказал:

— Ничего! Дом справный.

У плетня, вытирая слезы, стояла жена. С база вслед свекру глядела Марья, вдова его сына Никифора, убитого еще в самом начале войны. За подоткнутый подол Марьи держался ручонками трехлетний Степан, внучек Родиона.

— Да-а! Дом што надо! — еще раз повторил старик и, поворачивая коня в поле, крикнул: — Бабы! Слушайте накрепко меня. Ежели будете уходить к Кизляру, худобу беспрерывно всю с собой гоните, а дом палите со всех четырех концов. Нехай ничего не достанется германцу.

Спустя минуту его лохматая папаха мелькнула за домами, по улице взметнулась пыль, и копыта коня застучали по дороге.

Старому Бабичу не повезло. В первых же боях возле Прохладной ему осколком оторвало палец правой руки. Старик покряхтел, поморщился, приложил к ране порох, высыпанный из ружейного патрона, а когда это не помогло, залил рану настоем из красного перца, круто заваренного кипятком. Когда же и это испытанное средство старых кавказских казаков оказалось бессильным, Бабич отправился в медсанбат, где врачи, осмотрев руку, вынули ему остаток раздробленного пальца и заставили пролежать в ППГ целых четыре недели. О том, как он жил это время, Родион Бабич не любил распространяться.

— Ел да пил, навроде дома отдыха. Так, ничемное времяпровождение...

Спустя месяц он снова очутился в полку, вместе с которым наступал на Кубань, брал Тихорецкую и гнал врага по замерзшим донским степям.

— Опять пришлось с немцами схлестнуться... возле Торговой, — называя по-старому город Сальск, рассказывал Бабич. — Шли мы эскадрой впереди, а я с разездом в дозоре. Глядим, герман в степу блуждает, пушки с ним, пехота... Голов двести будет, а нас чего? Человек, ну, тридцать... Что делать? — думаю. — Пока я туда-сюда... донесение начальству представлю, немец сыпанет себе преспокойно до дому. Эх, — думаю, — гуляй казацкая душа, была не была — поквитаемся!.. «Шашки, — кричу, — к бою! В атаку — марш-марш!» Да коня своего наметом вперед кинул... Скачу, а сам думаю: «Вдруг ребята оробеют да за мной, старым дурнем, не поскачут?..» Только подумал, а обочь меня уже шашки свищут, казаки мои старика обгоняют — да «ур-ра!». Ку-уды тебе, пока я до немца доскакал да раза два кого бог дал благословил клинком по морде, мои ребята вдоль пехоты прогуливаются да кого шашкой, а кого просто нагайкой поздравляют. А солдаты оружие покидали, лапки вверх да орут: «Не бей, казак! Мы не немцы, мы румыны!» Что за черт! Гляжу, а они и верно румыны. Ну, конечно, забрали мы их, оглядели, так там середь румын голов сорок и немцев оказалось. Всю эту братию с пушками представили по начальству... Вот за румын этих мне гвардии генерал товарищ Кириченко, наших казачьих кровей человек, этот орден самолично на грудь навесил, — указывая на орден Красного Знамени, почтительно рассказывал Родион Иванович.

Но старому вояке снова не повезло. В бою у Новочеркасска его сильно контузило в голову, и он был признан врачебной комиссией «негодным к несению военной службы и подлежащим демобилизации по статьям №...».

— Не может такого быть!.. — упрямо заявил лихой казак. — Ну, раненый я — это верно, ну, дюже контуженный в голову — тоже правильно... Так ведь стрелять по врагу еще сгожусь, опять же хоть за конями поглядеть или чем пособить молодежи... Оставьте при полку, не обижайте на старости лет! — взмолился Бабич.

В глазах и в голосе Родиона была такая мольба, такое отчаяние, что главный врач не выдержал и уже от себя добавил: «Годен для несения легкой работы в глухом тылу».

— Чего мне в тылу делать? — снова обиделся казак. — Моя баба и сношка и без меня управляют с работой.

Не для того я кавалер ордена святого Георгия и Красного советского Знамени, чтобы в такое время навоз в станице на огород таскать! Поддержите, товарищ полковник, старика! Мое от меня еще не ушло. Мое время впереди, — говорил старик командиру полка, попытавшемуся отослать его домой.

На следующий день Бабича назначили подносчиком пищи на передовую.

— Конечно, это не эскадрон водить в атаку, — рассуждал казак, — однако опять же на передовой братьям-товарищам помогать. Это дело подходящее.

Прошло четыре месяца. Родион Бабич аккуратно, минута в минуту, появлялся на передовой, таща термоса с чаем, кашей и щами для своих «братков-товарищей».

Вскоре медаль «За отвагу» засверкала рядом с орденом Красного Знамени и георгиевской лентой.

Майор Павлов подошел к смеющимся красноармейцам. Под деревом, чуть в стороне, стоял высокий сутуловатый немец в очках и в коротком, с куцыми рукавами мундирчике. При виде офицера он поспешно одернул полы и, выпрямляясь, напряженно-ожидаяще глянул на майора.

— Здорово, орлы! — сказал Павлов и, кивая на пленного, спросил: — Откуда гость? Твой, что ли, Бабич?

— Так точно, товарищ майор, — ответил казак.

— Велели довести до штаба? — оглядывая немца, продолжал Павлов.

— Никак нет, товарищ майор. Осмелюсь доложить, что этого фрица я самолично взял в плен возле самых позиций.

— Как самолично? — удивился Павлов.

— Так точно! Разрешите доложить?

Родион Иванович любил отвечать начальству по старинке. «Как еще со времен фельдмаршала Суворова полагалось», — пояснял он. И сейчас, разговаривая с майором, он щеголял перед всеми староказацкой выправкой и подтянутостью бывалого воина и крепкого строевика.

— Ну, докладывай, Родион Иванович, — чуть улыбнувшись, разрешил майор.

— Так что, иду я утречком с позиций, куда завтрак ребятам носил. С фронту пушки палят. Ничего не пой-

мешь, откель кто бьет. Так как я уже, значит, дело свое справил и назад иду пустой, я не спешу. Сел во ржи, покурил малость, слушаю, как на передовой бьются. А там, товарищ майор, жарко. Мины да снаряды рвутся, и до меня нет-нет, а осколок либо пуля долетает. Посидел я, только хотел встать, слышу, где-то говорят. Я прислушался. Верно! Балакают двое, да не по-нашему, а чисто по-немецкому...

— Да разве ты умеешь по-немецки? — улыбнулся майор.

— А как же! Я с ними уже три войны воюю. Ну, залег я в рожь, — продолжал Бабич, — да на пузе вперед пополз. Гляжу — немцы. Этот вот, — кивнул он на беспокойно глянувшего на него немца, — а с ним другой, помоложе. Сидят во ржи и промеж себя об чем-то толкуют. Я слушаю. И видать, сбились они с дороги, спорят да сердчают... Лежу я минуты три да думаю: ну, а дальше чего? Оружия при мне никакого, хоть бы кинжал, и того нет. Одни термоса, а у них винты у обоих да парабель имеется. Как быть, чего тут сделаешь. Упустить со своей земли немцев сердце не позволяет. Выскочил я изо ржи да как зареву: «Бросай оружие, руки вверх, мать вашу так!» Этот немец как сидел, так и остался. Весь побелел, зашелся, только глазами луп-луп, аж очки вспотели, а второй фриц, тот посмелей оказался: хватъ винтовку да в упор в меня — самое ухо пробил...

Тут только майор Павлов увидел, что левое ухо казака было окровавлено, опалено и покрыто черной пороховой копотью.

— ...Я тут ему вежливо так говорю: «Ты что это, разбойник, делаешь, на людей бросаешься!» — да с размаху ка-ак вдарю ему термосом в зубы. Он на спину бряк, а тут и этот немец опаматовал да к своему ружью подбирается, а другой фриц малость очухался да опять в меня из винта целится. Что тут будешь делать с ними? Я поднял с земли камешек да как ахну его этим камешком по башке... Ну и успокоил...

— И большой камешек? — еле сдерживаясь от смеха, поинтересовался майор.

— Да не дюже шток, а порядочный. А тут как увидел этот немец, что у того башка затрещала и юшка по морде пошла, вскинул руки «хэнде хох» да чего-то по-своему залопотал...

В эту минуту пленный немец неожиданно поднял руки кверху и с трудом, но, внятно выговаривая, сказал по-русски:

— Ми тотальни немец...

— Твое счастье, что вовремя сдался, а то я б показал тебе своим камешком тотальную войну, — под общий хохот закончил рассказ Родион Иванович.

КАЗАЧЬЯ ЗАСАДА

О черк



—...Вам известны обстановка и условия, в которых придется действовать? — спросил Доватор, не без удовольствия оглядывая стоявшего перед ним высокого стройного лейтенанта.

— Так точно, товарищ генерал! Командир полка объяснил задание и обстановку.

— Садитесь. Я повторю и уточню задание, — сказал Доватор, присаживаясь за простой деревенский дощатый стол. — Дорогобуж в руках немцев. Два батальона неизвестной нам пехотной части сегодня утром выступили из города и идут лесной дорогой через Анненково на село Скворцы. Вот они, эти села. — Доватор показывал на карте очерченные красным карандашом кружочки. — Ваша задача — не столько приостановить движение врага, сколько внести дезорганизацию и страх в его тылы... Понимаете?

— Так точно, товарищ генерал-майор, понимаю.

— Вы давно в комсомоле?

— С августа 1939 года, — ответил лейтенант.

— Командование вашего полка и помощник по комсомолу указали на вас. Не подкачайте, оправдайте доверие рекомендовавших вас людей. В разъезде будут молодые, энергичные люди, что облегчит вам задачу. Это, конечно, не означает, что пойдет только молодежь, будут и другие, но комсомольцы составят основное ядро вашего маленького отряда. Вы уже виделись с людьми, идущими в разъезд?

— Так точно, товарищ генерал. Лучших для такого задания и не надо. Только разрешите обратиться с просьбой...

— Обращайтесь.

— Разрешите взять в разъезд и нашего старика, «папашу», как мы называем его.

— Кто это? — спросил Доватор.

— Красноармеец Ефим Дудаков, старый конармеец, терский казак, участник мировой и гражданской войн.

— Переросток, немного задержался в комсомоле, — засмеялся генерал. — Ну что ж, согласен. Бывалый казак, старый конармеец не помешает, а только поможет молодежи. Еще есть ко мне вопросы? — поднимаясь с места, спросил Доватор.

— Никак нет, товарищ генерал, все ясно.

— В таком случае в 12.45 выступайте... Счастливого пути. — Генерал крепко пожал руку лейтенанта.

Казачий разъезд под командой лейтенанта Тускаева, двадцатилетнего офицера, осетина с Северного Кавказа, подошел к опушке. Казаки спешились и, отведя в овражек коней, установили в кустах пулеметы.

Лейтенант Тускаев с радистом Серегиным пробрались вперед, к самой дороге, и прислушались. Вдали нарастал и все приближался шум. Один из казаков, наблюдавший с дерева за дорогой, доложил:

— Немцы подходят... Густо идут. Сотен семь, а то и восемь будет. Идут как попало: кто по дороге, кто пахотой, кто полем. На шоссе видны броневики и обозы.

— Далеко отсюда? — спросил лейтенант.

— Километра два будет, — не отрывая глаз от бинокля, ответил казак.

Не прошло и двух минут, как лейтенант, связавшись по полевой радиации с командиром полка, доложил ему, что со стороны Дорогобужа, свернув с шоссе на лесную дорогу Крупицаны — Скворцы, движется большая колонна гитлеровцев, идущих походным порядком без сторожевого охранения.

— Продолжайте наблюдение! К вам на помощь выходят эскадроны капитана Склярова. В случае необходимости, сообразуясь с обстановкой, вступите в бой, задержите противника до подхода эскадронов, хотя бы это угрожало вам разгромом, — приказал командир.

— Есть, задержать, — коротко ответил лейтенант.

В его разъезде было 36 боевых испытанных казаков.

И хотя война началась всего три месяца назад, почти все бойцы были обстрелянными солдатами, уже дважды ходившими с Доватором в самую глубь немецких тылов.

Лейтенант думал не больше полминуты:

— Коноводы — в овраг! Остальные — в цепь. Занять охранение, приготовиться к бою.

Затем он взобрался на дерево и стал внимательно вглядываться в даль.

По пыльной выжженной солнцем дороге двигался поток наступавших немцев. Легкая война, блицкриг, которая мерещилась им в эти месяцы, повлияла и на внешний вид немецких солдат. Колонна шла без равнения, не соблюдая интервалов между ротами. Запыленные, обливавшиеся потом солдаты, в расстегнутых мундирах, с закинутыми набекрень и на затылки пилотками, шагали вдоль обочины дороги. Некоторые присаживались у канав, другие спешили через пахоту наперерез дороге. Было видно, что, находясь далеко от фронта, в своих тылах, фашисты не знали о появлении под Дорогобужем доватарской кавалерии.

— Спешат на Москву. Боятся опоздать, — тихо сказал наблюдатель, обращаясь к лейтенанту.

— Вот мы их сейчас и встретим гостинцем, — ответил лейтенант, слезая с дерева. — Без моей команды не стрелять! Подпустим поближе, а затем — бить в самую гущу.

Он прилег возле казаков и прижал к щеке ложе ручного пулемета.

Два эскадрона казаков под командой капитана Складова вышли на рысях к расположению разъезда.

— Не опоздайте! Хотя я и надеюсь на лейтенанта Тускаева, но человек он молодой, горячий... как бы не зарвался. Спешите! — напутствуя уходящие эскадроны, сказал Доватор.

— Есть, не опоздать, товарищ генерал, — ответил капитан, и эскадроны лесной тропинкой, где шагом, где рысью, а где и в поводу, двинулись на помощь разъезду.

Немецкие солдаты уже проходили дорогу, когда из кустов, расположенных вдоль размытого грейдера, раздалась ружейно-пулеметная стрельба. Свинцовый ливень хватил прямо по густой, медленно передвигавшейся массе гитлеровцев и сразу же положил человек пятьдесят.

Опешившие, растерявшиеся немцы бросились врассыпную. Некоторые попадали на землю, другие заметались по полю, третьи побежали обратно. Но часть солдат, оставленная офицерами, залегла и открыла огонь по леску. К ним постепенно присоединились и остальные солдаты. На опустевшей дороге развернулись броневики и, открыв сильный пулеметный огонь, стали медленно продвигаться вперед, стараясь сбить с опушки обстреливавших дорогу казаков.

Перестрелка росла, затягивалась. Опомнившиеся солдаты, поняв по силе огня, что русских немного, стали наступать перебежками и уступом, стремясь охватить фланги казаков.

— Усилить огонь, приготовить гранаты! Сержанту Казбекову выдвинуться с пулеметом за овражек! Будете оберегать наш левый фланг от охвата! — приказал лейтенант.

Вражеские пули все сильнее хлестали вокруг. В цепи уже были убиты: сержант Корнюхов и весельчак, любимец всего эскадрона комсомолец Степа Гладилин. За спиной лейтенанта все сильнее и чаще слышались стоны раненых. Перебитые пулями ветки падали возле казаков. По пыльной, потрескавшейся земле, шипя и посвистывая, скользили пули.

— Товарищ лейтенант, командование приказывает держаться во что бы то ни стало и не сдавать немцам большака. Эскадроны уже вышли на помощь, — услышал Тускаев голос высунувшегося из овражка радиста.

— Передай командиру, ляжем все, но немцам дорогу не уступим. Скажи генералу, здесь не простая, а комсомольская застава! — не переставая стрелять, ответил лейтенант.

Немецкий огонь усилился. Четыре броневика, развернувшись в цепочку, подходили к леску. Убедившись в том, что здесь нет ни артиллерии, ни минометов, они нагло и безнаказанно двигались вперед.

— Вре-ешь! Доваторцев не испугаешь! — оставляя на секунду раскалившийся пулемет, прошептал лейтенант и, зажав в руке связку гранат, пополз между кустов навстречу въезжавшему в лес переднему броневiku.

Позади лейтенанта ползли ответственный секретарь полковой комсомольской организации Карпенко и Ефим Дудаков, тот самый пожилой казак, «папаша», участник

первой мировой войны, о котором докладывал Доватору лейтенант. Старик только недавно вернулся в строй после ранения и был первым кавалером медали «За отвагу», получившим это отличие из рук Доватора.

Вот уже совсем близко от лейтенанта передний броневик: на его башне нарисован черно-желтый крест и наклеена пасть разъяренного волка.

Вот уже рядом эта разъяренная волчья пасть. Через голову притаившегося лейтенанта летят немецкие пули.

— Пора! — Он размахнулся, и связка гранат полетела под моторную часть броневика.

Взрыв — и огонь опалил кусты. Пулемет в башне замолк. Броневик дернулся, остановился и стал медленно крениться набок. Лейтенант видел, как волчью пасть окутало дымком, затем из люка и из смотровых щелей вырвалось пламя, и броневик потонул в дыму.

Дудаков подполз вплотную к второй машине, чуть приподнялся на локте и, развернувшись, с силой швырнул вперед бутылку с горючей смесью. Второй броневик загорелся так внезапно и так неожиданно легко, словно это была спичечная коробка. Шедшие за ним немцы разбежались по сторонам и залегли, но и сам казак остался лежать возле подожженной им машины. Лейтенант видел, как дернулось в предсмертной судороге его тело, пропитое пулеметной очередью с броневика.

— Товарищ лейтенант, обходят... с левого фланга обходят... автоматчики обошли... — подползая к лейтенанту, доложил связной. — Сержант Казбеков говорит, не в состоянии держаться...

— Пусть держатся!!! Скажи, что посылаю пять автоматчиков на помощь. Сейчас сам буду.

Связной утвердительно кивнул и скрылся в кустах.

— Товарищ Карпенко! — обращаясь к ответственному секретарю, сказал лейтенант. — Наскреби у коноводов пятачков и скорей на помощь к Казбекову, только быстро!..

— Есть, быстро, товарищ лейтенант! — ответил Карпенко, и Тускаев услышал шорох отползавшего товарища.

Огонь немцев был так силен, что ползти дальше стало невозможно. В бой со стороны врага был втянут, по-видимому, целый батальон. Пули рвали землю вокруг лейтенанта. Но добраться до изнемогавшего в неравной борьбе Казбекова все-таки надо, и лейтенант, вжимаясь в землю, пополз дальше. Вот ложбинка, мертвое пространство.

Только бы добраться до него, дальше будет легче... Пу-
щенная низко пулеметная очередь, обдавая пылью и зем-
лей лицо лейтенанта, просвистела мимо. Срезанная ею вет-
ка упала возле самых глаз. Еще одно, другое движение —
и он в безопасности...

Тяжелая тупая боль внезапно охватывает плечо, не-
меют пальцы, кисть руки наливается свинцом, перестает
слушаться.

— Бей, бей их, гадов! Кроши! — кричит кто-то рядом.
Лейтенант с трудом приподнимает голову и видит, как
Карпенко, уже не таясь, бьет длинной очередью из ав-
томата по суматошно задвигавшейся вражеской цепи.

— Ур-ра! — слышит Тускаев могучий боевой клич.
Лейтенант через силу заставляет себя подняться на коле-
но. Теплая кровь заливает его онемевшее плечо и мед-
ленно стекает на гимнастерку. Но сейчас ничто — ни
боль, ни кровь — не может заслонить ликующее, радост-
ное возбуждение Тускаева.

По полю, вдоль опушки, по дороге скачут, размахивая
шашками, развернувшиеся в лаву всадники.

— Ур-ра-а! — несется и слева.

Из-за деревьев вылетает второй эскадрон.

В распущенных, развевающихся бурках, косматых па-
пахах, синих и красных башлыках, казаки носятся среди
бегущих, объятых паникой гитлеровцев.

— Козакен, козакен! Шварц бурке! — слышатся их
вопли.

А впереди конников, на сером статном коне, в серой
папахе скачет сам Доватор, и, радостный, не веря своим
глазам, лейтенант видит, как сверкает над головами бе-
гущих врагов клинок генерала. Молниями взлетают шаш-
ки... Слышны стоны и крики мечущихся, перепуганных
солдат.

— Руби людоедов! — закричал лейтенант. Он не-
человеческим напряжением воли поднялся на ноги, за-
тем, шатаясь, медленно пошел вперед.

В его левой, здоровой руке зажат пистолет. Карпенко,
идя слева, постреливает на ходу в разбегающихся нем-
цев, одновременно помогает своему лейтенанту продви-
гаться вперед.

Бой, так внезапно начавшийся конной атакой, так же
мгновенно стих. Больше половины вражеской колонны
разбежалось. Побросав на дороге свои обозы, они отошли

обратно к Дорогобужу. Лейтенант видел, как скакавшие по полю казаки поворачивали назад и гнали к опушке группы бросивших оружие, сдающихся врагов. У дороги стоял Доватор, опрашивавший захваченных в плен. Возле него — переводчик капитан Скляров.

Лейтенант неверными шагами подошел к генералу и, стараясь по-уставному вытянуться во фронт, доложил ему:

— Приказ выполнен, товарищ генерал-майор! Немцы задержаны на большаке...

— Молодец, лейтенант! Герой! Спасибо тебе, русское казачье спасибо.

— Товарищ генерал, — осмелев, перебил Доватора Тускаев, — если я герой, то кто же вы? Разве можно генералу скакать впереди лавы?..

И генерал ответил, смеясь:

— Но ты забыл, что я тоже был комсомольцем, и даже довольно долго, целых четыре года! — и крепко пожал руку лейтенанту, к которому уже подошел полковой врач.

КОНЕЦ НЕМЕЦКОГО БРОНЕПОЕЗДА

О черк



Из-за леска, стуча и лязгая буферами, вырвались два бронепоезда и, оставляя за собой дымный след, быстро приближались к селу. На паровозе переднего бронепоезда под горячими лучами солнца ярко сиял большой, распластавший крылья орел, державший в зубах черную свастику. Не доходя до села, бронепоезда открыли оружейный огонь по станции Пидосы. Высокие черные столбы дыма поднялись на улицах села. Бронепоезда перенесли огонь по появившимся на окраине дозорам, которые мгновенно скрылись за домами...

В воздухе рвалась шрапнель, шумно осыпая густые кроны деревьев. Сбитые ветки и листья, кружась, падали на траву, но в бригаде потерь не было: коноводы хорошо укрылись в глубоком яру.

Постреляв минут двадцать, бронепоезда не спеша пошли обратно.

— Э-эх, жаль, нет под рукой пушки, — вздохнул комбриг.

— Да, цель отличная. Ничего, не уйдут от нас фашисты. Ясно, что они пришли прощупать, есть ли у нас орудия... Ну, а убедившись, что нет, скоро вернуться, — ответил Плиев.

Бронепоезда, издав протяжный гудок, исчезли за лесом. Вскоре ветер унес растянувшийся над деревьями дымный след от их коротких труб. После их ухода из-за леса показались вражеские дозоры. Пройдя опушку, они залегли в густой чаще кустарника. На холмах промаячил эскадрон кавалерии.

Было ясно, что бронепоезда снова вернуться и что враг подтягивает силы для удара по станции и селу Пидосы.

— Кажется, гитлеровцы хотят серьезно подраться с нами, — сказал комдив. — Ну что ж, не откажем им в этом удовольствии и подготовимся к бою. Выводи свой полк за линию вражеской пехоты. Иди леском. Возле Анновки есть брод, которым пользуются крестьяне, дойди до него камышами и выйди за Россошанский лесок, вот этот, видишь? — указывая на карте, продолжал Плиев. — Здесь затаись и ничем не обнаруживай себя. Когда же ударят полки третьей бригады, круши с тыла.

— А как бронепоезда? — спросил комбриг.

— Я сейчас вызову сюда батарею. Поблизости в резерве находится батарея Московской комсомольской бригады... Этого хватит.

— Хватит, только молодежь еще не обстреляна... Да и обучены ли они как надо?.. Добровольцы! — вздохнул комбриг.

— А вот узнаем... Знания проверяются в бою, а то, что молодежь и добровольцы, так это лишь плюс, — сказал комдив и, меняя тон, спросил: — Задача ясна?

— Ясна, товарищ генерал.

— В таком случае веди полк. Весь маршрут проделай за час двадцать минут!

Спустя несколько минут 31-й полк, укрытый лесом и кустами, уже уходил на Анновку.

Чтобы отвлечь внимание вражеских дозоров, комдив приказал разъездам 32-го полка выдвинуться вперед и вновь занять овражек, откуда их выбили бронепоезда.

Вскоре 32-й полк, прячась за насыпью и станционными домами, ушел в обход в сторону Рогатки, за линию холмов, на которых окапывались немцы.

В местечке Пидосы было шумно. Пользуясь передышкой, бойцы батальона отдыхали. В походных кухнях варили щи.

Командир батальона — молодой быстроглазый человек — был остановлен конными, пересекавшими вокзальную площадь.

— Вы командир третьего батальона? — спросил его человек в серой папахе с орденом Красного Знамени на груди.

— Я, а что надо? — с любопытством спросил комбат.

— А вот что. Я командующий боевым участком. Пред-

стоит бой. Соберите роты и выводите их на линию фронта, но так, чтобы противник не заметил вашего движения. На выполнение даю пятнадцать минут. Спешите, пока нет авиации немцев.

— Слушаюсь! — вытягиваясь, крикнул комбат и, вдруг заметив две звездочки на воротнике всадника, быстро добавил: — Товарищ генерал!

3-я бригада, вызванная из резерва, на рысях подошла к Пидосам. Конники были спрятаны в глубокой котловине недостроенного кирпичного завода.

— Товарищ генерал-майор! Батарея второго артдивизиона под командой старшего лейтенанта Шаповалова прибыла в ваше распоряжение.

Перед Плиевым стоял невысокий, лет двадцати четырех человек. Молодцеватая выправка, спокойное лицо и вся собранная, подтянутая фигура молодого офицера понравились генералу.

— Быстро прибыли... благодарю.. Я вас ожидал позже, — пожимая руку командиру батареи, сказал Плиев. — А теперь покажите ваших людей и орудия.

Они прошли к зданию школы, возле которой стояли запыленные и разгоряченные от быстрого бега кони. Шесть полевых орудий в чехлах были накрыты брезентом и засыпаны зелеными нарубленными ветвями. Человек сорок артиллеристов с любопытством смотрели на подходившего генерала.

— Все, как на подбор, безусые, — улыбнувшись, тихо сказал Плиев командиру батареи и, остановив рукой подбежавшего с рапортом старшину, произнес: — Здравствуйте, товарищи артиллеристы! Давайте познакомимся. Времени у нас немного, всего двадцать — тридцать минут, затем может начаться бой, и от вас, от комсомольцев, хозяев этих пушек, в огромной мере зависит успех дела. Сейчас сюда вернутся два фашистских бронепоезда, они рвутся к Пидосам, их надо уничтожить... И это можете сделать вы, артиллеристы... Сделаете или нет? — добродушно спросил генерал, оглядывая молодые, мальчишеские, еще не успевшие загореть лица комсомольцев.

— Сделаем... постараемся... выполним... так точно!.. — вразнобой зашумели артиллеристы.

Генерал снова улыбнулся.

— Ну, отвечать начальству как следует, по-строевому вы еще не умеете, но это не беда... научитесь! А вот важ-

но другое... Умеете ли вы стрелять?.. И стрелять без промаха, потому что, если сразу же вы не накроете бронепоезда, они уйдут назад, и тогда задача наша не будет выполнена.

— Учились, товарищ генерал, на полигоне под Москвой больше тридцати стрельб отстреляли... Две благодарности по бригаде имеем, — снова слышались голоса.

— Ну, тогда очередь за третьей! Постарайтесь, товарищи комсомольцы, и вы получите третью, уже боевую, под огнем врага. Я надеюсь на вас, товарищи! А теперь, лейтенант, пойдете со мной. — Генерал пошел обратно к холму, на котором уже расположился командир прибывшей 3-й бригады полковник Грачев.

Плиев с Шаповаловым выползли на бугорок, с которого открывались поле, железная дорога и были видны маячившие вдалеке вражеские дозоры.

— Бронепоезда вернутся! Я знаю повадку немцев. Они храбры там, где нет опасности, — сказал Плиев. — Надо приготовить им орешек, на котором они сломали бы себе зубы.

— Разрешите приготовить? — спросил командир батареи, оглядывая местность. — А вот, товарищ генерал, прекрасная позиция для орудия. Лучше не найти: и закрыто, и незаметно, а самое главное — прямо у дороги, — сказал он, указывая на узкий овражек с росшим по обрыву боярышником.

— Позиция славная. Приступайте к делу! — приказал комдив. — Вашей батарее приходилось уже быть в бою?

— Никак нет. Первый бой будет. Ведь мы лишь вчера прибыли из Москвы. У нас, товарищ генерал, на батарее только двое кадровых: я да старшина. Остальные все молодежь, ополченцы, пошедшие по призыву комсомола...

— Обучение проходили? — спросил генерал.

— Так точно, но недолго.

Командир батареи, пряча за косогором свои орудия, подвел их к выбранной позиции.

— Выпрячь коней!

Батарейцы, подвязав колеса, вручную пятачили орудия к оврагу.

— Замаскировать батарею кустами! Снять лишний гребень! — продолжал командир батареи.

Плиев с удовольствием смотрел, как умело и ловко, не высовываясь из-за прикрытия, срыли артиллеристы край бугорка, мешавшего обстрелу полотна железной дороги. Скоро все было готово. В кустах стояло четыре так хорошо замаскированных орудия, что даже и на близком расстоянии нельзя было обнаружить их. Две пушки Шаповалов поставил на станции, у водокачки.

— А работает ваша молодежь хорошо, точно старые, опытные солдаты... Молодцы! — похвалил генерал. — Ну, а насчет первого боя, так все ж с него начинают. Теперь, лейтенант, объясните артиллеристам, что за преждевременно открытый огонь виновного расстреляю на месте. Стрелять только по моему приказу.

— Слушаюсь, товарищ генерал!

Спустя несколько минут он доложил:

— Батарея к бою готова! Артнаблюдатели выставлены, телефонная связь налажена!

— Отлично! Теперь будем ждать немцев, — снова взбываясь на гребень оврага, сказал генерал, улегшись рядом с комбригом.

Спустя немного туда же приполз и командир батареи. Они смотрели в сторону леса, откуда уже показался развевающийся хвост черного дыма.

— Опять курица в гости идет. Давно не была, — засмеялся один из дозорных, так неуважительно именуя курицей сверкавшего на бронепоезде фашистского орла.

— Пусть идет. Мы ей тут вкусных зернышек приготовили, — сказал один из артиллеристов-наблюдателей и, переползая дальше, потянул за собой телефонную катушку.

Над селом разорвалась шрапнель. Бронепоезда еще издали открыли огонь. Подойдя ближе, они обстреляли пулеметным огнем наши заставы и конные разъезды. Красноармейцы, отходя по ложбинке, отвечали огнем из автоматов и винтовок.

Бронепоезда медленно шли. Их стремительный вылет из леса сменился осторожным, неторопливым движением вперед. Один из них остановился, издал протяжный гудок и вдруг, дав задний ход, рванулся назад.

— Неужели заметили батарею?.. Не может быть! — взволнованно проговорил Шаповалов.

— Просто маневр. Хитрят. Хотят прощупать, не подошли ли пушки, — ответил Плиев. — Передайте на батарею, чтобы не горячились. Спокойней! Побольше выдержки!

— Есть, спокойнее, — ответил лейтенант и крикнул в переговорную трубку: — Орудия к бою! Без приказа не стрелять!

Уходивший обратно к лесу бронепоезд замедлил ход и остановился. Второй тихо продвигался вперед. Немецкая пехота пришла в движение. Эскадрон, отдохавший у насыпи, сел на коней.

Бронепоезд медленно приближался. Снова стали явственно видны ослепительно сверкавший эмалевый орел и черные скрещенные углы свастики.

— Там что-то написано... какие-то буквы, — напрягая зрение, проговорил Грачев.

— Готовь бригаду! Отобьем бронепоезд, тогда и прочитаешь, — вместо ответа сказал Плиев, и полковник Грачев сполз с гребня в ложбину.

Бронепоезд подходил к виадуку. Теперь его движение было увереннее. Ружейный огонь красноармейцев и быстрый отход наших застав убедили его в том, что в Пидосах все еще не было орудий. Остановившись возле моста, он загрохотал своими тяжелыми пушками. Дым и пламя поднялись над селом. Наши орудия молчали. Только засевшие в окраинных домах красноармейцы обстреляли его пулеметным огнем. Уже четко была видна огромная машина бронированного паровоза, на серо-стальной чешуе которого, вытянув клюв, сидела хищная птица.

— Время! Круши, товарищ лейтенант! — кладя на плечо Шаповалова руку, сказал генерал.

Командир батареи сполз в овраг. Он обежал орудия и, проверив наводку, взмахнул рукой и закричал:

— От-гонь!

Из кустов зеленого боярышника, мирно росшего по краям оврага, брызнул огонь, рванулось пламя, и четыре трехдюймовые гранаты с грохотом разорвались под когтями фашистского орла. Видно было, как бронепоезд вздрогнул, словно конь под хлыстом.

— Десять снарядов! Беглый! — закричал лейтенант.

Дым и пламя окутали бронепоезд, но теперь движение его было неточным. Он странно дергался и как бы покривился набок.

— Беглый! Ог-гонь! — отчаянно взмахивая рукой, кричал командир.

И генерал увидел, как люди быстро, размеренно и точно заработали у орудий.

«Молодцы! Как на учении», — любуясь ими, подумал Плиев и посмотрел вперед.

Разрывы снарядов, дым, сверканье и пламя окутали бронепоезд. Из-под паровоза со свистом вырывался пар. Пять долгих тревожных гудков пробежало по воздуху. Второй вагон оборвался и, громохкая, сошел с рельсов. Черные клубы дыма повалили из него; бронированная платформа, шедшая за вагоном, свалилась с насыпи.

— Еще пять снарядов, — отирая со лба ладонью пот, сказал Шаповалов и посмотрел на генерала.

— Молодцы, мальчики! Не подвели комсомол... заслужили третью благодарность... Деретесь, как гвардейцы! — крикнул Плиев.

— Служим советскому народу! — весело ответил Шаповалов.

— Громи пути отступления! — приказал Плиев.

— Есть, разрушить пути, товарищ генерал! — закричал лейтенант.

Из вагонов показались люди. Они прыгали на траву и, прячась за насыпью, бежали прочь от бронепоезда.

— Шрапнель! Трубка тридцать! — крикнул Шаповалов, и белые облачка за клубились над головами бежавших.

Черные качающиеся кусты вставали за бронепоездом. Осколки рельсов, насыпь, комья земли, шпалы в дыму и огне взлетели в воздух.

— Сигнал! — поднимаясь во весь рост, крикнул Плиев.

Над полем взлетела и рассыпалась красная ракета. В овраге затрубил горнист, другой подхватил сигнал, и на далеком левом фланге, словно эхо, отозвалась труба первой бригады.

— В атаку! — крикнул комдив.

Вторая ракета, распушив хвост, разорвалась над вражескими цепями. Из овражка, из-за холмов, со стороны насыпи вынеслись конные массы. Сверкая клинками, гикая и крича, они обрушились на дрогнувшие вражеские

цепи. А из-за леса, на самом фланге вражеской пехоты, на полном карьере вылетели эскадроны 33-го кавполка.

— Ура! — раздавалось сзади, и стрелковый батальон кинулся в атаку на взятую в клещи немецкую пехоту.

На покосившемся паровозе, под разбитым орлом, было выведено золотыми латинскими буквами: «Фридрих дер Гроссе». Под тендером паровоза торчал вставший на дыбы рельс. Шедший за паровозом вагон зацепился за него и вместе с ним сполз с насыпи.

Второй бронепоезд — «Дойчланд» — мчался обратно к Рославлю, так и не сделав попытки помочь команде своего разбитого собрата. По полю бежали солдаты, за которыми, сверкая клинками, носились конники славной дивизии Плиева.

ДРУЖБА

Р а с с к а з



На фронте шли горячие бои, а в двенадцати километрах от передовой расположился походный передвижной госпиталь. Несколько раз госпиталь бомбили, и тогда он переходил на новые места, но работа не останавливалась. И хотя главный хирург госпиталя майор Степанов на вопрос: «Что же на войне самое ужасное?» — всегда коротко и сразу отвечал: «Бомбежка!» — тем не менее когда уже в белом халате и маске он стоял с ножом или зондом над раненым, он забывал и войну, и страх, и воюющие немецкие бомбы. Долг врача поднимал его на такую нравственную высоту, что хирург, как когда-то, в мирные дни, в своей киевской поликлинике, уверенно и не торопясь делал свое дело. Уже привыкшие к этому операционная сестра Харчук, врач Вишневецкая и фельдшер Малышко, сами люди не трусливого десятка, черпали нравственную силу и успокоенность в уверенных и очень точных действиях хирурга. Позже они удивлялись и втайне даже негодовали на доктора, в момент операции словно не замечавшего нервного подъема людей.

«Ему своей жизни не жалко, а чужой и подавно!» — решил про себя фельдшер.

Но Малышко ошибался. Доктор Степанов любил жизнь. Радость творчества, ощущения природы, игра солнечных лучей, запах цветов, смех и лепетание детей, поцелуй жены, слабый вздох или бледный румянец на щеках раненого, который обнаруживал хирург, — все это ассоциировалось в его понятии в одном слове — жизнь! Хирург был слабого сложения, невелик ростом, несколько странный и забавный. Иногда, рассеянно слушая собеседника, он отвечал как-то невпопад, неожиданным словом,

вовсе не связанным с темой беседы, но стоило в эту минуту взглянуть в серые, детски ясные глаза хирурга, в его как-то светло улыбавшееся лицо, чтобы становилось хорошо даже тому, кто секунду назад готов был пожать плечами, услыша невпопад сказанные слова.

Далеко в Средней Азии, в Туркмении, где-то около Фирузи, жила семья хирурга, от которой он аккуратно получал длинные письма и так же аккуратно отвечал сам. Стоило задержаться этим письмам на неделю, как хирург начинал тосковать, на его лбу показывались морщины, а глаза принимали страдальческое, беспокойное выражение. И хотя он никому ничего не говорил, но все знали, что в эти минуты врачу казалось, что его сынишка Валя и дочка Оля заболели, а жена Клавдия Петровна в отчаянии не пишет отцу, боясь взволновать его. Но письма вдруг приходили пачками, и повеселевший хирург, посмеиваясь над собою, подолгу перечитывал их и весело мурлыкал всегда одну и ту же забавную, нелепую детскую песенку:

Сидели два медведя
На ветке голубой,
Один ел булку с медом,
А кофе пил другой.

В такие дни хирург работал особенно горячо и вдохновенно. Чувство одухотворенной легкости, творческой энергии и удовлетворения охватывало весь коллектив операционной.

— Наш Паша го-о-ло-ва! — с уважением отзывался о нем Малышко, глядя на посеревшее от бессонной ночи, но по-детски улыбавшееся, просветленное лицо хирурга, удачно закончившего трудную операцию.

Фронт продвигался на запад. Разбитые под Карачевым, немцы отходили. В госпитале шла напряженная работа. Работали сменами, засыпая у столов, ложась на какие-нибудь полтора часа в сутки. Раненых было так много, что не хватало ни персонала, ни транспорта.

Врачи ходили с красными, натруженными глазами, обведенными глубокой синевой. Младший хирург Стаханова, подойдя к окну за йодом, облокотилась на подоконник и как-то незаметно для себя сразу же погрузилась в глубокий сон.

В эти напряженные дни хирург получил одно за другим пять писем от своей семьи. Он вскрыл только последнее и, глянув на концовку: «Все здоровы и обнимаем дорогого папу», — спрятал пачку в карман и поспешно направился в операционную.

Вскоре в госпиталь на смену заболевшему замполиту Максименко прибыл из политотдела армии подполковник Кандыба, пожилой, немного угрюмый, сильно хромавший на правую ногу человек.

Хирург узнал об этом позже, когда стихло напряжение боев и волна раненых спала. Встретились они утром на санлетучке и почему-то не понравились друг другу. Хирургу подполковник не понравился потому, что деликатный Степанов, привыкший на гражданской службе к вежливому обращению, был очень удивлен, когда Кандыба после короткого приветствия довольно грубовато сказал:

— Что это у вас там, доктор, люди распустились? Ходят по двору в белых халатах. Дисциплины никакой! Отвечать не умеют. Вообще, не военный госпиталь, а какая-то больница.

Хирург внимательно поглядел на подполковника и не спеша сказал:

— Да, вы правы. Почти весь коллектив этого госпиталя состоит из работников Первой киевской поликлиники, и в смысле военном они очень плохи, не строевики, зато в лечебном отношении, — голос его прозвучал твердо, — второй такой трудно найти. И именно в этом их основная ценность.

Подполковнику же хирург не понравился потому, что старый конармеец, участник знаменитых буденновских походов на Деникина, Врангеля и белополяков, кубанский казак Иван Акимович Кандыба, будучи отличным строевиком, примерным служакой, не терпел в армии все то, что хоть отчасти напоминало ему непорядок.

«И в армии жить надо по уставу! Устав, брат, еще со времен покойного Петра Великого для воина установлен. В нем вся наша жизнь до одной минуты расписана», — любил говорить бравый Кандыба, когда, еще в чине капитана, командовал эскадроном конного полка.

«Так ведь, Иван Акимыч, тот же самый император тоже очень неплохо выразился однажды: «...не держаться устава, яко слепой — стены», — как-то в разговоре процитировал Петра Первого командир полка.

Кандыба промолчал, но, придя домой, достал из старого, окованного по краям медными поясками сундучка, странствовавшего с ним еще по царским казармам, книгу «Жизнеописание деятельности, подвигов и царствования Великого Императора Петра Алексеевича». Открыв ее, он только к ночи нашел процитированное командиром полка высказывание царя.

Кандыба дважды перечел это место и затем шепотом повторил его: «Яко слепой — стены!»

С тех пор он значительно реже ссыался на уставы времен Петра, хотя уважение к преобразователю России от этой размолвки ничуть не уменьшилось в бравом капитане.

В знаменитом сундучке кофейно-зеленого цвета Кандыба, по старой казачьей привычке, хранил фотографии родных, полфунта чаю, пять сухарей, сахар, две коробки мясных консервов, папиросы, мыло и пару белья. Внизу же, на самом дне, лежали его любимые книги. Помимо жизнеописания Петра, здесь были «Походы Суворова», «История Отечественной войны», «Биография Ленина», сильно затрепанная книга «Первая Конная» и песенник.

Через день подполковник и хирург снова встретились в столовой. Входящий замполит услышал, как хирург что-то рассказывал, мягко иронизируя над собой:

— Это было в первые же дни финской войны. Представьте себе меня, сугубо штатского человека, никогда не только не стрелявшего из ружья, но даже и не державшего его в руках, и вдруг... в военной форме, с кобурой на поясе, с одной шпалой на воротнике, в тесной шинели и непомерно больших сапогах. Приехал я в Ленинград. Военных вокруг масса, а я даже в званиях не разбираюсь: кто лейтенант, кто полковник? Знаю только, что мне надо идти к коменданту представиться и разыскать свою часть.

Выглянул утром из окна номера. Батюшки! Сырость, что-то капает, холодно, туман, а у меня ноги простужены. Как быть? Попробовал я на сапоги надеть калоши, а они не лезут. Ведь сапоги казенные, а калоши мои мирного времени, в которых я в клинику хаживал. Взял зонтик, раскрыл его и вышел на Невский проспект. Иду по улице и радуюсь, что хоть сверху не капает.

Перехожу улицу и удивляюсь, что народ на меня ог-

лядывается, хмыкают, улыбаются, кто-то даже остановился. Я решил, что это какой-нибудь знакомый, и тоже очень вежливо улыбнулся ему.

Прошел немного, вдруг подходит ко мне какой-то военный с тремя пиналами и, взяв под козырек, спрашивает:

— Вы кто, товарищ, будете?

— Павел Семенович Степанов. А вы кто? — интересуюсь я.

— Комендантский подполковник Старцев. Но я не имя и фамилию ваши спрашиваю, а воинское звание и должность.

— А-а! — отвечаю я. — Я доктор, из Киева, военврач, кажется, третьего ранга.

— А это что? — указывает он на зонтик.

— Это... это дождевой зонтик.

Посмотрел на меня подполковник не столько строго, сколько удивленно и говорит:

— И давно вы на военной службе?

— Уже третий день!

— Собственно, на губу вас полагается послать. — И, видя, что я не понимаю, добавляет: — На гауптвахту, под арест суток на восемь, ну да ладно! Закройте свой зонтик, доктор, и быстренько отнесите его обратно, да смотрите! — И не договорив, он вдруг махнул рукой, рассмеялся и ушел.

Так началась моя военная карьера.

— А жаль, что он вас суток на пятнадцать не припилил! — прерывая общий смех, вдруг сказал Кандыба.

Все оглянулись.

— Что же в этом было бы хорошего? Разве только то, что я попал бы в свой госпиталь на две недели позже, — пожал плечами Степанов.

— Зато узнали бы, как на военной службе держаться следует, а то сегодня — калоши, завтра — зонтик, послезавтра то да се, а там и вообще развал дисциплины! — садясь за стол, сказал Кандыба.

— Зачем развал? В результате этой встречи я уже хорошо узнал, что калоши и зонтик в армии воспрещены, зачем же нужно было пояснять именно на гауптвахте?

Так произошла их вторая встреча.

Замполит оказался на редкость энергичным и деятельным человеком. Несмотря на сильную хромоту, он

целый день проводил то в палатах, то на приеме или отправке больных. Вместе с тем он успевал вести политзанятия, разъяснительные беседы среди раненых, информацию, читку газет. Никто не знал, когда отдыхал замполит, но все отлично видели, что в его лице госпиталь приобрел великолепного работника, честного, знающего и входившего в нужды окружающих его людей. Он был прост в обхождении с подчиненными, заботлив и предупредителен. Сам из простых людей, прошедший до службы тяжелую жизнь бедняка казака, он мог словом, советом и делом помочь населению в селах, где останавливался госпиталь. Порой, словно соскучившись по физической работе, он брал в руки топор или рубанок и, несмотря на хромоту, колол, тесал или строгал — и так мастерски владел инструментом, что стружки и щепа веером летели по сторонам.

— Хорош мастер, — похвалила как-то его хозяйка хаты, в которой остановился замполит. — Видать, из мужиков, не городской? — поинтересовалась она.

— Да как сказать. Лет до двадцати батраковал в станице, ну, а потом на царскую войну, затем на гражданскую, да так вот до этих дней, — подавая старухе ладно сделанный табурет, сказал Кандыба и, отирая с лица пот, попросил: — А теперь, мать, ставь самовар!

— Сейчас, сейчас, родной, сейчас, касатик, — засуетилась хозяйка. — Небось жинка да детки ждут на своей сторонке?

Подполковник усмехнулся, помолчал и медленно сказал:

— Нема у меня никого. Один на свете Кандыба. Был конь, да и того немцы убили, а мне вот ногу оторвали.

— Как оторвали? — опешила старуха, переставая раздувать самовар.

— А так! Ахнули из миномета — и все.

— Да-к разве ты не только ранетый в ногу? Неужли ноги насовсем нету? — спросила старуха.

— Выше колена отрезана, а это я протез ношу.

— Грехи-то какие, батюшка! — всплеснула руками женщина. — Насовсем! — повторила она.

— Хорошо сделано, чистой работы машинка, — похлопав себя по колену и нажимая пальцем на протез, сказал замполит. В колене что-то слегка щелкнуло, и нога подполковника как бы переломилась. — Видала, как? Ничего,

мать, это пустяки. За эту погу я, по самой малости считать, фрицев голов двадцать на тот свет убухал. Ведь я пулеметчик. Еще и в старой армии и у товарища — может, слыхала? — Буденного...

— Слыхала! — кивнула головой хозяйка.

— ...тоже пулеметчиком состоял.

— Голубчик ты мой! — только сказала в ответ старуха.

С той поры внимание и заботы ее о своем постояльце учетверились. Просыпаясь по утрам, замполит находил на столе крынку теплого густого молока, яблоко или кружку ежевики, заботливо собранной хозяйкой.

— Да не надо этого, мать. У нас и так всего хватает, — отодвигая от себя горячую лепешку или вареные яйца, говорил замполит.

— Не обижай ты меня, сынок, старую. Этим я не обеднею, а себе радость доставлю. Я знаю, что у вас всего много, а все-таки съешь нашего, крестьянского, не обижай старую. Может, и моего Ванюшку тоже какая-нибудь мать вот этак пригреет.

Иногда, в редкие минуты отдыха, замполит, лежа на кровати, тренькал на балалайке, напевал всегда одну и ту же старую казачью песню:

Отпиши, браток, домой,
Что жепился на другой...
Что женился на другой,
На пулечке свинцовой.
Сабля остра была свашкой,
Штык булатный был дружком...

Тогда старуха замирала в сенцах и скорбно смотрела куда-то в угол, думая о своем Ванюшке.

Ночью подолгу молилась перед темными, закоптевшими иконами о двух «воинах Иванах».

— Спаси и сохрани их, батюшка Микола милостивый, — беззвучно шептала старуха, покорно и выжидательно глядя на едва поблескивавшие в углу иконы.

Помолившись, она заботливо ставила перед пустой кроватью замполита молоко, клала какую-нибудь лепешку и, охая, уходила в соседнюю комнату и ложилась спать.

Однажды хирург, зайдя днем на минутку по какому-то делу к Кандыбе, застал его за странным занятием.

Замполит сидел на полу, расположившись на домотканом крестьянском коврике, и, ловко орудуя ножом, топориком и ручной пилой-ножовкой, вырезывал из кусков дерева зайца, медведя и волка. Рядом с ним, затаив дыхание, сидели трое малых ребят, восторженно глядевших на еще не законченные фигуры зверей. Коробочки с красками и кистями стояли возле Кандыбы. Замполит смущенно отодвинул от себя обрезки дерева, поднялся и сказал:

— Вот соседским детям мастерю игрушки. У них ведь ничего не осталось. Все фрицы позабрали. А вы, ребятки, не трогайте, пока не кончу работу, — обратился он к ребяташкам.

Когда хирург уходил к себе, он через открытое оконце слышал, как ласково гудел голос замполита и дружно смеялись малыши.

«А ведь он, кажется, хороший, сердечный человек!» — подумал хирург, и сердце его защемило. Ему припомнилась далекая Фируза, жена, Валя и Оля, от которых он уже третьи сутки не получал письма. «Хороший человек! Кто любит малышей и умеет дружить с ними, несомненно хороший человек!» — решил Степанов.

Дома его ждали письма, только что пришедшие из Фирузы. Хирург долго читал и перечитывал дорогие ему строки и целый вечер мурлыкал свою излюбленную песенку:

Сидели два медведя
На ветке голубой...

У стола, опустив голову, сидел хирург. Его лицо было напряженно, он в десятый раз перечитывал бумагу, лежавшую перед ним:

«Направляем к вам двенадцать тяжелых, нетранспортабельных больных, которых, ввиду их почти безнадежного положения, следует теперь же оперировать...»

Хирург поднялся и быстрыми неровными шагами прошелся по комнате. Потом остановился и, устремив взгляд в одну точку, долго стоял, потом так же внезапно повернулся и, махнув рукой, пошел к себе в отделение. Проходя мимо коек с ранеными, он как бы случайно, вскользь глянул на измученное, усталое лицо врача Вишневецкой, на еле двигавшегося от утомления Малышко, и снова

по бледному лицу хирурга пробежала страдальческая гримаса.

— Доктор Вишневецкая, попрошу вас позвать доктора Смирнова и вместе с ним пройти в комнату замполита. Нам нужно кое о чем поговорить.

...В комнате Кандыбы началось совещание. Все врачи хирургического отделения, созданные Степановым, встревоженно толпились у стола.

— Товарищи! — сказал хирург. — Я оторвал вас от дела только для того, чтобы сказать вам о моем решении. У нас двенадцать тяжелых больных. Им всем необходима операция. Пятеро из них безнадежные. — Он помолчал, прошелся по комнате и потом тихо сказал: — Трое почти безнадежны, четверо с шансами на выздоровление. — Хирург обвел глазами внимательно слушавших его людей. — У меня четверо совершенно утомленных людей, как и насколько они утомлены, вы знаете сами. Люди не спали несколько ночей, они валяются с ног. При самом большем, самом максимальном напряжении я смогу сделать с ними за эту ночь три-четыре операции, не больше... По закону я обязан, — хирург стал медленно чеканить слова, — лечить поступивших ко мне в порядке поступления, но время не ждет, гангрена угрожает раненым, и я считаю необходимым... — хирург встал, его лицо изменилось, — спасти тех, которые имеют еще какие-то на это шансы... Быть может, даже за счет тех, которые все равно умрут... Мне, врачу, лечащему хирургу, нелегко выговаривать эти слова, но, по-моему, это единственно правильный выход.

Кандыба, пытливо наблюдавший за ним, заметил, как знакомая гримаса боли снова пробежала по его лицу.

Врачи молчали.

— И по-моему! — вдруг громко произнес замполит.

И, как бы ожидавшие этого, остальные присоединились к словам Кандыбы. Хирург молча посмотрел на замполита. Секунду они смотрели друг другу в глаза.

— Иду на операцию, — коротко сказал Степанов и, повернувшись, вышел за дверь.

— Правильно! Умно сделал доктор Степанов, — сказал Кандыба и, сильно хромя, медленно побрел за ним.

На следующий день орудийная пальба и сильные воздушные налеты потрясали воздух, и гул канонады, нара-

стая, докатывался до села. Возле госпиталя и у приемного покоя не переставая работали санитары, разгружавшие подходившие машины с больными. Раненых было много, все койки были заполнены ими. Некоторые из них, ожидая очереди, лежали на носилках возле приемного покоя. Под деревьями тихо бродили легкораненые, некоторые из них лежали на траве, ожидая своей очереди. Артиллерийский огонь все усиливался, переходя в немолчный гул.

— Крепко бьются за переправу, — покачивая головой, сказал шофер одной из подъехавших машин.

— Да-а, дают жизни! — тихо подтвердил один из раненых.

Через дорогу, опираясь на палку, подошел замполит. Лицо его было оживленно. Размахивая бумагой, он остановился около группы раненых бойцов.

— Товарищи, доблестная двадцать девятая гвардейская дивизия взяла наконец переправу... Вот телефонограмма. Ее полки уже ринулись в прорыв.

Среди раненых раздался шум.

— Наша дивизия! — сказал один из них. — Хасановская Краснознаменная!

— Вот и поздравляю вас, товарищи! Отлично дралась ваша геройская дивизия! — сказал Кандыба.

— С самой Москвы гоним немцев, товарищ подполковник! — опираясь о костыль и волоча за собой забинтованную ногу, сказал молодой лейтенант. — Теперь он до Коростеня бежать будет, задержаться-то ему ведь негде!

И, как бы подтверждая слова лейтенанта, гул артиллерийской канонады сначала оборвался, а потом стал глуше доноситься до села, уходя на запад.

Кандыба хотел обратиться с речью к бойцам героической дивизии, но в эту минуту вдоль улицы села показалась передовая колонна приближавшегося конного полка. Пыль поднималась из-под копыт шедшего впереди эскадрона, перед которым, сидя на большом сером коне, молодцевато ехал лихой, с закрученными усами полковник. Голова колонны уже приближалась к госпиталю, а пыль все поднималась и тянулась далеко за селом.

— Конница!.. Кавалерия! — восхищенно прошептал Кандыба, забывая о своей речи и не сводя загоревшихся глаз с приближающегося эскадрона.

Конники уже поравнялись с ними, и взор полковника,

довольно равнодушный и деловой, остановился на раненом лейтенанте, ближе других стоявшем у дороги.

— Какой дивизии люди? — спросил полковник, придерживая коня.

Молодой лейтенант, несмотря на ранение, вытянулся насколько был в силах и с непередаваемой гордостью почти закричал:

— Двадцать девятой дважды Краснознаменной гвардейской дивизии!

Лицо полковника сразу сделалось серьезным.

— Той, что взяла переправу?

— Так точно! Форсировавшей Днепр! — еще громче, гордо закидывая голову, отчеканил лейтенант.

— Сто-ой! — поднимая над головой руку и поворачиваясь к эскадронам, командовал командир полка.

Эскадроны шумно остановились. Горячая пыль взметнулась над конями и стала медленно оседать на дорогу.

Раненые и часть госпитального персонала, привлеченные этой неожиданной сценой, с любопытством смотрели на остановившийся полк.

— Знамя вперед! Остальным — вольно! — отъезжая в сторону, звонко командовал командир полка.

И над рядами конников, колыхаясь, показалось, приближаясь к нему, знамя в чехле. Двое конных знаменосцев на широкой рыси подскакали к полковнику.

Оцепеневший от возбуждения Кандыба круглыми, остановившимися, радостными глазами смотрел на них. Из окон палат выглядывали врачи, сестры, легко раненые бойцы.

— По-олк, сми-и-рно! — громко командовал полковник. — Эскадрон, строй фронт вправо!

И полк быстро перестроился, став поэскадронно развернутым фронтом.

Командир полка дал шпоры коню и быстро вынесся вперед.

— Снять чехол, распустить знамя!

И красное шелковое Гвардейское знамя с вышитым на нем портретом Ленина заколыхалось над рядами.

— Дорогие товарищи! — подъезжая к раненым и встав на стременах, сказал полковник. — Вы исполнили свой долг перед Родиной и народом, вы прорвали фронт. Теперь лечитесь и отдыхайте, а мы пойдем вперед и расквитаемся за вас с врагом!

Его голос звонко разнесся над замершими людьми, взволнованно слушавшими его.

— По-олк! Под знамя, сабли во-он!

И сотни клинков сверкнули в воздухе.

— К торжественному маршу в воздаяние героизму славных гвардейцев двадцать девятой дивизии! Справа по шести, равнение направо, ша-а-гом ма-арш!

И, салютуя раненым обнаженным клинком, командир полка провел свой полк мимо раненых бойцов, мимо лейтенанта, на глазах которого показались счастливые слезы, и мимо взволнованного, растроганного замполита.

— Ура! — закричал лейтенант.

— Ура-а! — подхватили и больные, и здоровые, в свою очередь приветствуя проходившие мимо них боевые эскадроны.

— Ура! — тонким, срывающимся голосом закричал кто-то возле Кандыбы.

Замполит оглянулся и увидел подбегавшего к ним хирурга.

Эскадроны проходили шеренга за шеренгой, салютуя сверкающими клинками, а раненые, растроганные оказанной им высокой почестью, кто опершись на костыль, кто пытаясь встать, кто обхватив дерево, сидя на траве или лежа на носилках, кричали «ура».

Вот уже прошли последние ряды последнего эскадрона, уже исчезли конники за поворотом... Где-то вдали колыхалась пыль, а раненые благодарно глядели вслед конному полку, взволнованно вспоминая оказанную им честь.

— Э-эх! Одно слово — конница! Кавалерия! — закричал вдруг Кандыба, выражая в этом слове все свое восхищение, и, сорвав с головы папаху, неожиданно хлопнул ею о землю.

Хирург вышел на крыльцо. Поеживаясь от свежего утреннего холодка, он дважды зевнул, потянулся и, то ли от переполнения чувств, то ли оттого, что вчера получил письмо от семьи, неожиданно засмеялся хорошим, ясным смехом.

Эта ночь была спокойной и тихой, его вовсе не тревожили. За последние дни это случалось не часто. На фронте наступила тишина такая, которая радует солдат и беспокоит, тревожит сердца генералов.

Хирург сел у окна и стал завтракать. Неожиданно загрохотали пушки. Орудийный гул нарастал. Хирург прислушался к отдаленной стрельбе.

«Будет работа!» — покачивая головой, подумал он.

За воротами слышались шаги, и через калитку просунулась голова операционной сестры.

— Вы ко мне, Надя? — отпивая глоток чаю, спросил хирург и, отставляя чашку, быстро сказал: — Что случилось?

Лицо медсестры было тревожно.

— Павел Семеныч, вас в операционную дежурный врач просит, только срочно, очень экстренно.

— Да в чем же дело? — застегиваясь, уже на ходу спросил хирург.

— Ночью раненого привезли. Ну, его осмотрели дежурная и доктор Вишневецкая. Думали — легко... вас не хотели беспокоить... вы спали... Все было хорошо, а сейчас... он задыхается... ранение в горло... Доктор Вишневецкая беспокоится, как бы не помер, за вами послала... — уже на улице, еле поспевая за быстро шагавшим хирургом, рассказывала сестра.

На столе лежал раненый. Бледный, с посиневшими губами, он то терял сознание, то, мучительно хрипя, приходил в себя. Раза два он что-то пытался проговорить, но хирург, ласково положив ему руку на лоб, сказал:

— Не надо. Сейчас это вам вредно, потом все расскажете мне... Укол! — приказал он сестре.

После вливания обезболивающего средства раненый затих. Хирург задумался. Налицо было слепое осколочное ранение шеи с повреждением сонной артерии. Припухлость быстро увеличивалась, распространяясь на переднюю поверхность шеи.

— Ложная аневризма. Она сдавила дыхательные органы раненого, вызывая этим обморочное состояние, — поставил диагноз хирург. — Необходима немедленная операция. Приготовить кровь и глюкозу. Наркоз! — распорядился он.

Его утреннее, хорошее настроение рассеялось как дым. Ах эта Вишневецкая, мало того, что сама не разобралась в сложности ранения, но даже не потрудилась посоветоваться с ним, с ведущим хирургом. «Не хотела ночью будить, беспокоить», — вспомнил он слова сестры и обо

злился. «Потом, после работы, наедине, я разнесу ее за эту бессмысленную деликатность».

Раненый был уже под наркозом. Он тяжело хрипел. Сильно удушье временами заставляло его тело содрогаться в спазматических схватках, но он не просыпался.

После переливания крови раненый порозовел. Удушье и спазмы прекратились, и его грудь равномерно задыхалась.

Хирург приступил к операции.

Над селом прогрохотала очередь автоматической зенитной пушки. Потом послышалось гудение моторов и то короткие, то длинные вспышки пулеметного огня.

Во дворе затопали сапоги, послышались голоса, и, распахивая дверь операционной, кто-то, просовывая голову, коротко крикнул:

— Воздух! Идут немецкие самолеты!

Еще через секунду кто-то взволнованно произнес:

— По укрытиям! С юго-запада подходит восемь «юнкерсов».

За окнами уже били пулеметы, таякала противозащитная пушка. Через стекла было видно, как персонал и легкораненые разбежались по щелям.

— Павел Семеныч, как быть с раненым? Оперировать или отложить? — нагибаясь к уху хирурга, спросил ассистент.

— Открыть окна! Все лишние — в укрытия! Раненого положить на пол и прикрыть одеялами. С ним останутся я и сестра Краснова. Как только кончится налет — все сюда! — не поднимая головы от больного и продолжая исследовать рану, сказал хирург.

Над селом уже рокотали моторы. Тяжелый взрыв потряс улицу, и с потолка шумно посыпались труха и известка.

— Осторожнее... вот так. Сюда, сюда, на носилки, — помогая уложить снятого со стола раненого, спокойно сказал хирург.

Новый взрыв, еще большей силы, раздался невдалеке. Окна задребезжали, и раскрытые настежь рамы с грохотом ударились о переплет окна.

В избе уже не было никого, кроме находившегося под наркозом раненого, операционной сестры и хирурга, стоявшего на коленях над ним. В раскрытую дверь кто-то вошел, тяжело и поспешно ступая.

— Доктор! А вы чего здесь, почему не в укрытии? — услышал хирург несколько удивленный и раздосадованный голос замполита. — Сейчас же все в щели!

Хирург поднял голову и, глядя снизу вверх на замполита, негромко сказал:

— Нельзя. Здесь раненый под наркозом, да и поздно! Потом пойдем.

— Оставьте сестру при раненом, товарищ майор, и сейчас же ступайте в укрытие. Жизнь опытного хирурга нам нужна! — уже сердясь, сказал Кандыба.

— Кому это «нам»? — снова нагибаясь над раненым, сказал хирург. — Сестра, еще наркозу! — поспешно проговорил он и, возвращаясь снова к замполиту, продолжал: — Уверяю вас, что этому самому «опытному хирургу» его жизнь еще больше нужна, чем вам... и, насколько я понимаю его, он давно уже сидел бы в укрытии, но... сестра, укол сюда, — перебивая себя, приказал он, — но обстоятельства таковы, что ему обязательно надо быть здесь, с больным...

Один за другим рванули воздух два сильных взрыва, затем, протяжно свистя, пронеслась где-то рядом авиабомба, и стекла со звоном вылетели из рамы и брызнули по всему полу.

— Сестрица, милая, накройте больного еще одним одеялом, а мне дайте йоду и бинт, — ощупывая порезанную стеклышком щеку, сказал хирург.

Замполит молча с восхищением смотрел на маленького, тщедушного человечка, возившегося на полу.

— Да вы, батенька, если не уходите, то сядьте. На полу безопасней, — прислушиваясь к пальбе и свисту падающих бомб, проговорил хирург.

Сильный удар в стену оборвал его слова. Выбитая рама со звоном покатилась по полу, угол окна неожиданно выпал и развалился. От стоявшей в стороне русской печи отлетели куски отбитого кирпича. Пыль взлетела к потолку. Вдоль обмазанной мелом печи, оставляя глубокий рваный след, пронеслась бомба. Прокатившись по комнате, она перевернула операционный стол, разбила бутылки с физиораствором, опрокинула тумбочку с инструментарием и, пробив фанерный ящик, остановилась у двери.

Все это было так внезапно и стремительно, что и хирург, и сестра, и замполит еще не успели даже понять,

что же произошло, и только когда побелевшая от ужаса женщина истерически вскрикнула «а-ай», хирург понял, что случилось в эту минуту.

Черное продолговатое тело авиабомбы, ощеренное перьями стабилизатора, лежало у выхода.

Хирург хотел подняться с коленей и броситься к открытому окошку, но что-то более сильное, чем страх смерти, чем чувство самосохранения, остановило его. Он неловко попятился назад и, не сводя глаз с блестевшей, отлакированной поверхности бомбы, тихо, но настойчиво сказал:

— Товарищи, если не взорвемся, давайте скорее вынесем отсюда раненого.

И этот негромкий, но очень четкий голос врача успокоил сестру. Она вскочила и неверными, трясущимися руками взялась за поручни носилок, на которых, посапывая, равнодушный ко всему, спал раненый капитан.

Замполит, в первую секунду растерявшийся от сильного удара и грохота бомбы, уже овладел собой. Смерть, которую он десятки раз видел рядом с собой, опять догоняла его и лежала вот тут, у самых его ног, готовая выскочить, вырваться из этой огромной чугунной чупки. Холодок пробежал по его спине. Он наблюдающим взором глядел на бомбу, на ее белый ударник, на полированное, обведенное желтой каймой брюхо. Бомба молчала. Молчала и смерть, сидевшая в ней.

«Не торопитесь, стерва!» — подумал замполит и, помогая сестре и хирургу, поднимавшим носилки, заковылял вперед к выходу.

Это была самая тревожная и страшная минута.

Когда вынесли во двор носилки, в воздухе уже было тихо. За селом догорал сбитый «юнкерс», а над двумя хатами, стоявшими у моста, бесновалось пламя.

— Все вон, подальше от операционной!.. Там бомба!.. — прокричал хирург вылезавшим ему навстречу из щелей людям и, не закончив фразы, повернулся и побежал обратно в избу.

У двери его встретил спешивший из хаты замполит.

— Настоящий ты казак, друг Паша! — обнимая хирурга, взволнованно сказал Кандыба.

Так началась их дружба.

Вывезенная за околицу бомба вскоре взорвалась на болоте.

Через несколько дней их вызвали в фронтовой эвакуационный пункт. Такие вызовы были довольно часты, и хирург захватил с собой на всякий случай двухнедельный отчет по госпиталю, но тихо и странно посмеивавшийся в усы замполит несколько удивлял его.

— Чему ты улыбаешься? — раза два спросил он Кандыбу, но подполковник только хитро поглядывал на него.

В ФЭП они приехали с небольшим опозданием, и их направили в густой вишневый сад, где уже выстраивалось человек пятнадцать врачей, сестер и санитаров.

— Сюда, сюда, становитесь, товарищи, на фланге! — пробегая мимо них, крикнул им адъютант и поспешил к калитке, в которой в окружении старших офицеров показался генерал Ибрагимов, начальник медслужбы фронта.

Едва только друзья успели пристроиться к шеренге, как звонкая команда «Смирно» и рапорт дежурного офицера раздались в воздухе.

Приняв рапорт, генерал поздоровался с людьми, прошелся вдоль строя и коротко сказал:

— Товарищи! Времени у нас мало, буду краток. От лица службы благодарю вас за прекрасную работу и поздравляю с высокой наградой!

Он сделал знак, и адъютант стал громко вычитывать фамилии.

— Младший лейтенант медслужбы Львова!

— Ефрейтор Сашин!

— Старший лейтенант Петров!

Из шеренги выходили вызываемые люди, и генерал, пожимая им руки, передавал маленькие коробочки.

— Служу Советскому Союзу! — громко и торжественно отвечали они и отходили обратно в строй.

— Майор Степанов! — вдруг отчетливо произнес адъютант.

И хирург, вытолкнутый из шеренги, неуверенно, совсем по-штатски пошел к генералу.

Генерал не без удовольствия оглядел маленького, растерянно остановившегося перед ним хирурга.

— За отличную работу и мужественное выполнение долга Военный совет армии награждает вас орденом Красной Звезды, — пожимая Степанову руку и передавая ему коробочку с орденом, произнес генерал.

Хирург смущенно улыбнулся, переступил с ноги на ногу и тихо сказал:

— Благодарю от всей души, товарищ генерал, но, честное слово, я не заслужил такой почетной награды!

Все вокруг засмеялись, и Кандыба с удовольствием заметил, как добродушная улыбка засветилась на суровом лице генерала.

— Заслужили, товарищ майор! Вы спасли и сохранили армии много сотен наших храбрых офицеров и солдат. И именно за это вас награждает Военный совет. Затем — начальство лучше знает за что. Ведь оно никогда не ошибается, — добавил генерал, и опять все весело засмеялось его шутке. — Кроме того, рад сообщить, товарищ доктор, что разрешаю вам отпуск к семье на сорок пять дней. Желаю счастливого пути! — И генерал еще раз крепко пожал руку совершенно ошеломленному хирургу. — Вы что, кажется, недовольны? — спросил генерал.

— Напротив... я рад... я счастлив, но ведь я не просил, не подавал рапорта об этом, — еще не веря своему счастью, сказал хирург.

— А об этом постарался ваш замполит, подполковник Кандыба. Это он просил меня предоставить вам законный отпуск. А что, может, он не прав и вы не хотите отпуска? — пряча улыбку в усы, поинтересовался генерал.

— Хо-чу, очень хочу! Спасибо! — просияв от неожиданной радости, выкрикнул хирург, поклонился и одновременно отдал честь генералу.

— Товарищ военврач! — остановил его Ибрагимов. — Знаете что, давайте уговоримся: уж так и быть, вы лучше совсем не отдавайте мне приветствия, чем вот этакий реверанс. На военной службе они не разрешаются.

Раздался еще более дружный смех присутствовавших, а стоявший в строю Кандыба еле удержался от желания сесть на землю от душившего его хохота. Даже сам генерал вдруг не выдержал и, махнув рукой, отвернулся в сторону, не в силах сдержаться от смеха.

А маленький хирург, несколько смущенный, но с ясными глазами и просветленным лицом, ломая шеренгу, неловко и неуклюже вставал на свое место в строю.

Сидели два медведя
На елке голубой... —

полунапевая, бормотал себе под нос хирург, разбирая вещи и укладывая в чемодан все то, что ему понадобится

ся в дороге. Простыня, чистое белье, новые погоны, в которых ему хотелось появиться дома.

«Дома! До-ма!» Он с удовольствием повторял это слово, представляя себе восторг и радость детей, вызванные его неожиданным приездом. Жена всплеснет руками и тихо вскрикнет: «Ах!» Он представлял свое появление в далеком среднеазиатском ауле, в котором никогда не был, но о котором так хорошо знал из писем родных.

— Отпуск на целых сорок пять дней,— прерывая свое пение, проговорил хирург.

Ах как хорошо звучало это замечательное слово, не произносившееся им в течение двух с половиной лет войны. «Нет, приехать без телеграммы, свалиться так, прямо как снег на голову, было бы жестоко и бесчеловечно, — вдруг решил он и задумался. — Не лучше ли будет подготовить их, сообщив о своем приезде? Да, конечно, это правильнее, он так и сделает. Но какой чуткий и отзывчивый человек этот Кандыба, какое удивительное сердце!»

Си-де-ли два мед-ве-дя... —

снова удовлетворенно запел хирург.

Дверь раскрылась. В комнату вошел замполит.

— Укладываешься? — окидывая быстрым, несколько озабоченным взглядом чемодан и вещи хирурга, спросил он. И по этому короткому беспокойному взгляду хирург понял, что что-то произошло.

Он поднял голову.

— Что случилось?

Замполит отвернулся к окну, взял с подоконника несколько книг и, вглядываясь в них, перелистал одну за другой.

— Интересные, — неопределенно сказал он.

Удивленный хирург заметил, что Кандыба все три книги держал вверх ногами.

— В чем дело, Иван Акимович? — поднимаясь с коленей, сказал он, и на его сразу ставшем серьезным лице показалось беспокойство.

— Немцы прорвались! Танковая колонна недалеко! — кладя обратно книги и поворачиваясь к хирургу, сказал замполит. — Телефонограмма есть: свертываться и быть наготове к отходу.

— Да как же так, ведь мы по всему фронту насту-

паем... Гоним и ждем их... Как же они могли здесь про-
рваться? — спросил хирург.

— Очень просто! Попытка от отчаяния: местная опе-
рация с целью отвлечь, приостановить наше движение.
На войне такое всегда бывает. Завтра все уже будет ула-
жено. Однако надо быть готовыми ко всему. Я и зашел,
с тем чтобы предупредить тебя. Ты когда едешь в от-
пуск?

— Приказ подписан вчера, думал уехать сегодня, —
тихо ответил хирург.

— Так ты, Павел Степанович, поторопись и выезжай
отсюда с первой группой. Она сейчас грузится на ма-
шины...

— А как же тяжелые, нетранспортабельные? Ведь
у меня таких, с черепами и открытым пневмотораксом,
человек двадцать будет.

— Пока останутся тут, а если станет уж очень
туго, то отправим и их... Ну, до возвращения, друг, желаю
повидать своих в добром здоровье и счастье!

— Я никуда не поеду! — закрывая чемодан, сказал
хирург.

— Почему это? Приказ о тебе отдан, заместитель от-
лично справится с эвакуацией, а положение таково, что...

— ...а положение таково, что с тяжелыми, где бы они
ни были, останусь я, — перебил Кандыбу хирург. —
И не уговаривай меня. Кончится вся эта история, ликви-
дируется прорыв, и я отправлюсь в отпуск.

— Да, чудак человек, езжай себе домой с богом, и
без тебя ликвидируют немцев. Справимся... — заговорил
было Кандыба, но вдруг смолк и крепко обнял друга.

Через минуту они уже были возле госпиталя, где суе-
тились санитары, пытели автомашины, в которые погру-
жали раненых.

Вокруг стояли озабоченные больные и сестры, встре-
воженные слухами и все нараставшей орудийной пальбой.

Первая группа уже скрылась из виду, когда торопив-
шийся в село, усталый, весь в поту и пыли, мотоциклист
привез срочное приказание эвакуировать весь госпиталь
на станцию С.

«Немецкая танковая группа идет в ваше расположе-
ние. Для ее ликвидации брошена наша бомбардировоч-

ная и штурмовая авиация, но не исключена возможность появления отдельных разрозненных частей противника в районе. Приказываю всему госпиталю немедленно же сняться и перейти на станцию С. Об исполнении донести по радию.

Начальник тыла генерал-майор Блинов».

Орудийная стрельба то смолкала, то снова заполняла воздух. Над селом прошло восемь «юнкеров», перехваченных невдалеке нашими «ястребками», и люди, спешно погружавшиеся на машины, видели, как в синем небе вспыхивали, дымились подбитые самолеты и, уходя в облака, сходились и расходились дерущиеся машины.

Поднимая пыль по улице, прошла пехота. Откуда-то притащили и установили у околицы одинокое 45-миллиметровое орудие, возле которого ходили артиллеристы.

— Павел Семеныч, товарищ Степанов! Что же вы, садитесь сюда, — подвигаясь в сторону и давая место хирургу, прокричала с грузовика медсестра Казанцева.

— Нет, нет! Павел Семеныч, с нами! — кричала с другой машины его ассистентка капитан медслужбы Вишневецкая.

Хирург улыбнулся и махнул рукой обеим женщинам.

— Я потом, когда погрузят тяжелых, после, — сказал он.

Машины одна за другой прошли мимо, обдавая его клубами серой пыли. Он молча и бездумно смотрел вслед отъезжавшим людям. Ни на секунду раскаяние или сомнение в совершенном поступке не коснулось его, он даже ни разу не подумал о том, что лучше, если бы и он поехал с ними.

И только когда последняя машина первой группы поравнялась с ними и из нее глянуло на него дружеское лицо начмеда Смирнова, хирург восторженно, замахав руками и остановил машину.

— Минуточку, минуточку! — закричал он и, достав из кармана записную книжку, быстро набросал несколько слов.

Он сложил вчетверо бумагу, поискал в кармане конверт, но, не найдя его, протянул Смирнову сложенное квадратиком письмо.

— Держите при себе, отошлете моим только в том случае, если... — Он не смог договорить последнего слова и только тихо улыбнулся.

Машина помчалась дальше, догоняя ушедшую вперед первую колонну.

Вторая группа, составленная из легкораненых и хозяйственного взвода госпиталя, уже потянулась к выезду, когда из помещения вышел замполит. Он остановил растянувшуюся колонну.

— А ну, товарищи, — крикнул он, — легкораненые, хозяйственники и все, кто способен держать оружие, слезай! Нужно организовать оборону, пока все тяжелые не будут погружены в санитарки.

С подвод сходили люди.

— Живей, живей! Время не ждет... нечего раздумывать. А ты, Сухоруков, чего ждешь? Ты думаешь, что повар, так не годишься? Годишься, еще как. Слезай в общую кучу, — обходя колонну, говорил Кандыба.

Человек тридцать собралось возле него, выжидательно глядя на замполита.

— Ты женатый? — спросил подполковник подошедшего к группе молодого красноармейца с автоматом в руках.

— Никак нет, товарищ подполковник, холостой.

— Откуда родом? — продолжал Кандыба, любуясь молодцеватым видом солдата.

— Из-под Краснодара, станицы Лабинской.

— А-а! Земляк, значит, мой, я ведь сам кубанский. Одних, выходит, кровей с тобой! Ну, тогда после войны не забудь позвать на свадьбу, — пошутил замполит.

— Милости просим, товарищ подполковник, у меня уж и невеста имеется, — засмеялся боец.

— А ты, товарищ, чего в строй становишься? Тебе с больными ехать нужно, — глядя на пожилого, лет под пятьдесят, красноармейца, сказал Кандыба.

— Нельзя мне в тыл, товарищ комиссар. У меня с фашистами свои счеты. Они сына моего под Москвой убили. Второй год пошел, — тихо ответил красноармеец.

— На, бери винтовку! — коротко сказал Кандыба.

Пожилой боец осмотрел трехлинейку, проверил затвор и, наполнив подсумок патронами, отошел назад.

— Товарищ замполит, разрешите и мне остаться, — попросил капитан Кошелев, слабогрудый, с чахоточным лицом человек, работавший пропагандистом при госпитале.

— Нельзя, товарищ Кошелев! Ты поедешь со всеми, будешь начальником колонны.

— Товарищ замполит, очень вас прошу, разрешите... пригожусь... Ведь я до ранения в полку сапером был. А колонну поведет военврач майор Праскухин.

Замполит посмотрел на впалые щеки капитана, на его умные, спокойные глаза, потом на большую серебряную медаль, блестящую на груди капитана.

— «За отвагу», — негромко, словно в раздумье, прочел он. — Хорошая солдатская награда, и правильно тебе ее дали, дорогой товарищ.

Он помолчал и, уже отходя, добавил:

— Оставайся! Скажи Праскухину — пускай возглавит колонну.

— Становись! На первый-второй рассчитайся! — скомандовал Кандыба построившимся в шеренгу людям и, повернувшись, сказал: — Остальные — походной колонной марш к станции С., да осторожнее в дороге.

Спустя пять минут за околицей тянулись уходившие к станции колонны, а замполит, построив своих бойцов, повел их к дороге, где уже окапывался, готовясь к обороне, подошедший на помощь комендантский взвод.

— Ну, Павел Семеныч, как дела, как твои тяжелые? — расставив красноармейцев и вернувшись в палату, спросил замполит.

— Неважно. Есть такие, которых везти нельзя. Преступление! Умрут в пути.

— А если придут немцы, то они все умрут здесь, — задумчиво ответил замполит. — Эвакуировать надо.

— Но положение, быть может, не так опасно и танки не дойдут до нас. Тогда совсем нелепо будет срывать с места людей, имеющих некоторые шансы на спасение.

— Не знаю! Кроме того, что сказал тебе, ничего не знаю, но приказ есть приказ, и его надо выполнять. Начинай погрузку тяжелых, а я пойду к обороне. Когда все будет готово, сообщи мне.

— Сколько у тебя бойцов? — спросил хирург.

— Шестьдесят четыре тридцать восьмого комендантского взвода, остальные — хозяйственной команды и выздоравливающие больные.

— Оружие есть?

— Двадцать автоматов, два ящика гранат, один «максимка» и штук сорок винтовок разной системы. Все!

— Не густо, — неуверенно сказал хирург.

— Конечно, не богато. Но ребята хорошие, все фронтовики, бывшие в боях, — это раз. А второе: отходить ведь нам нельзя. Значит, будем биться до последнего...

— Патрона? — спросил хирург.

— Немца, а не патрона! — ответил замполит и, дружески подмигнув врачу, сказал: — Ну, доктор, валяй не задерживай! Теперь все зависит от твоей быстроты и умения...

Но хирург не успел еще отойти и на сорок шагов, как в село через всю длинную улицу, словно большой черный гудящий шмель, влетел полутоннажный грузовик. Не обращая внимания на махавших ему людей, шофер, управляя одной рукой рулем, другой размахивал, полувывиснувшись из кабины. У поворота, к госпитальной хате он чуть придержал свою машину и прокричал:

— Танки немецкие сзади!

Он хотел было завернуть за хату, но, увидев направленный в лицо автомат Кандыбы, заморгал глазами.

— Останови машину, а то всю очередь запущу в морду, — тихо, но очень четко сказал замполит.

И побелевший шофер понял, что этот спокойный подполковник не задумываясь выполнит свое обещание.

— А ну, слезай, — продолжал замполит. — Говори, где танки? Если соврал, сейчас тебе каюк на месте.

— Не соврал... вот те крест, не соврал. Вон за тем леском штук пятнадцать, а за ними еще пехота на транспортерах, — забормотал шофер, пятясь назад от наведенного на него автомата.

— Проверим! Машина чья? Какой части?

— Сорок второй полевой армейской хлебопекарни. Она километрах в шести от вас стоит.

— Хорош воин, хлебопек собачий! Раньше всех драпу дал! А ну, давай свою машину к тому дому, раненых погрузим, отвезешь на станцию. Да смотри не вздумай драпануть, а то всю обойму сразу проглотитшь, — красноречиво похлопав по автомату, пообещал замполит.

— Что вы, товарищ подполковник, разве возможно! — опасливо глядя на Кандыбу, сказал шофер.

Село опустело. Там, где еще недавно приветливо дымилась кухни пищеблока, теперь было пусто. В палатах лежали брошенные матрацы, скомканные одеяла, смятое белье. Возле опустевшей операционной стояли ящики с медикаментами. Одинок и сиротливо ходил встревоженный часовой, озабоченно поглядывая на запад.

Замполит подошел к бойцам, приводившим в порядок старые, оставшиеся от прежних боев окопы и блиндажи. Впереди, в яблоневом саду, находился пост, еще дальше залегли дозоры.

— Товарищ подполковник! Две бронебойки и семь человек красноармейцев прибыли в ваше распоряжение, — доложил лейтенант.

— Значит, гарнизон усилился! — пошутил замполит и пошел вдоль дороги, разглядывая линию обороны. Красноармейцы рыли землю, не переставая вслушиваться в шумы, возникавшие за леском.

— Никак, танки? — оставляя лопату, неуверенно сказал один.

— Ты знай копай себе, копай... там видно будет, — нахмурившись, ответил другой, и оба с дружным ожесточением принялись за работу.

— Товарищи! Стоять будем насмерть... пока не подойдет помощь, — останавливаясь возле работавших, сказал замполит. — Помните, что отступать нам некуда. Здесь наша страна, наша Отчизна, и мы защитим ее. У меня сердце обливается кровью, когда вижу, как фашистская сволочь ходит по нашей земле!

— Недолго осталось ходить-то, а насчет отступления — будьте спокойны. Вот тут, в этом окопе, мой дом, другого не осталось, враги спалили, — спокойно ответил высокий красноармеец.

— А у меня и семью загубили. Душа расчета просит, — коротко вставил другой.

— Не бойсь, товарищ подполковник. Где это видано: вся армия, весь фронт наступает, а мы от кучки танков побежим! Да ввек этого не будет! — раздались голоса.

— Орлы, братишки! Я уже пятую войну воюю, а таких молодцов не встречал! — похвалил Кандыба, оглядывая спокойные лица бойцов.

В стороне раздалась пулеметная дробь. Тяжелая, густая пыль поднялась вдали. Она нарастала, качаясь и приближаясь.

— По местам! — крикнул замполит.

Люди быстро попрятались в блиндажах и окопах. На дороге из-за поворота показался красноармеец, на бегу оглядывающийся назад.

Замполит присел на край окопчика, из которого глядел короткий тупой ствол пулемета. Двое бронебойщиков проползли мимо и спрятались у дороги.

— У кого бутылки со смесью? — спросил подполковник.

— У меня. У нас, — отозвалось несколько красноармейцев.

— Пять человек с горючим и гранатами — к оврагу! Остальные — в окопы, осмотреть оружие и приготовиться к бою! Две бутылки и связку гранат дайте мне. А теперь сидеть так, чтобы и носа не было видно!

Из кустов показался медленно подходивший хирург. Замполит оборвал фразу и выжидательно покосился на него.

— Все готово, товарищ подполковник! Тяжелые погружены на машины, а также и весь обслуживающий персонал. Можно отправлять! — поднося ладонь к козырьку, доложил хирург.

Этим официальным обращением он хотел подчеркнуть, что отлично понимает всю сложность создавшейся обстановки.

Кандыба не без удовольствия оглядел несколько комическую фигуру маленького доктора, одетого в высокие сапоги, в светлые погоны, с огромной немецкой кобурой на ремне.

— Валяй вези своих тяжелых, Павел Семеныч, — любовно глядя на него, как смотрят взрослые на дорогах им детей, сказал Кандыба.

За лесом сильнее загудели моторы. Гулко грохнул выстрел, за ним другой. Хирург поднял голову.

— Что это?

— А то, доктор, что сейчас же увози больных. Через двадцать минут будет поздно. Немцы подходят, — глядя в глаза хирургу, сказал подполковник. Лицо его стало строгим.

— А... а ты? — отступая на шаг, спросил хирург.

— Мы будем прикрывать вас и держать село, пока не подойдут наши. А теперь — спешите, друг, к машине. И замполит крепко пожал руку оторопело глядевшему на него хирургу.

Врач молча повернулся и пошел назад. Несколько раз он останавливался, но сейчас же, словно его толкала неведомая сила, продолжал шагать дальше. Подбежавший красноармеец громко и торопливо докладывал Кандыбе:

— Немецкие танки... семнадцать штук с пехотой подошли к мосту, сейчас покажутся...

На дороге все гуще и тяжелее раскачивалось желтое пыльное облако, поднятое гусеницами машин.

Замполит прикинул к пулемету, тщательно вглядываясь в даль. Немецкие танки уже были видны простым глазом, напоминая собою больших темных быков, остановившихся на водопой. Немцы не двигались. Замершее село, с пустыми, безмолвными улицами, было опасно. Здесь могла быть засада.

— Боятся, черти! Эх, если бы сюда одну батарейку! — пробормотал Кандыба и, чувствуя, что кто-то влезает к нему в окопчик, оглянулся.

Рядом с ним, запыхавшись от бега, раскладываясь поудобнее, сел хирург.

— Ты чего здесь? Неужели перерезана дорога? — холодея от одной мысли, крикнул замполит.

— Нет, все в порядке! Машины с ранеными ушли, и дорога к станции свободна. А это что, немцы? — вглядываясь с любопытством вперед, спросил хирург.

— Немцы, немцы, черт тебя возьми! — обозлившись, закричал замполит. — Ты чего остался, чего ты сюда пришел? Ну скажи ты мне на милость! Ведь через пять минут здесь бой будет. Что я с тобой тогда делать буду, а? Подумал ты об этом, шалая башка? — срывающимся от досады голосом сказал Кандыба.

— Да ничего делать не надо. Вы деритесь, а я буду раненых перевязывать.

— Какие там раненые? — махнул рукой замполит. — Разве не видишь, сколько там танков стоит? Мы умирать здесь остались.

— Ну, тогда, значит, и я с вами, — перебивая его, просто сказал хирург, и его голос прозвучал так безмятежно, что в горле подполковника что-то защекотало.

Сердце его дрогнуло, нежная теплота разлилась по всему существу, а глаза, сухие, мужественные глаза солдата заморгали.

— Дружок ты мой Папа! — пересиливая волнение, сказал Кандыба, смахивая соленые, непривычные слезы. — Спасибо, браток! Но уходи лучше отсюда, пока можно.

— А ты, а остальные? — коротко спросил хирург.

— А я погибну здесь. Здесь будет могила старого конармейца казака Кандыбы, — сказал замполит и лег за пулемет.

По бледным щекам хирурга потекли гордые слезы. Он опустилсь возле друга и трепетным, срывающимся голосом сказал:

— Товарищ Кандыба, дорогой ты мой товарищ, первый раз в жизни жалею о том, что я не партийный.

— Уезжай, Папа, — вместо ответа сказал Кандыба.

Хирург молча, словно не слыша, смотрел на него.

— Пусть и моя могила будет тут же, — сказал он, раскладывая медицинскую сумку и доставая из нее перевязочный материал.

Замполит только вздохнул и, продолжая наблюдать за танками, левой рукой сжал ладонь хирурга.

От неподвижно стоявших немецких машин отделились три танка и несколько мотоциклов. Набирая скорость, они с треском и ревом пошли по дороге.

— Товарищ подполковник, влево из-за леса, в обход, движутся четыре танка, — сообщил наблюдавший за флангом лейтенант.

— Там не пройдут. У переезда заложены фугасы, — шепотом, словно боясь, чтоб его не услышали подходившие танки, ответил подполковник.

Мотоциклисты были уже возле заставы. Они на ходу стреляли из привинченных к рулям пулеметов, и их вразброд летевшие пули щелкали по ветвям, сбивая зеленую листву и поднимая пыльцу с сухой, сожженной солнцем земли.

Вдруг один из мотоциклистов покачнулся и, взмахнув руками, упал на дорогу. Пытаясь остановить машину, другой завихлял и вместе с нею свалился в кювет. Резкий стук наших трехлинейек влился в частую дробь автоматов, и горячий свинец зашелкал по броне машин, сшибая с ног солдат.

— Огонь! — закричал замполит, и его единственное орудие сделало один за другим четыре выстрела.

Передняя машина остановилась. Под нею рванулось пламя, и буро-багровый дым охватил танк. Из длинных стволов других танков полыхнули желтые огни. Над окопом пронеслись снаряды, и хата, мимо которой полчаса назад проходил хирург, вздрогнула и завалилась.

Хирург хотел приподняться, но новый, еще более сильный грохот заставил его прижаться к окопу. Совсем близко от него рванулась земля, и сухие, тяжелые комья, выброшенные к небу, посыпались с окон.

«По нас стреляют», — догадался хирург. Пулеметная струя, обдавая его свистящим ветерком, пронеслась возле щеки.

— Не вылезай, без нужды не суйся, — услышал он голос Кандыбы. — Сиди, Паша, в покое. Надо будет, позовем, — крикнул замполит, припадая к загрохотавшему, затрясшемуся пулемету.

Через поле, кусты и вдоль дороги бежали немецкие солдаты. Они что-то кричали, размахивая руками, стремясь на бегу.

Из-за кустов, ломая молодой, неокрепший березняк, появились танки. Были отчетливо видны лица бегущих за ними солдат.

— Чего там бронебойщики спят! Огонь по танкам! — отрываясь от пулемета, крикнул замполит, но его голос потонул в тяжелом, грохочущем взрыве, от силы которого рванулись и заходили кусты.

Шедший впереди танк с желтым крестом на броне налетел с размаху на тяжелый фугас, полчаса назад заложенный капитаном Кошелевым. Зеленая броня танка окуталась розоватым дымом. Мотор заглох, танк медленно сполз в канаву и затих.

— Молодец капитан... пригодился... — вспоминая слова Кошелева, взревел от восторга замполит.

Его душа пылала боевым азартом. Он снова чувствовал себя прежним, полноценным казаком Кандыбой.

— Не-е-ет! Врешь! — Он снова был бойцом, командиром, конармейцем. — Так, так! Бей их, сучьих сынов, крой чаще, не жалей свинца! — кричал замполит, кося фланговым огнем бегущих немцев. — Не уйдешь, не спасешься! — кричал он, глядя, как под его очередями падали, метались и залегали фашистские солдаты.

Упоение боем охватило его. Он уже не видел, как рвалась шрапнель, как то тут, то там падали гранаты, обдавая осколками бойцов. Он не видел и того, что хирург уже давно вылез из окопа и, лежа в канаве, перевязывал красноармейцев. Бой, тот самый бой, в котором он мечтал полностью рассчитаться с германом, наконец пришел. Фашистские солдаты, та самая сволочь, которая посмела топтать своими копытами русскую землю, были вот тут, возле него. И накалившийся от яростного огня пулемет стучал, тряся в боевой, злобной, стремительной дрожи.

— Товарищ подполковник, товарищ подполковник! — услышал он голос высунувшегося из блиндажа радиста.

— Чего тебе? — отрываясь от «максима», спросил замполит.

— Штаб корпуса сообщает... просят продержаться полчаса... танки наши сюда выходят... и авиация тоже. Приказывают задержать немцев еще на тридцать минут.

— Передай: «Есть, продержаться тридцать минут». Только добавь, что, если нужно, задержим и на час! — ответил подполковник.

Из одиннадцати ринувшихся в атаку танков пять пылали, охваченные огнем. Выскочивший из люка немец упал возле дороги и медленно пополз к канаве, но был добит одиночным выстрелом пожилого красноармейца, которого Кандыба отправлял вместе с другими в тыл.

— Четвертый! — сказал он, перезаряжая винтовку.

Потом тщательно приложился и выпустил одну за другой две пули.

— Пятый! — поднимая от ружейного ложа голову и вглядываясь в сбитого им немца, сказал он.

— Хорошо стреляешь, папаша! — похвалил его лежавший рядом хирург. — Во-он еще один за кустом виднеется... сюда целится. Да во-он... вон! — торопясь и указывая бойцу на немца, крикнул хирург, но красноармеец молчал.

Хирург глянул на него и отвернулся. Над левым глазом красноармейца темнело отверстие, из которого медленно текла кровь.

Слева кто-то застонал, и хирург пополз туда. В воздухе, словно зерна из огромного лукошка, сыпанула и разлетелась по кустам шрапнель.

Хирург подвалился к стонавшему бойцу и быстрыми, привычными движениями стал разрезать намокшую от крови гимнастерку.

Неожиданно тяжелый грохот и железный лязг оглушили его. Он зашпилил бинт и приподнялся. Впереди, метрах в тридцати от него, выставив длинное орудие, неся танк. Его темные гусеницы легко бежали по серой земле. Крутая пыль курилась позади. Оглушающий металлический грохот рос и заполнял воздух; забивая уши, мозг и сознание хирурга. Страшная, неумолимая смерть была возле.

— В окоп! В окоп скорее! — услышал хирург срывающийся крик замполита.

Но растерявшийся врач, первый раз в жизни видевший танк так близко от себя, замер на месте, глядя остановившимися глазами на набегавшие гусеницы стального чудовища.

— В окоп, да в окоп же! Э-эх, Павел Семенович! — снова услышал он отчаянный вопль замполита.

Чья-то сильная рука рванула его к окопу, и хирург тяжело, словно мешок, упал в узкую, глубокую щель.

«А как же раненый?» — мелькнуло в его сознании.

В эту же секунду на глазах у всех подполковник неловко приподнялся и, опираясь левой рукой о землю и свой пулемет, размахнулся и швырнул изо всех сил связку гранат прямо под брюхо немецкой машины.

Три противотанковые гранаты сделали свое дело. Танк остановился. Сбитая гусеница, в двух местах разорванная взрывом, сползла на землю. Пушка замолчала. Из башни заструился легкий дымок, и внутри стали глухо рваться снаряды.

— Ур-ра! — закричал замполит и бросил в остановившийся танк две бутылки со смесью.

Танк вспыхнул.

Кандыба слегка приподнялся, как вдруг автоматная пуля легко и резко рванула его плечо. Из пробитого предплечья заструилась кровь. Плечо ныло, и боль быстро разбегалась по руке.

«Эх, стрелять не смогу!» — оглядываясь по сторонам, подумал подполковник.

Он вытащил из кармана кусок ваты и, скомкав ее, заткнул входное отверстие раны.

«Теперь бы водки с перцем... — припомнил он старое

казацкое лекарство. — А где же Паша?» — морщась от все усиливающейся боли, подумал он. Вата намочла, тупая боль уже охватила всю начинавшую немочь руку.

— Вре-ешь! — сжимая зубы, прошептал замполит. — Ты мне еще понадобишься... казака не так просто убить...

Пересиливая боль, он вытянул вперед раненую руку и напряжением воли заставил себя обхватить обеими руками пулеметный рычаг.

— Меняй ленту, — тихо, через силу сказал он второму номеру.

— Товарищ подполковник, рану надо перевязать, кровь хлещет. Разрешите, я...

— Меняй ленту, говорю! — поднимая на него поблевшее лицо, закричал замполит. — Делай свое дело! А перевязками потом займешься!

— Не волнуйся, дорогой Иван Акимыч, — вдруг услышал он возле себя знакомый голос и увидел запыленного, в грязи, забрызганного кровью хирурга. — Чуть меня танк не раздавил. Если б не красноармейцы, одно пятно краснело бы, — устало сказал хирург, очищая рану и заливая ее йодом.

— Ло-о-жись! — прерывая хирурга, закричал Кандыба.

У дороги стали рваться мины.

Хирург и замполит лежали рядом. Немцы, просочившиеся к их флангу, молчали, и эта странная, так внезапно наступившая тишина была подозрительной.

— Дай-ка папироску, Паша, — не поворачиваясь и наблюдая за немцами, сказал подполковник.

Хирург, вынув из кармана смятую коробку с полуизломанными папиросами, закурил одну из них и вставил ее в рот замполиту.

Тот с наслаждением затаился и молча кивнул головой. Сквозь повязку медленно пробивалось красное пятно.

Хирург удивленно прислушался. Замполит что-то тихонечко пел, и Степанов не столько по словам, сколько по мотиву понял, что Кандыба напевал свою любимую казачью песню:

...что женился на другой,
на пупечке свинцовой...

И хирургу впервые за все это время стало как-то не по себе. Он вдруг вспомнил жену, детей, свой прерванный отпуск. Сердце его заняло поздней грустью.

«Не напрасно ли я остался?» — находясь все еще под властью переживаемых им чувств, с волнением подумал он.

— А знаешь, Паша, ежели мы с тобой останемся целы, — не спеша заговорил Кандыба, словно угадывая мысли хирурга, — я обязательно поеду с тобою, к твоим в отпуск. Ведь примут они меня, не прогонят? — полусутоливо-полусерьезно спросил он.

— Танки пошли! — перебил его наблюдавший из окопчика часовой.

— Приготовить горючее и гранаты! Держись, ребята! Это их последняя атака. Скоро подойдут наши! — закричал замполит и, приваливаясь на здоровое плечо, сел за пулемет. — Ну, Паша, давай поцелуемся по русскому обычаю, — тихо сказал Кандыба.

Степанов поспешно поцеловал подполковника. Все его сомнения исчезли.

«Нет, хорошо, отлично я сделал, что остался с ними», — подумал он, с нежностью глядя на подполковника и на людей, спокойно, без спешки исполнявших его приказание.

— Товарищ подполковник, штаб корпуса сообщает: наша авиация вышла на бомбежку! — высывая голову, прокричал радист.

Огневой вал уже хлестал по окопам. Из кустов бежали восемь немецких солдат, за ними, ломая плетень и подминая под себя молодую яблоневую поросль, шел танк. Радист оглянулся. Замполит расстреливал перебежавших уличку автоматчиков врага, трое красноармейцев продольным огнем били из винтовок по канаве, в которой залегли немцы. Хирург, откинув назад руку, неумело и очень старательно швырнул через бруствер гранату, но она не разорвалась.

— Запал, запал вставить надо, товарищ доктор! — хватая вторую гранату, крикнул радист и, быстро зарядив гранату, кинул ее под ноги бежавших солдат. — Давай еще, доктор! — весело скомандовал он хирургу.

С танка полыхнул огонь.

— Врешь, шалишь, сволочь! — целясь гранатой под танк, закричал радист.

В воздухе раздался могучий гул. По земле пронеслись быстрые, стремительные тени. Одна, другая, третья... И девятка наших штурмовиков на низком, почти бредущем полете прошла над местом боя.

— Ур-ра! Наши, наши идут! — захлебываясь от радости, закричал радист.

— Наши! Бей подлецов фашистов! — в возбуждении крикнул хирург, глядя, как заматались вражеские цепи.

Тяжело и гулко рванули бомбы. Рыжий столб огня встал между окопом и танком. Туча пыли застлала, залепила глаза. Стремительный «петляков» пронесся над домами, и его бомба расколола танк.

Удар был так силен, что оглушенный радист, все еще сжимая гранату, упал в окоп, подминая под себя сбитого волною хирурга.

— Ур-ра! — как сквозь сон услышал хирург, потом он потерял сознание.

Он уже не видел, как штурмовики, носясь над полем, расстреливали бросившихся враспынную немцев, он не слышал, как рвались фашистские танки и как последние четыре уцелевшие машины, выкинув белые флаги, сдались.

Он лежал ничком на дне окопа с измазанным кровью лицом. На его лбу багровела, быть может, рана от пули, а может быть, ссадина от падения.

Бой затихал. Только кое-где еще трещали отдельные выстрелы или вспыхивала автоматная дробь. Красноармейцы сгоняли в кучу сдававшихся немцев. Девятка штурмовиков неторопливо кружила над селом, напоминая собою сытых, спокойных, величественных орлов.

— А где доктор? Где Степанов? Он только что тут был, — обеспокоенно оглядываясь по сторонам, спросил Кандыба, поднимаясь навстречу подходившим танкистам.

— Убит... товарищ подполковник. Их убило, когда еще танк по нас стрелял... Да вон он, вместе с радистом лежит, — раздались голоса бойцов.

Замполит тяжело опустился на землю.

— У-убит? — дрогнувшим голосом переспросил он.

Его лицо сразу как-то осунулось и постарело. Он медленно встал с места и, опираясь о плечо ближайшего красноармейца, пошел к окопу.

Внизу возились санитары, вытаскивая раненых и убиравая тела убитых.

Опустив голову и сжав зубы, замполит молча потухшими глазами смотрел, как красноармейцы осторожно вынимали из окопа скорченное тело маленького врача.

— Друг... Паша! — стискивая зубы, простонал Кандыба.

Ему припомнилось и их первое, такое нелепое знакомство, и встреча в столовой, и трагические минуты с бомбою в операционной.

— Ах, друг, друг! Павел Семеныч! — еще тише прошептал подполковник.

Жена и дети хирурга, которых он никогда не видел, но о которых так много и так часто говорил ему Степанов, встали перед ним.

Не в силах сдержаться, подполковник отвернулся в сторону. По его дергающемуся лицу проползла тяжелая слеза.

На землю положили радиста и рядом с ним хирурга, измазанного землей и кровью, в изорванной гимнастерке. В судорожно сведенной руке радиста виднелась зажатая граната.

— Осторожно клади, ребята. Вынь у него кто-нибудь гранату, как бы не взорвалась, — слышались голоса красноармейцев.

Один из бойцов нагнулся над радистом. В эту минуту радист приподнялся и, обводя всех взглядом, сказал:

— Не бойсь! Не взорвется. Она без запала. Это мне такую доктор дал, когда нас волной смахнуло. — И, видя изумленные лица окружающих, радист добавил: — Да он тоже живой, только, конечно, без сознания... Когда нас волной об окоп ударило... я же чувствовал, что он живой.

— А ну, санинструктор сюда... жив-во! — зажигаясь неожиданной надеждой, громовым голосом закричал опомнившийся Кандыба, и, расталкивая окружающих хирурга людей, он бросился к нему.

— Жив, только в сильном обмороке, — растирая спиртом обнаженную грудь и виски хирурга, сказал фельдшер.

Замполит тяжело сел рядом с ним и неожиданно расхохотался. Его счастливое, сияющее лицо было так забавно, что все окружающие заулыбались.

— Так, значит, это он забыл вставить запал в гранату? — заливаясь смехом и хлопая по плечу радиста,

сказал замполит. — Молодец, Паша, что забыл, а то б она вас обоих на куски порвала, когда вы в окоп вверх ногами полетели, — хохоча и сияя от восторга, продолжал замполит.

Это был первый случай в жизни бравого и исполнительного казака Кандыбы, когда он одобрил промах, происшедший на военной службе.

— Ур-ра, Паша! Ох и добре же я сегодня выпью водочки за твое здоровье! — закричал он, глядя, как хирург открыл глаза и, узнавая друга, улыбнулся ему.

Недели две спустя они мчались в поезде в далекую Фирузу, куда им был дан отпуск для восстановления здоровья.

ШОФЕР ИЗ БЕЛГРАДА

Рассказ



Молодой серб Богумил Пашич служил шофером югославского отделения фирмы «Крафт унд Гальске» всенемецкого концерна «Герман Геринг и К°».

Сначала он ездил на большом грузовике и исправно возил товары между вокзалом и Вратовицей, потом работал на машине, возившей грузы в самом Белграде, в последние же месяцы господин директор фон Кизельштейн назначил его шофером легковой директорской машины.

— Это хороший серб... тихий и полезный. Такие работающие бычки нужны нам, — пояснил директор свое назначение управляющему городским отделением Вольфу.

Жизнь Богумила Пашича от этого повышения изменилась немного, разве только то, что он стал носить более чистый шоферский костюм да получать на 25—30 марок больше. В остальном он остался таким же неповоротливым увальнем, одиноким и необщительным, вечно возившимся со своей машиной. «Туповат, как и все эти сербские дикари, однако отличный шофер и главное — надежный, далекий от проявлений какого-либо патриотизма», — раз и навсегда охарактеризовал его фон Кизельштейн.

— Богумил! Приготовь легковую машину! — открывая дверь гаража, крикнул мальчик-болгарин, служивший у хозяев. — Господин директор и господин Вольф поедут на Верхне Село! Только скорее. Они очень спешат! — исчезая, предупредил мальчик.

Машина была в порядке. Богумил опустил капот и, сев за руль, подал ее к подъезду. Сняв фуражку, он открыл дверцу, помогая войти в авто тучному Вольфу. Потом через проспект Воеводы Путника выехал на площадь Короля Душана и на большой скорости понесся через город.

Пересекая Коссову улицу, он свернул в сторону Верхне Село, как вдруг господин директор сказал:

— На Загребское шоссе!

И шофер, не сбавляя ходу, привычным жестом уже вел машину совсем в другом направлении, удаляясь от Белграда. Автомобиль мчался по широкой асфальтированной дороге, на которой при виде германского флага на радиаторе вытягивались усталые регулировщики, отдавая честь пронесившимся мимо немцам. Иногда встречались серо-зеленые броневики, проносились мимо пыльные мотоциклисты да, тяжело громяхая, проползали танки.

Шофер, до которого долетали обрывки разговора немцев, уже знал, куда едут его господа. Впереди, километрах в 12 от города, находилась бывшая французская концессия, которая с приходом немцев перешла к ним. Там были склады фирмы и база подвозимого немцами из округа сырья.

— На базу! — как бы подтверждая его мысли, крикнул господин Кизельштейн и, продолжая беседу, сказал Вольфу: — Мне все-таки непонятна эта черепашья медлительность генерала. Иметь такие силы, опираться на устатей Павелича, отряды Михайловича и позволять бандам Тито разбойничать не только где-то в горах, но и появляться возле самой столицы.

— Что поделать? Эти сербы неожиданно оказались храбры. Их окружают — они не сдаются. Их бьют — они не покидают окопов. Кто мог подумать, что они устоят против атак наших войск, — меланхолично ответил Вольф, и на его жирном, одутловатом лице было удивление.

— Проклятые! — сквозь зубы проговорил Кизельштейн и отвернулся.

Шофер хотя и не говорил, но достаточно хорошо понимал по-немецки, научившись за свою работу при фирме разбирать немецкий язык. Слова Вольфа понравились ему. Гордость за свою нацию обожгла его сердце. Но лицо было по-прежнему безразлично. Руки лежали на руле, а внимательные глаза зорко глядели вперед.

Справа бежала река, большая, желтая, глубокая Сава, одетая в гранит. Дальше она сливалась с Дунаем, но и здесь это была внушительная река. По краям дороги стояли каменные полосатые дорожные столбы и невысокие парапеты, за которыми шумела река. Дорога то взле-

тала вверх, то снова опускалась вниз. Вдали уже показались здания концессии. Это был целый городок со своей электростанцией, жилыми домами и длинными строениями для скота, рабочих и сырья.

Богумил часто бывал здесь, и его директорская машина хорошо была известна.

Двое полицейских и человек в штатском, внимательно наблюдавшие за прибывающими машинами, вытянулись во фронт и одновременно отдали честь лениво ответившему им директору.

На концессии господ Вольф и Кизельштейн пробыли недолго. Встретивший их у подъезда управляющий конторы господин Ветцель зашептал им что-то такое, чего не расслышал шофер. Однако он заметил удивленную гримасу господина Вольфа и разобрал, как директор воскликнул возмущенным голосом:

— Вот так раз! Это же черт знает что такое! Да ведь это просто позор!

После чего управляющий Ветцель что-то снова зашептал обоим. Спустя минуту директор и господин Вольф потеснились и, дав место севшему с ними Ветцелю, приказали Богумилу ехать на пристань.

— К судоверфи! — сказал директор. Машина рванулась с места и, пересекая асфальтированное шоссе, вышла на дорогу к реке.

— Можете спокойно говорить. Во-первых, он хороший, надежный серб, а во-вторых, вовсе не понимает по-немецки, — успокоительно сказал господин Кизельштейн, кивая головой на застывшего над рулем шофера.

— Из Нове-Градка только что телефонировали о том, что партизаны напали на вокзал и казармы городка. С утра идет жестокий бой. Наши части несут большие потери, полковник Дитрих убит, один померанский батальон погиб, не успев даже вырваться из казарм...

— По-зор! — перебивая взволнованного Ветцеля, простонал директор.

— Станция и наши склады в руках бандитов!

— Черт знает что!.. — хватаясь за голову, закричал Кизельштейн, а ленивый, толстый Вольф только меланхолично вздохнул.

— Наша пехота спешно перебрасывается туда, хотя танки... — тут господин Ветцель снизил голос и зашептал так, что Богумил уже больше не разобрал ни слова из беседы своих господ.

Внезапно он затормозил. На дороге, держа ружья наперевес, стояли пять немецких солдат. Они что-то кричали и тыкали стволами винтовок в сторону автомобиля. Из-за домов выбежали еще двое солдат. Потом появился офицер.

— В чем дело? — высовывая голову, спросил господин фон Кизельштейн подошедшего к ним офицера. — Мы — немцы. Едем по срочным обстоятельствам на пристань...

— Вот и хорошо, что вы немцы, — перебивая его, сказал офицер. — Тем лучше. Нам нужен шофер. Наш свалился в яму и сломал себе ногу. Я обер-лейтенант Краузе, командир пулеметной роты 20-го Померанского полка. С кем имею честь говорить?

Господа Ветцель, фон Кизельштейн и Вольф поспешно вышли из машины, и в свою очередь представились офицеру.

— Я слышал о вас, господа. Полковник фон Арним называл нам вашу фамилию, господин фон Кизельштейн. Мы знаем о помощи, которую оказывают нам наши дорогие соотечественники в этой дикой стране, — сказал офицер.

Шофер сидел за рулем, глядя безразличным, скучающим взглядом на окруживших машину немецких солдат.

— Прошу прощения, господа, но поступаю так во имя дела. Я заберу вашего шофера. Я и мои 30 солдат вместе с пулеметами должны срочно быть в Нове-Градка. Это отсюда 30—40 километров. Там идет бой... Партизаны держат в своих руках вокзал. Мы, пулеметчики полка, срочно посланы туда, но эта идиотская авария лишила нас шофера. Вы, конечно, понимаете меня и как немецкие патриоты, и как солдаты нашего фюрера...

При этом слове все четверо, вытянув руки, согласным хором воскликнули:

— Хайль!

— Конечно! Конечно! — в один голос сказали директор и Ветцель.

— Он серб и не знает нашего языка, — указывая на шофера, произнес господин Вольф. — Он не поймет ни слова из того, что вы прикажете ему в пути. Если ничего

не имеете против, я поеду с вами в качестве переводчика, а эти господа пройдут пешком к судоверфи, кстати, она не так уж далеко.

— Вы истинный немец! — отдавая честь господину Вольфу, сказал офицер.

Шофер, господин Вольф и солдаты, оставив автомобиль, пошли по дороге. За поворотом, возле дома, стоял большой крытый грузовик с прицепом. Возле него снова были солдаты. Под зеленым брезентом стояли пулеметы и ящики с патронами. Выслушав от господина Вольфа приказ, шофер молча приподнял фуражку и сел за руль.

— Нове-Градка! Только быстро! — сказал господин Вольф, усаживаясь рядом с Богумилом.

Опять показались холмы, среди которых блестела дорога. Широкая река бурлила внизу. Обрывистые берега, окаймленные гранитом, высоко поднимались над водой.

— Скажите ему, чтобы увеличил скорость! Надо спешить! — крикнул офицер.

— Больше скорость! — проревел над ухом шофера господин Вольф.

— Слушаюсь, господин управляющий! — покорно ответил шофер.

Машина, рыча и содрогаясь, неслась по шоссе. Мелкий гравий и песок брызгами летели из-под колес. Полосатые дорожные столбы с грохотом проносились мимо. В глазах тесно прижавшихся солдат рябило от быстрого бега машины и резких толчков.

— Еще, еще быстреей!.. Прикажите быстрее этой сербской свинье. От своевременного нашего прибытия зависит исход боя! — перегибаясь вперед, закричал офицер.

Ветер свистел в ушах. Парапеты стали реже, и бурные стремительные воды реки тяжело мчались сбоку. Внизу, на двухсаженной глубине, играла река. Под обрывом бились и пенились водовороты. Седые, громадные валуны поднимались из воды. Машина на стремительном беге взлетела на холм.

— Вот и хорошо! Молодец, ты хороший шофер, Пашич! — похвалил господин Вольф.

— Вот и хорошо! Молодец, Богумил, ты хороший серб! — повторил за ним шофер и, резко рванув руль влево, кинул грузовик к обрыву.

Тяжелый, стремительно несущийся грузовик на всем ходу врезался в пролет между короткими столбами и, ло-

мая слабую преграду, взлетел на камни и накренился. Из-под колес брызнула земля. Посыпался щебень.

Внизу играла река. Бурые волны перекашивались через водовороты. Острые, изъеденные ветрами и водой камни темнели внизу. Сзади кричали солдаты. Офицер вскочил на борт, и господин Вольф увидел, как серая фигура лейтенанта рухнула в воду.

Колеса грузовика потеряли точку опоры, и он, перевернувшись в воздухе, грузно полетел в реку. Тяжелый всплеск, шум еще работавшего мотора и крики придавленных, тонущих солдат заглушили тонкий, срывающийся вопль господина Вольфа.

Потом все стихло. И только долгое время широкие, сверкающие круги разбегались по реке над тем местом, где сомкнулись воды Савы, поглотившие немецкий грузовик и его 30 солдат, вместе с господином Вольфом и сербом Богумилом — хорошим шофером из Белграда.

В ТИХОМ ГОРОДКЕ

Повесть



Возвращаясь после ранения из госпиталя в свою часть и разыскивая Н-скую гвардейскую дивизию, наступавшую на Бранденбург, я прибыл в небольшой городок Шагарт, но дивизии в нем не нашел. Недели две назад она выбила из него гитлеровцев и теперь ушла вперед, преследуя отступавшего врага. В городе находился небольшой гарнизон, оставленный одним из полков нашей дивизии. Я явился к начальнику гарнизона, моему старому знакомому, полковнику Андрею Ильичу Матросову, чтобы узнать у него, где находится моя часть. Я не встречался с Матросовым месяца полтора и, признаюсь, был поражен, когда увидел этого еще не старого человека сильно осунувшимся, изможденным, с болезненным и утомленным лицом.

— Что, дорогой мой, удивлены? — слабо улыбнулся Матросов. — Оставили меня здоровяком, а встречаете развалиной. Зато вы выглядите прекрасно. Как плечо? Прошло?

— Все в порядке. Рана была пустяковая, затянулась, рука действует. Теперь надо ехать в дивизию. Где она, Андрей Ильич? Гоняюсь за ней уже третьи сутки, а догнать даже ее тылы не могу.

— Километрах в ста тридцати западнее Шагарта, — ответил полковник, потом, словно что-то надумав, внимательно поглядел на меня и вдруг сказал: — Знаете что, Сергей Петрович, я понимаю, что вам хочется поскорее в дивизию, но если вы попадете туда и через некоторое время — ничего особенного не случится, а вот мне сейчас позарез нужен на эти дни в этом городишке офицер и особенно в вашем звании.

— Зачем же?

— Дело в том, что я должен завтра, в крайнем случае послезавтра выехать в Познань на операцию моего застарелого аппендицита.

Полковник болезненно улыбнулся.

— Я крепился, пока было возможно. Когда шли бои и я командовал частью, я откладывал до лучших дней. Здесь, где меня оставили комендантом, я думал на покое дожидаться передвижного госпиталя с хорошим врачом, но болезнь не ждет, и наш врач предупредил меня, что если я в течение ближайших дней не лягу на операцию, то возможно опасное осложнение в виде прободения и перитонита.

— Сочувствую вам, Андрей Ильич, но скажите: как же я могу сделать это, даже если бы и хотел помочь вам?

— Очень просто. У меня есть предписание штаба армии найти себе замену на эти несколько дней. Для этого можно использовать любого из свободных от строевой службы офицеров. А ведь вы еще не вступили в строй. Официальный приказ вы получите к вечеру. А пока располагайтесь здесь. Лучшей замены, по правде говоря, мне и не надо, тем более что вы неплохо говорите по-немецки.

Видя мои колебания, он добавил:

— Не раздумывайте, недели через две сможете выехать на фронт.

Признаюсь, предложение смутило меня. Хотя за время войны кем только не приходилось быть нам, офицерам, приезжавшим на фронт! В сорок первом мне пришлось вместе с другими рыть противотанковый ров и вколачивать наклонные надолбы в районе Вязьмы, таскать взрывчатку саперам, работавшим на минном поле у шоссе под Москвой. Около Трубчевска, возвращаясь из партизанского района, я чинил вместе с пилотом на какой-то лесной просеке наш искалеченный У-2. В Сталинграде был даже водоносом, выползая среди ночи из землянки за драгоценной влагой. До воды было рукой подать, но эти сорок — шестьдесят метров проползти днем было невозможно, и мы, четыре человека, хотя и прикомандированные, но не имевшие прямого отношения к штабу, каждую ночь, обвешанные фляжками, с ведрами через плечо, пускались в короткий, но опасный путь...

— Не смущайтесь! Это продлится недолго, но вы очень поможете мне, — уговаривал меня полковник.

А что же мне придется делать?

— Быть комендантом, замещать меня до тех пор, пока я не вернусь из госпиталя, — сказал полковник и тихо добавил: — Согласитесь, дорогой мой.

И я понял, как устал и как нуждается в операции этот больной человек, на лице которого явственно проступала землистая бледность.

Переводчица, молодая девушка, стоявшая позади полковника, подняла глаза и посмотрела на меня. По-видимому, и ей, прекрасно видевшей смертельную усталость полковника, хотелось, чтобы я хоть ненадолго заменил его.

— Хорошо. Во всяком случае я задержусь здесь до вечера. Только прошу срочно оформить назначение в штабе.

Полковник ободряюще потрепал меня по плечу.

Я вышел во двор комендатуры. Это был обычный немецкий двор, асфальтированный, с несколькими деревьями и густым плющом, весело и буйно охватившим первые этажи дома. По двору сновали солдаты комендатуры с повязками на рукавах. У черного крыльца четыре немки в белых передничках и кружевных наколках возились над грудой грязной посуды.

Я медленно вышел на улицу. У ворот стояли немцы, записавшиеся на прием к коменданту. Улица еще носила на себе следы недавних боев. Крыша соседнего пятиэтажного дома была разворочена снарядом, и перебитые балки свисали с чердака. Стены прижавшихся вплотную друг к другу зданий были выщерблены и исцарапаны шрапнелью и осколками снарядов. Угловой дом, наполовину снесенный авиабомбой, угрожал рухнуть. Возле него, копаясь в развалинах, работали пожарники-немцы. Исковерканные огнем, свернувшиеся листы кровельного железа валялись на тротуаре, щебень и битый кирпич засыпали улицу. Около сотни женщин, стоя в аккуратной цепи, убирали мусор и обломки, расчищая дорогу, и над всем этим неожиданно возвышалась половина второго этажа. Было странно видеть стол, покрытый кружевной скатертью, буфет с чудом уцелевшей посудой, детскую куклу и большие портреты, симметрично развешанные на покосившейся стене.

Завидя меня, очередь зашевелилась. Какой-то немец угодливо снял шляпу, за ним другой. Полная немка, умильно улыбаясь, присела в книксене. Красивая блон-

динка, чуть поведя в мою сторону большими подрисованными глазами, вежливо и с достоинством полукивнула. Я приложил руку к козырьку и быстро прошел в приемную. Часовой открыл дверь, и я вошел в кабинет коменданта.

— Вот и отлично! Попрошу вас пока принять этих людей, а затем, не ожидая меня, обедайте. Я же сейчас поеду на телеграф, — поднимаясь с кресла, сказал полковник. — Вообще, заменяйте меня полностью, будьте хозяином города и помните, что надеяться не на кого, решать надо все самому. Я приеду поздно, часам к восьми. Думаю, что к тому времени уже будет на вас приказ. Всего хорошего! — И, крепко пожав мне руку, полковник вышел.

Спустя минуту на улице раздался гудок его автомобиля, и я остался «хозяином» немецкого городка.

Справа от меня сидела переводчица Надя, та самая, которая полчаса назад с таким напряженным вниманием ожидала моего ответа коменданту. Это была полная смуглая украинка, четыре года назад угнанная откуда-то из-под Полтавы в эти края, как сообщил мне Матросов. У дверей стоял часовой-автоматчик, у камина расположился телефонист.

Над столом висела бронзовая люстра с амурами. На стенах было много картин в великолепных рамах. Одна из них — «Выезд Фридриха II из Сан-Суси» привлекла мое внимание. Художник изобразил короля сходящим по ступеням китайской пагоды. За Фридрихом виднелись фигуры Вольтера, трех придворных дам и широкоплечего вельможи в треуголке, в камзоле, расшитом золотом. Не знаю почему, но лицо этого вельможи заинтересовало меня. Я подошел ближе. Несомненно, я где-то уже видел его... Эта мысль мне самому показалась смешной. Восемнадцатый век. Сан-Суси, Фридрих и его свита... Как мог я видеть это широкое, холеное, розовое лицо с деланной, остановившейся улыбкой? И все же я твердо знал, что где-то встречал если не этого человека, то во всяком случае его портрет. Я внимательно оглядел картину, пытаюсь отыскать подпись художника, но ее не было.

Картина заинтриговала меня. Придвинув стул, я встал на него и стал вплотную разглядывать картину. Только теперь я с трудом различил буквы, неясно темневшие в углу: «В... ер». Дальше шла какая-то еле заметная

закорючка. Отойдя назад, я снова всмотрелся в группу людей, очень экспрессивно написанных художником. Но где, где же я видел эти брезгливо опущенные толстые щеки, эти маленькие надменные глаза и самодовольное, тупое лицо? Я задумался, и в эти минуту почувствовал на себе чей-то взгляд. Я оглянулся. Переводчица отвела глаза и, неловко улыбаясь, сказала:

— Извините меня, но товарищ подполковник, наверно, забыл про посетителей?

— Заинтересовала меня эта штука, — ответил я и, оглядев еще раз картину, сел в кресло, решив после окончания приема снова вернуться к ней. — Впускайте посетителей, — приказал я часовому.

И в комнату, учтиво улыбаясь, вошли две женщины. Я указал им на стулья. За ними вошли еще четверо посетителей, усевшихся в ожидании своей очереди у стены.

Перегнувшись через край стола и умильно заглядывая мне в глаза, одна из женщин быстро заговорила, перенося время от времени взгляд то на свою спутницу, то на Надю, уверено переводившую ее слова.

— Это беженка, вдова офицера, убитого в сорок втором году в Африке, на итальянском фронте. Она просит разрешить ей и ее дочери вернуться обратно в Ханцау, откуда они родом.

— Скажите им, что разрешать выезды из города начнем позже, пока же все беженцы остаются на местах.

Надя перевела мои слова. Посетительницы поднялись и пошли к выходу. Худой высокий немец с торчащим кадыком пересел к нам. Остальные передвинулись со стула на стул.

— Господин спрашивает, может ли он вступить в брак, и просит для этого разрешения русских властей.

— Его личное дело. Это не касается русских.

Немец со вниманием выслушал мой ответ, удовлетворенно кивнул, отвесил низкий поклон и, осторожно ступая по ковру, вышел из комнаты. Его место заняли две девушки и юноша с длинными белокурыми волосами. Юноша склонил набок голову и крайне благопристойно, не тихо и не громко, не очень медленно, но и не спеша, заговорил.

— Господин и эти девушки — актеры. Они просят разрешения выступать в кабаре. Часть денег пойдет на русские госпитали, — сказала Надя.

— Пусть обратятся непосредственно к бургомистру, в ведении которого находятся театры, кабаре и кино, а на счет отчислений денег в пользу госпиталей — это лишнее, не нужно. Советский Союз вполне обеспечивает всем необходимым своих раненых и больных воинов.

Двое румын и один болгарин просили выяснить, когда им можно будет вернуться на родину. Пожилой усатый человек с энергичным квадратным лицом пересел поближе к столу. У двери сидела полная, крупная дама с благородными чертами лица и красивыми, несколько грустными глазами. Одета она была в строгое черное кружевное платье. Я два раза внимательно взглянул на нее: таким одухотворенным и выразительным показалось мне ее лицо, когда-то очень красивое. Я увидел печальные, спокойные глаза, холеные руки, выделявшиеся на черном фоне платья. Кружевная накладка, приколотая пряжкой из мелких брильянтов, покрывала ее седеющие волосы.

«Кто она? По-видимому, мать без вести пропавшего офицера или жена генерала», — подумал я.

Дама заметила мое внимание и тихо, как-то устало улыбнулась: лицо ее посветлело.

— Не трудитесь, пожалуйста, переводить, я русский, — вдруг сказал усатый человек, садясь в освободившееся кресло. — Я русский, — повторил он, — окончил гимназию в Тамбове в 1909 году, затем Тверское кавалерийское училище, воевал с немцами в девятьсот сорок первом, а в двадцатом эмигрировал из России... — Он почесал затылок, погладил усы и продолжал: — Вернее сказать, от Буденного бежал — сначала в Турцию, затем в Сербию, а потом занесло меня и сюда...

— Вы белогвардеец? — спросил я.

— Так точно! Поганое это слово — «белогвардеец», однако так оно и есть.

— Что вам угодно?

— Видите ли, господин подполковник, — снова погладив усы, сказал посетитель, — строго говоря, ничего. Ни просить, ни желать чего-либо я не смею, да и не имею на это права. А вот, поверьте, пришел просто так, на вас, на своих, на русских, поглядеть, родную речь послушать, за Россию порадоваться да хоть на одну секунду себя не эмигрантом, а русским почувствовать. Вот и все, господин подполковник. А теперь я уйду.

Не без удивления я глядел на этого человека.

— Вы служили в немецкой армии?

— Нет... Никогда! — воскликнул он. — Довольно того, что в девятнадцатом дрался со своими, но то по глупости, а в сорок первом можно было только по подлости. Да! — убежденно сказал он, глядя мне в глаза. — Подлецом и фашистом Тулубьев не был никогда.

— Как вас зовут?

— Тулубьев Александр Аркадьевич, бывший ротмистр пятого Александрийского гусарского полка.

— Я хотел бы, Александр Аркадьевич, чтобы вы зашли ко мне не в эти приемные часы, а, скажем, завтра вечером часов в семь или восемь. Можете?

Тулубьев поднялся. Секунду он смотрел мне в глаза, потом лицо его дрогнуло, и он срывающимся голосом сказал:

— Покорнейше благодарю, господин подполковник. — И, повернувшись по-солдатски, Тулубьев вышел из комнаты.

— Сурьезный дядя. Видать, в полковой школе его гоняли как надо, — одобрительно сказал телефонист, глядя вслед бывшему гусару.

Представительная дама поднялась со стула. Я показал ей на кресло. Она мягко опустилась в него. Края кружевного воротника слегка разошлись, и я увидел на ее холечной шее золотую цепочку нательного креста.

«Вот еще деталь для психолога. Католичка, вероятно, из Баварии», — подумал я.

— Чем могу служить?

— Я буду кратка, так как боюсь отнять у господина коменданта драгоценное время, — приятным грудным голосом проговорила дама. — Дело в следующем. До этой несчастной войны, а затем и в последние годы у меня здесь было свое интересное и выгодное предприятие. Я держала заведение — сначала с восемью, а затем с одиннадцатью девочками в возрасте до двадцати лет. Сейчас, когда, слава богу, война здесь кончилась, мои девочки хотят опять работать, и я желаю вновь открыть заведение, но уже с двадцатью девицами.

— Как? — переспросил я. — Заведение?

— Ну да! Фрау имела дом свиданий и теперь хочет расширить его, — бесстрастно подтвердила Надя.

Немка мило улыбнулась и что-то нежно заворковала.

— Она надеется, что господин комендант посетит ее салон и выпьет там рюмку коньяку, — продолжала Надя.

— Скажите ей, что подобные дела не входят в компетенцию русского коменданта. Пусть обращается в бургомистрат. Там ей дадут ответ по поводу ее заведения.

Дама выслушала переводчицу и, подарив мне прощальную улыбку, поплыла к выходу.

Я еще не совсем пришел в себя от фиаско, которое потерпел мой психологический анализ, когда круглолицый, уже немолодой немец стал что-то говорить переводчице.

— Этот господин — хозяин нашей квартиры. Он только вчера возвратился в город из Каульсдорфа, куда уезжал, когда русские подошли к Шагарту.

— Как его зовут?

— Фон Гецке, доктор юриспруденции.

— Скажите ему, что дом, так же как и его квартира, занят целиком под комендатуру и чтобы он искал себе пристанище в другом месте.

— Он это знает и не предъявляет никаких претензий. Он уже живет у своей сестры.

— Так чего же он хочет?

— Господин Гецке просит только об одном. Он хочет забрать с собой вот эту картину. — И Надя указала пальцем на «Выезд Фридриха II из Сан-Суси». — Он говорит, что это фамильная картина, переходящая из рода в род. Доктор надеется, что господин комендант разрешит ему взять их семейную реликвию.

При этих словах Гецке (по-видимому, немного понимавший по-русски) усиленно закивал головой и, молитвенно сложив руки, перегнулся ко мне через стол.

— Вы понимаете по-русски? — спросил я.

— О-о, зер шлехт... этвас... малё, очень малё, — расплываясь в улыбке, сказал Гецке.

— Так вот, скажите ему, Надя, все, что мы нашли в его квартире цело, вплоть до последнего гвоздя, и будет возвращено владельцу в тот день, когда отсюда будет уходить комендатура, но не раньше.

— Я думаю, товарищ подполковник, что картину эту можно было бы возвратить ее владельцу, тем более что таких картин здесь найдется десяток, — неожиданно сказала переводчица.

Я удивленно посмотрел на нее. Сознаюсь, не совсем хорошая мысль промелькнула в моей голове. Может быть,

фон Гецке пообещал переводчице кое-что за ее содействие?

— Я уже объяснил, что пока мы находимся в этой квартире, все вещи остаются здесь. Пусть потерпит, — сухо ответил я.

Надя спокойно кивнула головой.

— Абер, я хотел один только бильдинг... картин... мой старый домашний фамильбильдинг, — взволнованно зашептал фон Гецке. — Два сто лет этот картин биль в унзер фатерхаус... родительски дом.

— Она и вернется туда, только спустя некоторое время. Нам совершенно не нужна ваша фамильная реликвия. Да, кстати, какой художник рисовал ее? И кто такой вот этот важный господин, стоящий позади Вольтера? — Я кончиком карандаша показал на надменное лицо вельможи в парчовом кафтане и длинном французском парике.

Мне показалось, что при этих словах в глазах фон Гецке промелькнуло не то удовлетворение, не то беспокойная тень. Я внимательно взглянул на него, но, нет, Гецке почтительно слушал Надю, переводившую мои слова. Когда она кончила, он, низко поклонившись, сказал:

— Очень спасибо, хорошо. — И по-немецки добавил: — И я и моя семья совершенно спокойны за судьбу этой картины. Передайте господину коменданту, что ее рисовал известный художник Вебер, а вельможа, стоящий позади Вольтера, — друг короля и хранитель его печати, барон Эрих-Мария фон Гецке, наш прадед, в священную память которого мы бережем эту картину. — И, отступая спиной к двери, Гецке направился к выходу.

Было уже около часа. Скоро начинался обед. Я приказал дежурному предупредить стоявших на улице посетителей о том, что до обеда приму только тех, кто уже находился в стенах комендатуры.

Когда я поднялся, чтобы идти в столовую обедать, со двора донеслись громкие голоса.

— Что там такое? Выясните, дежурный! — приказал я сержанту.

Через минуту сержант вернулся.

— Фриц какой-то хочет вас видеть. Дело к вам имеет, нахальный такой... по-русски чисто чешет.

— Прием закончен. Пусть приходит после трех часов, — сказал я.

Но в эту секунду в кабинет вошла Надя и молча подала мне небольшой голубой конверт с короной в углу.

— От кого?

— От барона Фогеля фон Гогенштейна. Здешний крупный фабрикант и бывший обер-бургомистр. Это он так шумел внизу.

Я вскрыл конверт. Красивым почерком по-русски было написано:

«Глубокоуважаемый господин подполковник! Прошу вас извинить мою настойчивость, но дело, по которому я решаюсь беспокоить вас, срочное и не терпит отлагательств. Прошу принять меня только на 3—4 минуты. С глубоким почтением, ваш покорный слуга барон Гуго Фогель фон Гогенштейн».

В раздумье я повертел в руках письмо, вопросительно взглянув на ожидавшую ответа Надю.

— Это очень почтенное лицо в городе, — сказала переводчица.

— Просите.

В комнату вошел высокий, представительный, прекрасно одетый человек с седыми висками и гладко зачесанными на пробор волосами. Он остановился в дверях и, чуть наклонив голову, сказал:

— Барон Гогенштейн.

— Садитесь, — указал я ему на стул.

Барон сел. Его серые, со стальным отливом глаза были любезно устремлены на меня, а бритое, несколько англизированное лицо выражало полное достоинства внимание.

— Прошу извинить, господин подполковник, но обстоятельства вынудили меня потревожить вас в неурочное время. Дело в том, что позавчера ночью умер мой родной брат, барон Эрих. Он довольно долго болел грудной жабой, болезнью, как вы знаете, тяжелой и неизлечимой. Сейчас тело моего покойного брата лежит у нас в доме и ждет погребения...

— Чем же я могу помочь?

— Увы! — барон вздохнул. — К сожалению, брату моему уже помочь нельзя, но нам, его родным, вы можете оказать большую услугу.

— А именно?

— В семи километрах от города, на кладбище Ангелюс, находится наш фамильный склеп, в котором на протяжении уже сотни лет покоятся все усопшие члены фамилии Гогенштейн. Вдова покойного, его дети и я просим вас, господин подполковник, разрешить нам похоронить моего бедного брата в нашем фамильном склепе.

— Пожалуйста, хороните. Я не совсем понимаю, при чем тут я?

— Ах, господин подполковник, эта проклятая война запутала и нарушила все обычные представления об естественном ходе вещей. Ведь для того, чтобы похоронить брата вне черты города и чтобы мы могли проводить его на кладбище, нам необходимо ваше разрешение, нечто вроде пропуска. Ах, эти ужасные, трагические времена! — И барон грустно вздохнул. В его серых глазах была печаль.

— Кто намеревается проводить покойного до могилы?

— Вдова, двое детей, я, наш старый слуга Иоганн и затем двое рабочих, которые откроют склеп и произведут погребение. Всего семь человек.

Я внимательно посмотрел на скорбное лицо барона. Он спокойно выдержал мой взгляд.

— Где лежит покойный?

— У нас в доме. Улица Альберты-Луизы, сорок один.

— Ваш брат был старше вас?

— О да! Мне пятьдесят пять, а ему шел шестьдесят второй год.

— Вы отлично говорите по-русски. Где вы научились нашему языку?

— О, во-первых, в тысяча девятьсот восьмом году я закончил в Кенигсберге гимназию, в которой русский язык был обязателен, а во-вторых, в тысяча девятьсот пятнадцатом году попал в плен к русским и до тысяча девятьсот восемнадцатого года жил в Сибири, в Красноярске, где и усовершенствовал свои познания в вашем языке. Так как же, господин подполковник, могу я воспользоваться вашей любезностью и похоронить моего бедного брата? — Он секунду помолчал и тихо добавил: — Это надо сделать сегодня же, ибо труп уже начинает разлагаться.

— У вас есть свидетельство о смерти?

— Да, конечно. Простите, что я второю забыл о нем. — И он вынул из портфеля аккуратно сложенный листок с красным крестом и штампом в углу бумаги. — Вот

оно! Если желаете, то пошлите со мной вашего врача осмотреть тело умершего.

— Нет, зачем же. Совершенно достаточно этой бумаги.

Я вырвал из блокнота листок, написал разрешение на выезд за городскую заставу группе в семь человек для погребения на кладбище Ангелюс барона Эриха Фогеля фон Гогенштейна. Мой собеседник встал и, поклонившись, сказал растроганным голосом:

— Благодарю вас, господин подполковник, благодарю от имени жены и детей покойного.

И только тут, в первый раз за все время, голос у него дрогнул, и он, поднеся платок к глазам, быстро вышел из кабинета.

После обеда я поднялся на третий этаж, в свою комнату, и прилег вздремнуть. В таких случаях я беру обычно что-либо почитать. Первые десять минут читаешь с увлечением, затем несколько секунд усталость и дрема борются с желанием дочитать книгу, и вдруг случается как-то само собой, что книга оказывается на полу, а ты словно проваливаешься в мягкую, убаюкивающую пустоту. Я стал было читать книгу, но сон одолевал меня. Уже сквозь дрему я услышал какую-то возню и стук ниже этажом.

— Что там такое? — спросил я вестового.

Он что-то неразборчиво ответил и стремглав побежал вниз.

Стук прекратился, и я крепко, безмятежно заснул. Когда я проснулся, было около пяти часов. Солнце, горячее и весеннее, ярко светило в раскрытые окна, и его лучи четко осветили книгу, лежавшую на ковре. Это был рассказ Куприна «Штабс-капитан Рыбников».

«Повесть о шпионе», — подумал я и улыбнулся. Будь я чуточку суеверней, я счел бы это фатальным предостережением. Во всяком случае, это было чем-то вроде напоминания.

— Бдительность! Бдительность! — повторил я, спускаясь в приемную.

Внизу уже дожидался бургомистр, недавно назначенный на эту должность. Это был один из местных жителей, освобожденный из тюрьмы при приходе советских войск. Рядом с ним я увидел небольшого худощавого человека, непринужденно поклонившегося мне. За столом сидела

переводчица, о чем-то беседовавшая вполголоса с бургомистром.

— Господин бургомистр просит разрешения открыть в городе кафе-кабаре на Бергенцер-штрассе. Он также просит, чтобы ему дали еще восемь грузовиков для развозки хлеба по районам. Хлеб есть в главной пекарне, но из-за отсутствия транспорта он не попадает в магазины.

— Сколько сейчас у него машин?

— Двадцать. Но для всего города их не хватает. Затем господин бургомистр просит, чтобы комендант выдал шоферам новые пропуска, так как срок старых истекает.

— Кто до сих пор занимался этим?

— Товарищ полковник. Он лично выдавал такие удостоверения, — сказала Надя.

— Пусть подождет возвращения коменданта. Он вернется в восемь часов. Если же полковник запоздает, то я сам вечером выдам эти разрешения.

Бургомистр поклонился.

— А что нужно этому господину? — спросил я, глядя на второго немца.

— Это господин Отто Насс. Политический заключенный, сидевший вместе со мной в местной тюрьме, — ответил бургомистр.

— Чего же хочет господин Насс? — спросил я Надю.

— Это мой друг, социал-демократ и бывший спартаковец. Я пришел к вам, чтобы рекомендовать его для работы у нас в бургомистрате, — сказал бургомистр.

— На какой должности? — осведомился я, разглядывая спокойное, симпатичное лицо Насса.

— Пока просто в помощь мне, так как людей мало, а надежных еще меньше, ну, а потом мы найдем господину Нассу более определенную работу.

— А чем вы занимались, господин Насс, до тюрьмы? — поинтересовался я.

— Моя специальность — искусствоведение: старинный фарфор, бронза, живопись, главным образом восемнадцатый век.

— Век напудренных маркиз, изящных кавалеров, наивно-трогательных пасторалей, — улыбнулся я.

Станным показалось мне, что этот суровый человек, мужественно боровшийся в подполье с нацистами, мог увлекаться столь легкомысленными вещами. Но когда

Надя перевела Нассу мои слова; он удивленно поднял брови.

— Простите, но это заблуждение, — мягко возразил он. — Восемнадцатый век прежде всего замечательный этап в истории искусства, эпоха краха придворно-аристократической эстетики и триумфа буржуазно-демократической идеологии во всех проявлениях художественной жизни. Революция в живописи на тридцать лет опередила падение абсолютизма во Франции. Гениальная критика знаменитых «Салонов» Дидро в прах развенчала «первого художника короля» Буше. Неподражаемо грациозный и изысканный Фрагонар не осмелился после этого выставлять свои картины. Век, начавшийся с утверждения гедонизма — права на наслаждения в «Галантных праздниках» Ватто, — становится веком проповеди пуританской морали третьего сословия в картинах Грёза и завершается предвещающим революционную бурю сверканием мечей в «Клятве Горациев» и «Смертью Марата» Давида. А жанровый реализм Депорта, Удри, Шардэна, а скульптура Гудона...

Насс говорил горячо и увлекательно. Мое недостаточное знание немецкого языка не позволяло мне понять в точности его объяснения. Тем более меня поразило, когда Надя, простая украинская девушка, окончившая, по ее словам, всего пять классов, легко и свободно перевела слова Насса, не спотыкаясь даже на трудных терминах и именах художников. Про себя я тут же решил поподробнее ознакомиться с ее прошлым.

— О, вы действительно знаток искусства! Это как раз кстати. Вон висит картина, изображающая выход Фридриха Второго из Сан-Суси. Не можете ли сказать, кто, помимо короля и Вольтера, фигурирует на этой картине и какой художник писал ее?

Насс подошел к картине, взглянул на нее и повернул ко мне удивленное лицо.

— Но это совсем не Сан-Суси, а королевский дворец, каким его представляет себе жалкий мазилка, воображающий себя художником. Да и никакого Вольтера тут нет. То, о чем вы говорите, вероятно, картина нашего известного художника Вебера. Но это даже не копия с нее!

— Как нет Вольтера?! — воскликнул я, забыв, что, желая знать все, что говорят немцы, я даже переводчи-

це сказал, что вовсе незнаком с немецким языком. — А это кто же? — И я шагнул к стене.

Передо мной в золоченой, точно такой же, как и раньше, раме висела совсем другая картина. Правда, и здесь на центральном месте находился Фридрих, но ни Вольтера, ни толстяка с холеным и чопорным лицом не было. За спиной короля виднелись две дамы, а за ними здоровенный гайдук в позументах и галунах. Это была вовсе не та картина, которая три часа назад висела здесь и так заинтересовала меня.

— Вот и подпись. Мазилка не постеснялся начертать в уголке свое имя: Ганс Кмох, — сказал господин Насс.

— Черт возьми! Здесь происходят какие-то чудеса! — вырвалось у меня. Стараясь не показать своего изумления, я подошел ближе к картине.

— Товарищ подполковник, пока вы спали, явился господин фон Гецке с письменным разрешением коменданта удовлетворить срочно его просьбу. Дежурный офицер распорядился выдать картину фон Гецке, а эту, принесенную взамен, повесить на месте снятой. Вот приказ коменданта, — показала мне Надя четвертушку бумаги, на которой было написано: «Господину фон Гецке выдать картину с изображением короля Фридриха, а взамен внести в опись имущества другую, принесенную хозяином квартиры. Комендант г. Шагарт гвардии полковник Матросов». — Вы, кажется, тогда еще не спали, — продолжала Надя, — так как ваш вестовой прибежал и просил снимать картину без шума.

— А-а... да-да, помню, — делая равнодушное лицо, ответил я. — Итак, Надя, скажите бургомистру, что господин Насс может работать в бургомистрате. А бумажку коменданта дайте мне, — добавил я, заметив, что переводчица кладет ее в стол.

Немцы ушли, а я медленным шагом пошел по коридору, раздумывая о странном инциденте с исчезнувшей картиной. Внешне я был спокоен, но мозг лихорадочно работал. «Штабс-капитан Рыбников», кажется, не случайно попался мне в руки.

Полковник вернулся только в полночь. Он привез приказ штаба армии, назначавший меня временно исполняющим обязанности коменданта Шагарт. Я доложил Матросову о проведенном мною дне.

— А ей-богу, отлично. Лучше и не сделаешь, — сме-

ясь, сказал Матросов, — прямо образцовый комендант. Советую вам переменить вашу специальность и остаться здесь, дорогой Сергей Петрович.

Когда я рассказал ему о посещении бургомистра и Насса, он добавил:

— А этого Насса я знаю. Очень дельный, проверенный нами человек, действительно сидевший в тюрьме при нацистах. Его рекомендуют и немецкие товарищи.

— Скажите, пожалуйста, Андрей Ильич, когда к вам являлся фон Гецке за разрешением о выдаче ему картины? — спросил я коменданта.

— Кто? — повернулся ко мне Матросов.

— Владелец этого дома фон Гецке, которому вы разрешили забрать висевшую в приемной картину.

— Разрешения я никому не давал, а владельцем этого дома является вовсе не Гецке, а благополучно отсюда сбежавший барон Фогель фон Гогенштейн.

При последних словах я привскочил.

— Как Фогель фон Гогенштейн? Да ведь Эрих Гогенштейн умер, а его семья и брат Гуго находятся здесь, на улице Альберты-Луизы.

— Ничего не понимаю, — поднимаясь с места, сказал комендант. — Барон Гуго фон Гогенштейн, активный фашист и крупнейший помещик этого района, бежал вместе со своей семьей в Берлин дней двадцать пять назад. Никакого брата у него, по моим сведениям, нет и не было. Да вы расскажите толком, что тут произошло за эти часы без меня?

Я молча протянул полковнику подписанную им бумагу о немедленной выдаче картины господину фон Гецке и о замене ее другой.

— Недурная фальшивка. Очень здорово сделана моя подпись, прямо-таки артистическая подделка, только вот тут, над буквой «т», я обязательно ставлю черточку, так же как и под «ш».

— Как рассказывает в своих мемуарах английский разведчик Ландау, один видный германский шпион провалился только потому, что на его прекрасно сделанном фальшивом американском паспорте у орла не хватало одного когтя. Может быть, и тут такая мелкая деталь, как отсутствие черточки над «т», поможет понять, чьих это рук работа. А теперь, дорогой Андрей Ильич, поговорим серьезно. Мне кажется, что мы попали в самую гущу раз-

вернувшегося вокруг нас шпионажа, — сказал я и, закрыв двери, подробно рассказал коменданту обо всем, что произошло в этот день.

Когда я сообщил о выданном мной пропуске на вывоз за черту города гроба с «покойным» бароном и о сопровождавшей «умершего» группе немцев в семь человек, комендант слегка присвистнул и покачал головой.

— Да-а! Мы здорово здесь прошляпили с вами, Сергей Петрович! Несомненно, что за мной и вами неотступно следили находящиеся возле нас члены какой-то шпионской организации. Пользуясь моим отсутствием и вашим незнанием с обстановкой, они вывезли из города что-то очень ценное для них.

Матросов помолчал, постучал пальцем по столу и затем позвонил.

В комнату вошел дежурный.

— Немедленно вызвать ко мне начальника заставы номер четыре со всеми сведениями за сегодняшний день и начальника поста, стоящего у загородного кладбища! Утром, к десяти часам, — бургомистра!

— А сейчас следовало бы срочно допросить переводчицу Надю. Это она передала мне вашу записку, полученную ею от фон Гецке, — добавил я.

— Вызвать переводчицу! Все! — приказал комендант.

Дежурный вышел. Занятые своими мыслями, мы молчали, прихлебывая чай. Со двора, нарушая тишину, доносились голоса солдат, да с улицы слышался мерный шаг часового.

— Дела-а! Война-то, оказывается, не только впереди, а и тут, рядом с нами, — сказал комендант и крикнул: — Ну, где там Надя, пусть поторапливается!

— Не найдут ее, товарищ гвардии полковник, никак не найдут, — доложил дежурный.

Как так не найдут? А в ее комнате были?

— Так точно. Только оттуда. И там нету, даже постель не раскрыта. Вот Прохорчук из комендантского взвода говорит, что часов в семь она с небольшим баульчиком ушла куда-то в город.

— Вот тебе раз! — сказал Матросов. — Вызвать ко мне дежурного по городу офицера! — И негромко добавил: — Становится интересно.

Мы пошли в комнату переводчицы, находившуюся в этом же доме, этажом ниже. Нади не было. Ее платья ос-

тавались в шкафу, на стене висел халатик, вещи в полном порядке были разложены на туалетном столе.

— Ну, что вы скажете? — сказал комендант.

— Только то, что теперь я в дивизию не поеду до тех пор, пока не распутая этот проклятый узел.

И мы обменялись крепким рукопожатием.

— Вот и отлично! Оставайтесь, сколько найдете нужным. К сожалению, я уже не могу задерживаться здесь. Завтра на санитарном самолете я улетаю в Пюзнань. Вернусь в Шагарт, как только встану после операции. Штаб армии узаконил ваше пребывание здесь, и, значит, дорогой Сергей Петрович, все трудности этого дела пока целиком ложатся на вас. Думаю, что ехать на улицу Альберты-Луизы, проверять квартиру, которую якобы занимал этот барон, бесполезно, как не стоит искать на кладбище Ангелюс и фамильного склепа Гогенштейнов, — сказал Матросов.

— Конечно! Напрасная трата времени, ясно, что там ничего такого нет и никогда не бывало, — махнул я рукой.

— Утром бургомистр будет здесь, и мы подробно узнаем об этой милой семейке, а с поста, расположенного у кладбища, дадут нам больше данных, нежели ночной осмотр. Это все мы легко выясним. Но вот кто такая Надя, что она делала здесь и куда сбежала — это гораздо важнее для дела. И вам, дорогой Сергей Петрович, в первую очередь придется заняться выяснением этого, — сказал комендант и прошелся по комнате. — Она была прислана сюда после проверки из тыла, прибыла вместе с проходившим эшелонем. Бумаги и фотокарточки ее в порядке. Хотя... чего стоят они, эти бумаги, если мою собственную руку так ловко подделали эти господа!

Вынув из кармана фальшивку, он стал внимательно разглядывать ее.

— Интересно знать, какую роль играет эта картина и какую ценность она представляет для врагов? — сказал я.

— Совершенно ясно, что ценна она не как предмет искусства, а совсем по другой, неизвестной нам причине.

В комнату вошел молодцеватый старшина.

— Разрешите доложить, товарищ гвардии полковник, начальник заставы номер четыре старшина Глебов явился по вашему приказанию, — доложил он.

Это был бравый, подтянутый человек лет тридцати с орденом Славы и двумя медалями на груди.

— Здравствуйте, старшина! — поздоровался комендант. — А теперь вольно, садитесь и не торопясь отвечайте на мои вопросы. Много сегодня немцев прошло через вашу заставу?

— Двадцать семь человек. Из них девять женщин и двое детей. С ними было четыре детские коляски, три повозочки и одни дрожки с гробом, который провожали восемь человек.

— Та-ак. В котором часу прошли дрожки?

— Часов около восьми, — ответил старшина.

— Их было семеро, а не восемь, старшина, — поправил я. — Пропуск был выдан на семь человек.

— Так точно, товарищ гвардии подполковник, но немцев сопровождала переводчица комендатуры, которую вы прислали с этой группой.

— Надя! — в один голос вскрикнули мы.

— Так точно! Она сказала, что прислана вами для того, чтобы немцам не чинили препятствий на кладбище. А что, товарищ гвардии полковник, разве это не так? — обеспокоенно спросил он.

— Так, да не так, — почесывая голову, неопределенно ответил Андрей Ильич и с сердцем воскликнул: — Вот, значит, куда девалась эта мерзавка!

— Не помните ли вы внешнего вида людей, сопровождавших дрожки? — спросил я старшину.

— Две женщины. Одна — молодая красивая блондинка, лет двадцати, с маленькой родинкой под глазом.

— Левым или правым?

— Не могу знать, в точности не припомню. А вторая — фрау лет сорока с чем-нибудь, худая, с темными глазами. Эта все молчала, отворачивалась от нас и вроде как бы плакала, прикрывая платком лицо, так что хорошо рассмотреть нельзя было.

— Большого или маленького роста? — продолжал я.

— Она сидела на дрожках рядом с гробом, не разобрав роста, — ответил старшина.

— А молодая?

— Эта шла вместе с мужчинами, не плакала, только очень спешила. Хотя спешили они все, а переводчица объяснила, что они торопятся скорее похоронить и засветло вернуться в город.

— Назад, конечно, пикто не возвратился?

— Никто! Я в двадцать два часа тридцать минут послал на пост к кладбищу двух бойцов выяснить, почему не вернулась эта группа, и поторопить ее.

— Молодец! Вы сообразительны, старшина. Ну и что же?

— Они еще не вернулись на заставу, когда меня вызвали сюда.

— Что было на подводе, кроме гроба?

— Один чемодан и небольшой баульчик.

Мне понравилась наблюдательность Глебова.

— Как держалась переводчица с вами?

— Спокойно. Немного поговорила о том, о сем. Сказала, что спешит.

По глазам и ответам старшины было видно, что он уже прекрасно разобрался в случившемся.

— Теперь опишите мужчин, их внешность, приметы.

— Лица у всех были тревожные, озабоченные. Ясное дело, хоронить своего родного собрались. Я так это и понял. Один из них хорошо говорил по-русски, у него как раз на руках и был пропуск комендатуры. Остальные молчали. Лица, скажу я, обыкновенные, кроме одного. Лет так сорока немец, с густыми бровями и чуточку хромой на одну... — старшина задумался и сейчас же добавил: — Левую ногу. Тут уж верно могу доложить — на левую ногу припадает.

— Почему вы уверены, что именно на левую?

— Когда они двинулись дальше от заставы, я им вслед смотрел, ну и точно помню, что на левую ногу хромал.

Наблюдательность Глебова положительно восхищала меня.

— Больше вопросов не имею, — сказал я коменданту.

— Что скажете о старшине? Прямо Шерлок Холмс, — улыбнулся Матросов.

— Все, старшина. Возвращайтесь обратно на заставу и следите внимательно за людьми и дорогой.

— Слушаюсь, товарищ гвардии полковник! — поднимаясь со стула, сказал Глебов.

— И вот что, старшина. Из города, как вы уже догадались, сбежала группа весьма опасных немецких шпионов. Вы один из немногих знаете об этом. Не проговоритесь никому, это первое, а второе — помните, что, воз-

можно, сегодня ночью будут еще попытки вырваться отсюда. Будьте начеку, завтра увидимся снова.

Глебов ушел. С минуту мы помолчали. Потом я сказал:

— Андрей Ильич, я думаю взять в свое распоряжение на несколько дней этого старшину.

— Сделайте одолжение. Он пригодится вам.

В комнату вошел сержант и четко доложил:

— Товарищ гвардии полковник, начальник поста сержант Потапов прибыл по вашему приказанию.

Как и можно было предположить, опрошенный нами начальник поста, расположенного не遠далеке от кладбища Ангелюс, не добавил ничего нового к тому, что мы уже знали. Единственно, что было ценно в его рассказе, это то, что группа немцев с гробом и переводчицей вошла в южные ворота кладбища и назад не возвратилась. Этот простоватый сержант явно был не чета ушедшему старшине. Его даже не удивило то, что до наступления ночи никто из немцев не вернулся обратно.

— Я думаю, что они или заночевали там в доме смотрителя, или же вернулись в город через северный проход.

Из беседы с ним выяснилось, что кладбище имеет три выхода — на север, запад и юг.

— Поставьте на всякий случай часовых у всех трех ворот. Утром мы приедем к вам, — сказал комендант.

— Уже сделано, товарищ гвардии полковник. Начальник заставы старшина Глебов передал мне об этом приказ, — доложил сержант.

Мы молча переглянулись с комендантом. Сержант удалился.

— Итак, какой у нас план действий? — спросил полковник.

— Думаю, что нам обоим сейчас следует лечь спать, хорошенько выспаться и завтра утром со свежими силами заняться этим делом. Ночью, куда бы мы с вами ни кинулись, мы никого и ничего не найдем, — сказал я.

— Правильно, спать так спать. Утро вечера мудренее, — согласился комендант, и мы разошлись по своим комнатам.

Однако я был уверен, что он, как и я, еще долго ворочался в своей постели.

Утром я вызвал к себе Насса.

— У меня к вам небольшое дело. Будьте добры через бургомистра выяснить точно, что за личность русский эмигрант Александр Тулубьев, сколько времени он находится в Шагарте, чем занимался при фашистах, насколько тесно был связан с ними — и вообще, все, что только можно узнать о нем.

— Это тот русский, что приходил вчера к вам? — осведомился Насс.

— Да. Когда сможете дать о нем точные данные?

— Сегодня к двенадцати часам дня. Это не будет поздно?

— Нет, как раз вовремя. А вы убеждены, что данные будут верны? Мне необходимы только точные сведения.

— Разумеется! Все, что я вам доложу, будет основано на проверенных данных. Все русские эмигранты, как и другие иностранцы, зарегистрированы в бургомистрате, о каждом из них собрано подробное досье.

Через час я приехал на кладбище Ангелюс. У входа меня встретили старшина Глебов и смотритель кладбища Крафт, предупрежденный старшиной. Обеспокоенный немец был крайне предупредителен, заглядывал нам в лицо, забегая вперед и подробно рассказывая о кладбище.

— Да, вчера сюда прибыли семь человек с одной русской женщиной, которая от имени коменданта приказала мне приготовить к половине десятого утра могилу у западных ворот. В ней должен быть погребен русский офицер, умерший в госпитале от ран. Она распорядилась посадить вокруг кипарисовые деревья и кусты роз. Господин комендант может не сомневаться, будет все сделано аккуратно, на совесть, место выбрано лучшее на всем кладбище, и уже заготовлены цветы...

— Где эти люди и русская женщина? — перебил его я. Смотритель озадаченно посмотрел на меня.

— Они еще засветло выехали обратно в город.

— А гроб?

— Здесь, в сторожке. Русская дама просила никого из немцев не подпускать к нему; она настоятельно подчеркнула, что таково приказание коменданта, — удивленно сказал немец и в беспокойстве спросил: — Извините, но разве я поступил не точно по ее указанию?

— Нет, все верно, — успокоил я смотрителя и, пере-

ведя его слова Глебову, сказал: — Пойдем, старшина, поглядим на этот гроб.

Но Глебов не склонен был спешить.

— Здесь какой-то подвох, товарищ гвардии подполковник, — сказал он. — Эта стерва недаром предупредила смотрителя никого из немцев не подпускать к гробу. Вы понимаете, в чем дело?

— Отлично понимаю, старшина, и поэтому не тороплюсь. Нужно сейчас же вызвать сюда саперов и посмотреть, что оставили нам фашисты в этом гробу.

— А зачем нам саперы? Ведь я по образованию радист и электрик, а за войну несколько воинских профессий узнал. Саперное дело, особенно по минной линии, изрядно освоил. А ну, Коврижкин, быстро на заставу! Пусть сюда приедут Пантюхов со щупом и Гриць с миноискателем. Вы разрешите, товарищ гвардии подполковник, ему туда и обратно на вашем мотоцикле слетать?

— Разрешаю, — сказал я и, повернувшись к ничего не понимавшему, обеспокоенному смотрителю, спросил его: — Где тут находится фамильный склеп баронов Фогель фон Гогенштейн?

— Прошу прощения, господин офицер, но семья баронов Фогель фон Гогенштейн своего склепа здесь не имеет и, насколько я знаю, хоронит своих усопших только в Берлине, на кладбище Вест-Крейце, где у них действительно имеется фамильный склеп.

— Я так и думал, — сказал я и перевел Глебову слова смотрителя.

Мне было несказанно обидно, что сбежавшие фашисты так легко и просто обманули меня. Ведь что мне стоило, прежде чем выдать это проклятое разрешение, навести справки у бургомистра или даже вызвать в комендатуру кладбищенского смотрителя и вот так же поговорить с ним!

На дороге послышался треск мотоцикла. С заставы приехали Пантюхов и рядовой Гриць, «наиболее прославленный в части минер», как отрекомендовал его старшина.

Мы двинулись к сторожке, в которой стоял оставленный немцами гроб. Смотритель Крафт, ничего, видимо, не подозревавший, открыв двери сторожки, хотел было взяться за гроб, чтобы помочь вынести его наружу, но я удержал его:

— Не надо. Стойте в стороне, а еще лучше, если не хотите взлететь на воздух, отойдите отсюда подальше.

Крафт побледнел, схватился за сердце и испуганно поспешил вон из сторожки. Глебов и Гриць обошли гроб вокруг, внимательно присматриваясь к нему.

— А ну, раскройте пошире двери, — вдруг сказал Гриць, — и окна тоже, а то свету мало...

Солдаты распахнули двери. Яркий свет ворвался в помещение. Нарядный глазетовый гроб с золотыми цветами и серебряными позументами заиграл в лучах солнца.

— Вишь, дьяволы, сколько цветов да ленточек навезли с собой! — сказал минер, указывая на букеты и венок, лежавшие на дубовой крышке гроба.

Глебов взял в руки миноискатель и, повернувшись ко мне, негромко проговорил:

— Товарищ гвардии подполковник, прошу вас и всех остальных удалиться.

Отойдя в сторону, мы прилегли за каменный памятник и оттуда стали наблюдать за работой Глебова и его друга, знаменитого минера Гриця. Они осторожно походили вокруг гроба, отойдя в сторону, посоветовались и снова подошли к нему. На этот раз Глебов, жестикулируя, стал в чем-то убеждать минера, на что тот коротко и энергично пскачал головой. Наконец старшина сердито махнул рукой и, подняв свой миноискатель, уже собирался обследовать им гроб, но Гриць с несвойственной для него быстротой схватил за руку и оттащил в сторону старшину. В свою очередь он стал что-то говорить Глебову, размахивая рукой. Потом оба замолчали, отошли к сарайчику и, присев на корточки, закурили. Было ясно, что минер сумел в чем-то убедить старшину. Сделав несколько затяжек и швырнув на пол папиросу, Глебов повернулся и пошел к нам. Минер не спеша вернулся к гробу и в раздумье остановился перед ним.

— Прогнал меня оттуда. Зачем, говорит, погибать вдвоем, — сказал старшина и присел рядом со мной. — Эти проклятые фрицы заложили там мину с двойным, а может, и тройным сюрпризом. Уж ежели Гриць сказал, так это верно.

Минер все в той же позе стоял над гробом. Затем, не спеша и не отводя глаз от крышки, свернул козью ножку и, закурив ее, снова обошел гроб. Подолгу затягиваясь, он

все разглядывал что-то, нагибаясь и как бы прислушиваясь к чему-то.

Вдруг минер опустился на колени и достал из кармана пилку и буравчик. Что он делал с ними, нам не было видно, но раза три он останавливался, поворачивая к нам свое вспотевшее лицо и молча покачивая головой. Наконец он осторожно просунул руку в проделанное им отверстие и нескончаемо долго шарил внутри рукой. Тут я вспомнил афоризм одного майора контрразведки: «У знаменитого картежного игрока, талантливого скрипача и настоящего минера должно быть до болезненности тонкое осязание, так сказать, интеллигентность в пальцах, иначе им надо бросать свое дело». Видимо, Гриць, долго шаривший в гробу, призывал себе на помощь всю чуткость своего осязания. Наконец он осторожно вытащил руку и, повернувшись к нам, кинул к дверям какую-то круглую свинцовую гайку.

— Капсюль, — тихо сказал Глебов, подбирая ее. — Теперь пойдет дело. Золотые руки у парня.

Но минер опять зашагал вокруг гроба, потом присел возле него, подумал, прислушался, вновь поднялся и минут пять неподвижно простоял на месте, напряженно вглядываясь в гроб.

— Да что он там, до ночи, что ли, копать будет! — с досадой сказал один из солдат.

— Молчи! Ежели Гриць задумался, значит, дело серьезное. Минеру торопиться некуда — кругом смерть, — настойчиво сказал старшина и, сложив рупором руки, крикнул: — Сеня, иди, что ли, на помощь?

Но минер не ответил, простоял еще с полминуты, повернулся и решительно пошел к нам.

— Ничего не выйдет, товарищ гвардии подполковник, надо рвать! У них там мина-недотрога двойного действия заложена, да, кажется, еще с камуфлетом. Никак не разберусь в системе, — сердито сказал он.

— Ну что же, рвать так рвать. Что нужно для этого?

— Можно расстрелять, но лучше всего подорвать веревкой. Прикажите вашему немцу принести веревку метров на пятьдесят. Мы сейчас здесь такой салют устроим, аж все покойнички из могил повыскакивают.

Я объяснил смотрителю, что нам требуется, и немец принес из дому два круга веревок. Связав их вместе,

минер пошел в сарай и, привязав один конец за ручку гроба, вернулся обратно.

— А теперь, товарищ гвардии подполковник, и вы, ребята, за тот памятник, а то как бы осколками не зашибло.

Мы залезли за большой гранитный, обложенный черным мрамором памятник. Странное дело, здесь были все люди обстрелянные, не раз видавшие смерть, но сейчас все нервничали. Глебов, этот мужественный человек, быстро чиркал спичку за спичкой, закуривая папиросу. Автоматчик, сидевший возле меня, вынул из кармана сухарь и медленно грыз его, устремив напряженно раскрытые глаза на сарай. Себя я поймал на том, что читал и перечитывал золотые, слегка выцветшие буквы, выбитые на мраморе памятника: «Полковник Иоганн фон Мюллер, погиб за родину и кайзера в бою с русскими под Варшавой 9 мая 1915 года. Мир дорогому праху. Верная жена Грета фон Мюллер».

— Все готово, товарищ гвардии подполковник, разрешите потревожить покойников? — раздался возле меня голос Грица.

— Давай, — сказал я.

Гриць дернул за веревку. Раздался тяжелый, двойной удар, и туча сизого дыма взлетела над сараем. Обломки бревен, доски, комья земли со свистом и воем разлетелись во все стороны, рикошетируя по крестам и каменным строениям кладбища. Потом все стихло, но дым не расходился, медленно оседая на землю.

— Готово. Сеанс окончен. На следующий — билеты не действительны, — сказал старшина, поднимаясь с коленей и хлопая по плечу лежавшего ничком, посеревшего от страха зрителя.

На месте сарая осталась куча щебня. Встревоженные птицы носились над кладбищем.

Полковник, ожидавший меня к завтраку, поделился со мной новостями.

Конечно, бароны фон Гогенштейны никогда не жили на улице Альберты-Луизы. Бургомистр, посетивший в мое отсутствие коменданта, сообщил, что члены семьи Гогенштейнов вообще редко бывали в Шагарте; лишь иногда кто-нибудь из них приезжал сюда по делам поместья, расположенного в десяти километрах от города.

— Кстати, выяснилась любопытная вещь! Документы и бумаги переводчицы Нади правильные, но сама она — фальшивка, — сказал комендант.

— Как это? — не понял я.

— На срочный запрос в отдел репатриации мне ответили, что Надежда Потаповна Корниенко была освобождена нашими войсками в имении прусского юнкера фон Пилау, где работала на свиноферме, но накануне отправки с эшелоном на родину, в Полтавскую область, внезапно заболела и скоропостижно скончалась. При вскрытии установлено отравление. Выданные ей репатриационные документы исчезли, и по этому поводу органами госбезопасности ведется расследование. Понятно? — закончил полковник и жестом пригласил меня к столу.

После завтрака полковник на санитарном самолете улетел в Познань.

Я остался комендантом города.

Спустя час я вызвал в свое распоряжение старшину Глебова и, оставив его при себе, посвятил во все детали сложной и загадочной истории. Старшина, не перебивая, выслушал меня, потом коротко сказал:

— Располагайте мной, товарищ гвардии подполковник.

По моему приказу все дороги были оцеплены постами, лес и рощица в окрестностях Шагарта прочесаны патрулями, но сбежавших из города фашистов и след простыл. В одной деревушке были задержаны трое скрывавшихся в ней немецких солдат, отставших при отступлении разгромленной германской армии. В самом городке задержали двух подозрительных женщин, пытавшихся выйти за запретную линию заставы, но тех, кого искали, не было. Так как далеко уйти они не могли, приходилось предположить, что сбежавшие были вывезены на специально прилетевшем за ними самолете или же где-то надежно укрыты своими соумышленниками.

Ровно в полдень в дверь постучал Насс.

— Садитесь. Принесли материал? — спросил я.

— Принес, — вынимая из портфеля бумаги, сказал Насс и положил их передо мной.

Я стал читать:

«Тулубьев Александр, царский кавалерийский офицер, эмигрант из Советской России, 55 лет. Без определенных занятий. Служил на конюшне у помещика фон Манштейна. Беспартийный. К нацистам не примыкал, был далек

от политической жизни и гитлеровского режима, хотя был арестован в 1943 году и просидел в местном гестапо 36 дней. Освобожден по просьбе приятеля — владельца конюшни фон Трахтенберга».

— Почему сидел и почему освобожден, вы не знаете? — спросил я Насса.

— Отказался после Сталинграда носить траурную повязку и вступить в фольксштурм, мотивируя свой отказ тем, что он не немец, а русский. А освободили потому, что Трахтенберг, который знал его раньше, убедил гестаповцев, что Тулубьев почти сумасшедший. Вообще же он безобидный и славный старик.

— Благодарю вас, — сказал я, пряча бумаги в стол.

В восемь часов пришел Тулубьев. Я был очень занят, и, признаюсь, мне было совсем не до него. Бывший ротмистр заметил это. Посидев минут десять, он стал прощаться.

— У вас есть дела? — спросил я.

— Какие у меня дела! — махнул рукой Тулубьев. — Последнее мое дело — конюхом работал при одной конюшне, да и та работа теперь кончилась, а ухожу потому, что вижу — не вовремя пришел, мешаю.

Мне стало жаль его.

— Дела всегда много, Александр Аркадьевич, и потому я с удовольствием воспользуюсь вашим приходом и отдохну. Пойдемте в столовую, посидим и отужинаем вместе. Согласны?

— Неужели вы мне окажете такую честь? — поднимаясь с места, дрогнувшим голосом спросил Тулубьев.

— Почему бы нет? — в свою очередь переспросил я.

Бывший гусар посмотрел на меня, потом тяжело вздохнул и сказал:

— А как нам здесь ввали про вас!.. На что я стреляный воробей, и то поначалу струхнул. А как увидел первого русского — остолебенел, как жена Лота...

— Это почему?

— Растерялся. Погоны увидел, наши российские погоны! Раскрыл рот, стою и ничего не понимаю, а потом подошел к одному офицеру и говорю: «Можно потрогать немного?» А он: «Пожалуйста, говорит, трогайте хоть до вечера». Я тронул — и вдруг как расплачусь... А офицер отодвинулся в сторону и говорит: «Вот так насвистался,

папаша». А я с самого утра в тот день ни капельки в рот не брал.

— А вы пьете? — спросил я.

— Пью, — серьезно ответил бывший ротмистр.

— Ну так и идемте в столовую, пропустим перед ужином по рюмочке, — сказал я.

Не знаю чем, но мне очень понравился этот своеобразный человек, один из немногих в этом городе не заглядывавший мне в глаза раболепно и ни о чем не просивший.

— Накройте на двоих, принесите ужин и бутылку хорошего вина, — приказал я вестовому.

Вино было разлито по бокалам, и мы чокнулись.

— За русскую армию, за Россию! — сказал Тулубьев и медленно выпил. — Мне, конечно, трудно говорить о том восторге, какой я испытал, когда увидел, как удирали отсюда немцы. Я сам бежал от Буденного и хорошо помню кошмарную эвакуацию из Новороссийска. Но разве это можно сравнить с тем, что творилось в Германии? Страх, паника, рев, сумасшествие... гомерический поголовный драп, когда в одну ночь пустели города, а хваленые фашистские генералы бежали быстрее своих солдат. На дорогах тысячи брошенных машин, десятки застрявших поездов, нескончаемые вереницы пешеходов. А я смотрю, и в душе гордость растет! Ведь это же наши, русские, гонят фашистов! И радость охватывает, и плакать хочется... Наши, да не твои, ведь ты — эмигрант, а не русский.

— А где вы работали конюхом, Александр Аркадьевич?

— Здесь же, в скаковой конюшне одного местного богача. Однополчанин мой фон Трахтенберг меня туда пристроил, — сказал Тулубьев.

— Как однополчанин? Разве вы служили в германской армии?

— Наоборот. Это он, Трахтенберг, служил в русской армии. Сейчас поясню, как это вышло. Ваше здоровье! — поднимая бокал, сказал бывший ротмистр. — А произошло это так. Отец этого фон Трахтенберга был генерал-лейтенантом старой русской службы и командиром третьего корпуса, расквартированного в районе Киева, а сын его Володька начал служить в нашем, пятом Александрийском гусарском полку корнетом. Так себе парень. Но была

у него одна особенность. Своеобразный талант был: любую подпись мог подделать, но как — артистически!..

Я насторожился.

— Командира ли полка, кого-либо из офицеров, даже целые письма под чужую руку писал. Этим и отличался, ну, а офицер был плохой... Одно время у меня в эскадроне субалтерном служил, вот оттуда у нас и знакомство повелось. Дрянцо он был порядочное. И оба они, и отец и сын, такие верноподданные были, такие ревностные русофилы и монархисты, что дальше некуда. Из лютеранства в православные перешли. В тысяча девятьсот четырнадцатом году рапорт на высочайшее имя подали с просьбой свою немецкую фамилию на русскую переделать. Из Трахтенбергов Боголюбовыми сделались, не захотели немцами быть, и говорить только по-русски стали.

А пришла революция — Боголюбовы наши опять Трахтенбергами стали и к Скоропадскому сбежали, а оттуда в Германию. Этот самый корнетиска (папаша-то его вскоре умер) и рекомендовал меня своему приятелю на конюшню. И любопытнейшая деталь — никогда он со мной не разговаривал, а если случалось иногда отдать приказание, то сквозь зубы, да и то по-французски. О том, что он у меня в эскадроне служил, ел и пил за моим столом, — ни слова... Я, конечно, не обижался. На кой это мне черт нужно? Спасибо хоть за то, что пристроил. Коней я люблю, в свое время трех строевых и одну скаковую держал. И в экстерьере, и во внутренних свойствах коня разбираюсь. В полку по этой части авторитетом слыл, и тут мне около лошадей легко и спокойно было. И вдобавок, спасибо ему, один раз в минуту жизни трудную выручил меня этот самый Володька.

— Каким образом?

— Да посадили меня гестаповцы в тюрьму. А он все же похлопотал, позвонил кому следовало, наговорил им, будто я вроде юродивого. Ну и выпустили.

— А за что же вас посадили? — спросил я.

— Ни за что, из-за пустяков. Их, голубчиков, в Сталинграде разгромили, и тут по приказу Гитлера был объявлен всеобщий трехдневный траур. Я, конечно, носить его отказался. Почему я должен оплакивать немцев? Донесли на меня. Сейчас же на цугундер, раз пять на допрос водили, расстрелом пугали. Потом на фронт послать хотели. Но Трахтенбергу не очень-то улыбалось, чтобы раз-

дули это дело дальше. Как-никак он же меня тут устроил, и на него могла пасть некоторая тень... а здесь, в Шагарте, у него было огромное влияние. Нажал где нужно — признали юродивым и отпустили на волю. Я вернулся к своим коням.

— А где теперь ваш хозяин?

— Недель пять назад сбежал отсюда и коней своих породистых увел в Ольденбург, поближе к голландской границе.

— А Трахтенберг-Боголюбов?

— А этот здесь. Да, позвольте, всего лишь два дня назад я встретил его у вас в комендатуре. Разряженный, расфранченный и, представьте себе, опять говорит по-русски; носа передо мной уже не задирает и даже за руку поздоровался, по имени-отчеству назвал.

— Был здесь? — переспросил я. — А каков на вид этот господин?

— Высокий, несколько англазированного вида, с прекрасным пробором, вежлив, даже вкрадчив, но держится с достоинством и апломбом. А что такое? — заинтересовался Тулубьев.

— Так, между прочим. А вы не знаете адреса Трахтенберга?

— Знаю. Площадь Людендорфа, четыре, второй этаж.

— Не оказали бы вы мне любезность зайти к господину Трахтенбергу и пригласить его ко мне завтра, к десяти часам утра?

— Охотно. Если надо, я с удовольствием приволоку его сюда, — сказал бывший гусар.

Ужин подходил к концу.

— По стаканчику чаю, — предложил я.

— Никак нет, не имею дурной привычки мешать бабское питье с благородным французским напитком. Вот, если разрешите, выпью еще рюмочку на дорогу, — ответил мой собеседник и медленно выпил рюмку «Мадам Дюбарри».

Мы попрощались, и старый гусар удалился...

Утром он ко мне явился встревоженным.

— Трахтенберга нет! Оказывается, вторые сутки как исчез. Скажите, эта сволочь не напакостила вам?

Не отвечая на его вопрос, я сказал:

— Александр Аркадьевич, зайдите ко мне завтра после полудня. Может быть, вы мне будете очень нужны.

Бывший гусар вскинул голову, вытянул по швам руки и по-солдатски ответил:

— Слушаюсь, господин подполковник!

Обычный прием посетителей начался. У меня уже не было переводчицы, и мне самому приходилось вести беседы с немцами, которых день ото дня прибывало все больше и больше. Это, разумеется, значительно осложняло мою работу. Утром дважды приходил бургомистр, сопровождаемый Нассом. Еще две пекарни были пущены в ход. Грузовые машины завезли на склад свыше трехсот тонн картофеля. Керосин, найденный энергичным Нассом в полуразрушенных подвалах какого-то фашистского учреждения, был перевезен на склад. Сейчас Насс просил разрешения собрать совещание местных врачей и владельцев аптекарских магазинов, чтобы наладить организованное медицинское обслуживание населения.

Уже уходя, Насс сказал:

— Кстати, если вам хотя бы временно нужна переводчица, то, с вашего позволения, я пришлю одну даму, прекрасно говорящую по-немецки, по-английски и по-русски. — Он помолчал и медленно добавил: — Рекомендовать ее могу, но, ручаться не смею, хотя товарищи, работавшие здесь при Гитлере в подполье, отзываются о ней как о человеке надежном, проверенном, оказавшем им немало ценных услуг.

Теперь, когда волей судеб я попал в самую гущу секретной войны, моим основным чувством стало недоверие. Меня окружали подвохи, ложь и предательство. Среди всех этих вежливых и любезных людей я был одинок, а потому и насторожен, но вместе с тем отлично понимал, что только через них найду ключ к тайне, заключавшейся в украденной картине и в истории с гробом.

— Рекомендации совершенно достаточно, — ответил я Нассу.

Передо мной вновь потянулись благообразные немки в выглаженных платьях и немцы в выутюженных костюмах. Руководствуясь в основном интуицией, я разрешал их несложные, однообразные вопросы.

В приемную вошла хорошо одетая молодая женщина с белокурыми волосами, завязанными узлом, высоким лбом и упрямым, резко очерченным подбородком. Голу-

бие с зеленоватым оттенком глаза были особенно привлекательны и выделялись на ее загорелом лице. Старшина посторонился и проводил ее долгим, любующимся взглядом.

— Садитесь. Чем могу служить? — спросил я по-немецки, но дама приятным и сильным контральто ответила по-русски:

— Я пришла, чтобы служить вам. — И, слегка улыбувшись, пояснила: — Я та самая переводчица, о которой вам говорил господин Насс.

Я с настороженным вниманием смотрел на нее. На вид ей можно было дать не больше двадцати пяти лет.

— Вы немка?

— Нет. Я латышка, из Риги. В Германии нахожусь уже восемь лет. Я была замужем за немцем. Мой муж умер в пачале этой войны. — И она протянула мне документы, удостоверяющие ее слова.

«Эльфрида Вебер», — прочел я. После документов, предъявленных сбежавшей переводчицей Надей, я не был склонен доверять паспорту этой дамы, тем более что, если верить классическим шпионским романам и мемуарам, противник обычно всегда подсылает именно обаятельных красавиц. Но делать нечего. Одного моего знания немецкого языка было недостаточно, переводчица была нам нужна, и, если все ее рекомендации правильны, она бы очень пригодилась мне. Во всяком случае, чем ближе пахотятся ко мне враги, тем легче будет обнаружить и ликвидировать их. Я еще раз внимательно оглядел женщину.

— Очень хорошо. С завтрашнего дня прошу вас начать работу, — сказал я.

— Благодарю вас. Только зачем откладывать на завтра? Я готова уже сейчас. И зовите меня Эльфридой Яновной. Так в Риге звали меня мои русские друзья.

— Пожалуйста.

Переводчица села сбоку в кресло. Глебов, все еще с восхищенным видом разглядывавший ее, впустил в приемную очередного посетителя. Прием продолжался.

Неожиданно меня вызвал дежурный.

— Я сейчас вернусь, — сказал я, уходя.

На третьем этаже у дверей моей комнаты стоял младший лейтенант с красной комендантской повязкой на ру-

каве. Увидев меня, он подтянулся, одернув края гимнастерки.

— Товарищ гвардии подполковник, начальник караула младший лейтенант Рябцев явился с донесением.

Я только хотел спросить его, почему он так спешно и таинственно вызвал меня сюда, как лейтенант, пригнувшись ко мне, быстрым шепотом сказал:

— Происшествие случилось, чепе произошло...

— В чем дело?

— Немца одного возле города выследил... старика. Наши ребята заметили, где вчера ночью самолет кружил над лесочком... у озера...

— Войдемте ко мне в комнату, там покажете мне на карте это место и доложите обо всем.

Плотно закрыв дверь, я подвел лейтенанта к карте и стал расспрашивать его.

— Этот самолет кружил больше часа над лесочком. Ребята решили, что свой, на том и успокоились. А сегодня недалеко от того места ефрейтор Ильин в кустах немца обнаружил.

— Что делал немец?

— Стоял в кустах, прислушивался. Должно быть, почувял, что кто-то идет...

— Дальше.

— Ну конечно, Ильин навстречу к нему пошел и стал кричать: «Хальт!» Немец остановился. Ильин к нему ближе. Вдруг старик как даст в него из пистолета, так Ильин на землю и свалился...

— Убил?! — вскричал я.

— Никак нет, вроде военная хитрость. А немец обратно в кусты — и ходу. Ну, тут его рядовой Шарафутдинов и срезал.

— Насмерть?

— Наповал. В одно ухо вошло, в другое вышло, — обстоятельно доложил лейтенант.

— А где же был Шарафутдинов?

— В дозоре, в кустах лежал. У нас такое правило: один ходит, другой в кустах ползет. В случае чего — ошибок не будет.

— Я и вижу, что без ошибки. От одного уха до другого, — засмеялся я. — Ну и что же дальше?

— А дальше следует такая картина. Походили наши ребята — к ним еще трое на выстрел подоспели, — поща-

рили по кустам и нашли сначала саперную лопатку, потом ямку свежевырытую, а в ней — фрицевский парашют...

— Где он? — спросил я.

— Пока там. Я возле ямки караул поставил и сейчас же сюда явился. Также и фрица приказал пока не трогать.

— Молодец, лейтенант! Правильно поступили. Что нашли у убитого?

— Карманный фонарик, записную книжку и вложенную в нее исписанную бумагу. Письмо вроде, — протягивая мне аккуратно связанный сверток, ответил лейтенант.

— Сейчас мы поедем туда. Кто-нибудь из немцев знает об этой истории?

— Никак нет. Место глухое, кругом лес, и только посреди небольшая полянка. Дорога в стороне, немцев поблизости не бывает.

— И отлично. Надо, чтобы бойцы навесили на рты кренкий замок. Понятно?

— Так точно, понятно, товарищ гвардии подполковник!

— Вы какое окончили военное училище? — поинтересовался я.

— Никакого, товарищ гвардии подполковник. За отличие в боях произведен в офицеры. — Он помолчал и, хитро улыбнувшись, добавил: — Уже пятнадцать дней.

Я пожал ему руку и пошутил:

— Ну, если так пойдет дело, товарищ Рябцев, быть вам вскоре генералом.

И мы, смеясь, вышли из комнаты и спустились вниз, к поджидавшей машине.

Уже сидя в автомобиле, я вызвал из приемной старшину и предупредил его, что выезжаю ненадолго по срочному делу.

— Прекратите прием посетителей до моего возвращения. Смотрите, старшина, в оба!

— Есть, смотреть в оба! — гаркнул Глебов, вытягиваясь во фронт.

Немец лежал, подобрал под себя левую ногу и раскинув руки. Я наклонился над ним. Несмотря на седые виски, он вовсе не был стариком, как назвал его лейтенант. Это был мужчина лет сорока с холеным, интелли-

гентным лицом, так не гармонировавшим с его грубой, рабочей одеждой.

— Раздеть его! — приказал я.

Под костюмом рабочего мы обнаружили тонкое шерстяное белье. На кальсонах стояло клеймо «Рим. Карачиола-Экстра». Станный рабочий в дорогом заграничном белье. Пальцы этого «труженика лопаты» были белыми, пухлыми, с хорошо отполированными ногтями. Я снова вспомнил «Штабс-капитана Рыбникова». Там японский шпион также носил шелковое белье под грубым капитанским мундиром.

Парашют был обычный, немецкий. В карманах убитого, кроме перечисленных выше предметов, не нашли ничего — ни денег, ни еды. Это было странно. Ясно, что в городе у него были сообщники, у которых он рассчитывал найти приют.

— Тут еще нашли на фрице шоколаду три плитки, флягу с коньяком да банку консервов, — как бы угадывая мои мысли, сказал лейтенант. — Шоколад ребята второпях съели, банку закинули в кусты...

— А коньяк? — сдерживая улыбку, спросил я.

— А коньяк пролили... опрокинулась фляжка, — сказал Рябцев.

Итак, шпион все же захватил с собой провизию. Но этот ограниченный, однодневный паек отнюдь не опровергал моих догадок.

— Зарыть убитого в канаве. Остальным оставить лесок и вернуться к своим местам. За воздухом и этим местом вести секретное наблюдение, вечером приеду снова, — сказал я лейтенанту и, поблагодарив бойцов за примерную службу, забрал парашют убитого и поехал обратно в город.

После обеда, запершись в своей комнате и положив на стол фонарик парашютиста, я занялся письмом и книжкой, найденными на убитом. Я просмотрел письмо на свет, пытаюсь найти какую-нибудь светопись или буквы, наколотые иглой, но ничего подозрительного не оказалось. Бумага была основательно заполнена жалобами какого-то Иоганна на своего зятя Швабе, обижавшего всю родню Иоганна. Я осмотрел письмо и, отложив его, принялся за записную книжку парашютиста. Она была в потрепанном кожаном переплете. В ней было заполнено

всего две странички, но это оказалась запись расходов, по-видимому, весьма мелочного человека, привыкшего с педантичной пунктуальностью заносить сюда каждый истраченный на кружку пива или на почтовую марку пфенниг.

Я дважды перечел эти записи и задумался. «Может быть, каждая цифра здесь что-нибудь означает. Но как разобраться в этом?» Голова была тяжелая, мысли путались, и мне захотелось спать. Я кликнул вестового.

— Принеси-ка, пожалуйста, с кухни горячего крепкого чая, да поживее, — сказал я, думая этим средством прогнать охватившую меня дремоту. «Вот сейчас выпью стаканчик-другой настоящего байхового чая и снова возьмусь за эти проклятые записки», — подумал я и прилег на диван.

Сколько времени я спал — не знаю, может быть, полчаса, может, и больше. И так же внезапно поднялся с дивана, как внезапно и заснул на нем. «Работничек!» — издеваясь над самим собой, подумал я, протянув руку к стакану, и вдруг остановился. Стакан с чаем был прикрыт тем самым письмом Иоганна, которое было найдено на парашютисте. Но теперь между уже прочитанными, знакомыми мне строками, написанными широким, размашистым почерком, местами проступали зеленоватые буквы. Я взял листок в руки и прочел: «...вам совершенно необходимо следить за передвижением русских войск. На той же волне, в те же самые часы, что и раньше, после подачи позывных, регулярно передавайте все, что обнаружите, особенно дислокацию, передвижение и нумерацию советских частей...» Здесь текст прерывался.

— Харченко! — так неистово закричал я, что мой вестовой, по-видимому тоже прикорнувший в соседней комнате, вскочил с затрепавшего под ним дивана и пулей влетел ко мне. — Это ты прикрыл стакан письмом?

— А як же ж, звичайно я... чтобы, пока вы спите, мухи в чай не полетели.

— Мухи! В чай! — закричал я, вскакивая с места. Испуганный Харченко попятился к дверям.

— Так это, значит, ты, Трофим Корнеич? Ну молодец, ну спасибо! Знатную услугу ты мне оказал. А теперь беги, красавец, на кухню и неси сюда побольше крутого кипятку да утюг, утюг электрический раздобудь. Ну, живо, маг и чародей Харченко! — весело кричал я, выталкивая

из комнаты ошалевшего, ничего не понимающего вестового.

— Есть, утюг и кипятку покруче! — крикнул он и выскочил из комнаты.

Его величество случай вмешался в игру — и на этот раз на нашей стороне. Симпатические чернила... Как я, дурень и ротозей, не сообразил сразу, что у шпиона, заброшенного в тыл, не могло ни с того ни с сего быть в кармане невинное, обывательское письмо! Вестовой со своей трогательной заботой о моем стакане чаю совершенно неожиданно помог мне. Горячий пар проявил симпатические чернила, и зеленоватые строки инструкции выступили на бумаге. Пока это лишь маленький отрывок, но сейчас мы прочтем весь текст — и, несомненно, узнаем важные вещи.

Харченко внес полуведерный, пышущий жаром, облупленный чайник. Я поставил его прямо посреди нарядного перламутрового столика и стал водить над паром письмом. Поглощенный своим делом, я в эту минуту забыл обо всем. Устремив напряженный взор на листок, я ждал появления зеленоватых строк. Прошла минута, вторая — бумага чуть вздулась, слегка покоробилась от пара, и на ней, словно наплывом, стали сначала бледно, потом все яснее и резче появляться ожидаемые мной строчки. Новый участок листка покрылся буквами.

— Вы просили электрический утюг. Вот он, прошу вас, — раздался сзади меня голос.

Я вздрогнул от неожиданности. В дверях стояла переводчица, спокойно глядя на меня.

— Ваш вестовой сказал мне, что вам срочно требуется, — протягивая утюг, добавила она.

Бумага уже вся покрылась ровными зелеными линиями строк. Прятать ее теперь было бы совсем глупо, переводчица, конечно, видела, как я проявлял над кипятком бумагу.

— Спасибо... Только в другой раз, когда входите ко мне, прошу стучать! — сердито буркнул я, беря из ее рук утюг.

— Извините, но я стучала дважды, вы, наверное, не слышали. Ваш вестовой направил меня сюда, — сказала она и очень спокойно продолжала: — Это, несомненно, написано разведенным порошком антипирина,

— Чем?

— Антипирином, средством от головной боли. Для него как раз характерен этот зеленый цвет под действием влажного тепла.

— А вы... откуда вы знаете такие премудрости? — разглядывая Эльфриду Яцовну, спросил я.

— Я училась в Мюнхенской художественной академии. Мой покойный муж тоже был художником, и незаурядным.

— Ну и что же?

— А то, что у нас еще на подготовительном курсе изучали рецепты всех красок, в том числе и тех, которые обнаруживаются под влиянием различных реактивов. Если хотите, я в три-четыре урока преподам вам всю эту премудрость.

— Вот как! — протянул я и убрал в сторону листок.

Молодая женщина улыбнулась и спросила:

— А вы, вероятно, решили, что я изучила это в каком-нибудь ином месте? Не-ет, господин подполковник, я обыкновенная женщина, далекая от всего, что не касается непосредственно меня. Но если вам не очень неприятны мои советы, то я должна вам сказать кое-что. Можно?

— Говорите, — сказал я, глядя в ее большие зеленоватые глаза.

— Обратите особое внимание на фонарь, который вы, вероятно, приобрели здесь. Мне знакомы фонарики этой конструкции, и я, и господин Насс, если это будет необходимо, расскажем вам о них...

Она выжидающе смотрела на меня. Я промолчал.

— Мне можно идти? — не дождавшись ответа, спросила она.

— Пожалуйста, — сухо ответил я.

Когда она вышла, я позвал вестового.

— Стучалась переводчица ко мне?

— Так точно, раза два стукнула. Тильки вы, товарищ начальник, ничего не чули, так я и казав ей, щоб вонашла в горницу, — ответил Харченко.

— В другой раз входи сам и никого не впускай в комнату! — приказал я и, заперев дверь, принялся нагревать листки.

Теперь уже можно было прочесть весь текст. Он содержал подробно изложенное шпионское задание. Что же удивительного? Хотя гитлеровцы и доживают свои последние дни, они все еще пытаются остановить наше

наступление. Я стал переписывать проявленный текст, чтобы отослать его в штаб армии. Некоторые буквы расплылись, и я боялся напутать, приняв одно немецкое слово за другое. Чтобы лучше разглядеть зеленые строчки, плохо видимые в полумраке комнаты, я машинально схватил лежавший рядом фонарик, нажал кнопку и направил свет на бумагу. К моему удивлению, свет оказался синим, но буквы действительно значительно выиграли в отчетливости и резкости. Под светом фонаря на бумаге обнаружились мельчайшие неровности и царапины, о которых нельзя было и подозревать.

«Пожалуй, переводчица права, — подумал я, — фонарик, оказывается, с секретом». Опустив занавески и устроив в комнате полную темноту, я стал с лихорадочной поспешностью водить лучом по письму. Но все было напрасно. Больше на бумаге ничего не появлялось.

Тут я вспомнил о записной книжке. «Попробуем допросить ее с помощью фонаря», — решил я и принялся за дело.

Первые странички, где владелец записывал количество выпитых в разных пивных кружек пива и цены на сосиски, не содержали никакой тайнописи. Но когда я перешел к следующим — чистым, дело приняло иной оборот. На первой же из них слабым фосфорическим блеском вспыхнули строчки. Я прочел:

Пароль — Страус.

Волна — 19, 73.

Час передачи — 9.30 ежедневно.

Час приема — 13.45 ежедневно.

Позывные — четыре длинных и один короткий, за ним замедленное «а».

Далее следовало:

«С-41 после передачи инструкций должен немедленно вернуться обратно. Вместо него в помощь вам прибудет на одни сутки С-50. Этот агент должен находиться на положении С-С-5. Торопитесь с присылкой искомого. С каждым часом оно становится ценней и необходимей. Генрих».

Очевидно, все это было написано каким-то люминесцентным составом, светящимся под действием ультрафиолетовых лучей, пропускаемых кварцевым стеклом электрической лампочки.

Я взглянул на часы. Скоро семь часов. В девять я ре-

пил быть у лейтенанта Рябцева. Самолет с агентом С-50 мог уже сегодня спизиться на лесной площадке.

Вошел Харченко и, сонно глядя на меня, доложил:

— Товарищ гвардии подполковник, до вас пришли.

— Кто?

— Та той, шо вчора виньцо з вами пив та все про Россию балакав.

— Тулубьев?

— Так точно, вроде как вин.

Было уже восемь минут восьмого. Надобно спешить. Черт побери! Опять как-то некстати пришел этот человек. Впрочем, я же сам вчера сказал, чтобы он зашел.

— Зови его! — приказал я Харченко.

Дверь отворилась, и бывший гусар вошел в комнату.

— Привет, Александр Аркадьевич! — сказал я, глядя в его открытое квадратное лицо и бесхитростные глаза.

Конечно, с точки зрения настоящего контрразведчика, я поступал безрассудно, даже глупо, но тем не менее я задержал в своей руке его крепкую, шершавую ладонь и спросил:

— Какая ваша самая заветная, великая мечта?

Тулубьев пожал руку и тихо произнес:

— Умереть на своей земле.

— Едем, Александр Аркадьевич, едем, — беря его под руку, сказал я. — У вас, может быть, появится шанс к этому.

Мне сейчас мог очень пригодиться еще один русский человек.

Тулубьев поднял голову и, ни о чем не расспрашивая, пошел за мной.

Я сел в машину, посадив Глебова рядом с собой, а гусара с шофером. Машина быстро понеслась вперед.

— Ну, что нового, старшина? — спросил я.

— Пока ничего. После вашего отъезда беседовал с Эльфридой, насчет фрицев интересовался, — сказал Глебов.

— С кем, с кем? — переспросил я.

— С новой переводчицей. Ее Эльфридой зовут, ничего, хорошая особа, — одобрительно отозвался старшина.

— Да, красивая женщина. Только за ней, старшина, приглядывать надо.

— А я и так глаз с нее не спускаю, — сказал Глебов.

— Я и вижу, что глаз не спускаете, а это уж последнее дело. Понимаете?

— Понятное дело, — согласился старшина. — Не беспокойтесь, товарищ гвардии подполковник.

Машина, делая крутые повороты мимо разрушенных домов, наконец выбралась за город. Спустя некоторое время мы подъехали к заставе. У самого здания нас встретил младший лейтенант Рябцев. Мы зашли в сторожку, уселись возле пылавшей печурки и стали ждать ночи.

К вечеру засвежело, стал моросить мелкий дождь, затем он перешел в ливень. Холодные порывы ветра качали деревья, тяжелые струи дождя шуршали о стекла окон и глухо барабанили в крышу. Время от времени грохотали в небе раскаты ранней весенней грозы и острые, ломаные зигзаги молний прорезали ночь. На секунду черная поляна и мокрые деревья озарялись резким, мгновенным светом, и потом все снова окутывала черная грохочущая темнота.

Я взглянул на часы. Было уже около десяти часов.

— Пора. Надо идти занимать поляну, — сказал я лейтенанту, но ему, разогревшемуся крепким сладким чаем, видимо, не очень-то хотелось идти в эту холодную, мокрую ночь.

— Я так думаю, товарищ гвардии подполковник, навряд в такую погоду фрицы самолет сюда направят. Разве ему сесть в эту темень? Во-он как ветер гудит! — прислушавшись к вою ветра, сказал младший лейтенант.

— А вот мы это и проверим, — ответил я. — Работа диверсантов и шпионов тем и отличается от работы остальных людей, что такая погода очень удобна для их дел. Итак, лейтенант, берите плащ-палатки — и на поляну. Время не ждет.

— Александр Аркадьевич, — обратился я к Тулубьеву, — вы намного старше всех нас. Мне кажется, вам лучше было бы переждать здесь, в тепле, чем болтаться с нами без сна в непогоду.

— Вы мне оказали доверие и честь, привезя сюда. Я, конечно, догадываюсь, о целях ночной экспедиции. Нет меры моей благодарности, — волнуясь, заговорил Тулубьев. — Но если вы продолжаете верить мне, то не гоните. Куда вы, туда и я! Всю свою кровь, всю жизнь, весь остаток моей жизни я с радостью готов отдать за ту секунду, когда вы позвали за собой Александра Тулубьева, хоть и нелепого, но русского, до последней своей кровинки русского человека. И — видит бог, в которого верю, — не лгу.

Голос его сорвался. Я молча взял его за руку и повел к дверям. Спустя минуту я, Глебов, Тулубьев, лейтенант и трое сопровождавших нас солдат цепочкой, следуя друг за другом, шлепая по грязи и лужам, медленно побрели к лесу, озаряемые вспышками беснующихся молний. Наконец мы добрались до канавы, вышли по ней к перелеску и очутились на поляне.

— Не зажигать огня! — приказал я.

Лейтенант развел бойцов по местам и затем вернулся к нам. Мы расположились под большим деревом, хотя оно вовсе не защищало нас от потоков дождя. Дождь лил не переставая, но молнии уже реже озаряли темноту. Раскаты грома стали затихать. Было без двадцати двенадцать. Скоро полночь, но ожидаемого нами гула мотора не было слышно. Монотонный шум дождя и шелест листьев навевали дрему. Слипались глаза, и сильно хотелось спать. Возле себя я услышал сочный, продолжительный зевот Глебова. Старшину, прикрытого плащ-палаткой, по-видимому, тоже одолевал сон. Еще одна запоздалая молния прострочила темноту, громыхнул гром, и снова стало темно и тихо. Я полуоткинулся назад, чувствуя, что касаюсь широкой теплой спины гусара. Вдруг вдалеке послышалось какое-то жужжание. Оно ослаблялось, пропадало и снова усиливалось, пробиваясь сквозь мерный шум дождя.

— Самолет, — сказал Тулубьев.

Задремавший было старшина вскочил на ноги, и мы, сжимая автоматы, притаились под деревом, словно боясь, что с кружившего где-то над нами самолета смогут нас увидеть.

Я взглянул на флюоресцирующий циферблат своих часов. Было ровно двадцать четыре часа. Далеко в стороне слабо блеснула молния, отдаленно прогремел гром, и в нем на мгновение потонул рокот кружившего над поляной самолета. Я терпеливо ждал. Так снова и снова в черной высоте пролетал над нами невидимый самолет, но он даже ни разу и не снизился над поляной. Быть может, он ждал условного сигнала с земли, но, не зная ни цвета, ни количества сигналов, я не пускал в ход электрический фонарь. Самолет, пройдя еще один круг на большой высоте, пошел обратно на запад, и вскоре рокот его моторов слился с шумом затихавшего дождя.

— Ушел, гад! Наверно, побоялся сесть, — недовольно сказал старшина.

— Надо идти до дому. Я же говорил, что в такую погоду ему не сесть на полянку, — пробурчал лейтенант.

Я снова взглянул на часы. Сорок две минуты первого. Вражеский самолет покругил над нами свыше сорока минут. Ясно, что он не случайно залетел сюда. По-видимому, это был небольшой, типа нашего По-2, связной самолет. Что же помешало ему приземлиться? Вероятнее всего, отсутствие условных сигналов с земли напугало пилота, и он повернул обратно. Во всяком случае, надо было дожидаться утра, тем более что дождь уже затих и только мокрые ветви стряхивали на нас тяжелые капли.

— Будем караулить здесь до утра. Сейчас час ночи, до рассвета не так уж долго, будем сидеть и ждать. Можно курить, но только под плащами, — разрешил я и снова присел на старое место.

Но теперь уже не было сна. Мой мозг лихорадочно работал. Что бы ни помешало высадке С-50, это была наша неудача. Она сокращала наши шансы на раскрытие шпионской банды.

Покурив, мои спутники прилегли и мгновенно захрапели. Я же еще долго сидел возле них, обескураженный безрезультатностью нашей экспедиции. Рядом, также ни на секунду не сомкнув глаз, сидел Тулубьев.

Восток между тем постепенно светлел. Сначала он посерел, потом по нему прошли быстрые дрожащие тени, небо сразу потемнело и усеялось тысячами ярких мерцающих звезд. По деревьям пробежал короткий, но резкий ветерок. Стало еще холоднее, и я поглубже влез в свою плащ-палатку. Прошло еще полчаса. Вдруг край горизонта словно пронизала алая кайма, она быстро росла и светлела, затем снова поблекла, и ночь уступила место серому, быстро поднимающемуся рассвету. Над верхушками деревьев зазвенели робкие одиночные голоса птиц. И вот сразу выкатилось солнце, брызнув лучами по лесу, поляне и еще не просохшей земле. Туман таял, его разорванные клочья кое-где цеплялись за низкие кусты.

Я подвинулся и разбудил своих заспавшихся товарищей. Выйдя из леска, мы очутились на полянке, в самом конце которой виднелись фигуры наших солдат. Двое из них копошились, склонившись над какой-то бесформенной кучей, а третий, размахивая пилоткой, бежал нам навстречу. Подбежав к ним, мы увидели смятый, нераскрывшийся парашют и под ним мертвого человека. Когда бойцы пере-

вернули его лицом вверх, я чуть не вскрикнул от изумления. Передо мной лежал барон Фогель фон Гогенштейн. В эту минуту к нам, запыхавшись, подбежал Тулубьев.

— Вот тебе и ра-аз, Володька Трахтенберг! — изумленно проговорил он.

Потом старый гусар повернулся ко мне и, почесывая затылок, разочарованно сказал:

— Кажется, я упустил свой единственный шанс, господин подполковник.

— Ничего, Александр-Аркадьевич. У вас впереди могут быть еще несколько подобных, — утешил я его и принялся обыскивать разбившегося немца.

...Едва я вернулся в комендатуру, как меня потребовали к аппарату. Вызывал из штаба армии генерал, начальник тыла, которому перед своим отъездом обстоятельно доложил обо всем Матросов.

Я рассказал ему о происшествиях.

Во время нашей беседы генерал неожиданно заговорил в очень благожелательном тоне о моей новой переводчице.

— Так вы уже знаете о ней? А я только что собирался доложить вам, — сильно удивившись, сказал я.

Но генерал перебил меня:

— И мы знаем ее, знают ее и особые органы армии. Это хороший работник, с очень солидными рекомендациями.

Проговорив это, он вновь вернулся к основной теме нашей беседы.

— Действуйте, товарищ гвардии подполковник, по вашей интуиции и инициативе. Я вижу, что хотя обстановка у вас сложна и запутанна, но вы на верном пути. Информировать меня о ходе дела. Если надо, вызывайте меня в любое время дня и ночи. А теперь идите спать, вам надо отдохнуть, а мне возвращаться в Военный совет.

Итак, у нас в руках был специальный пароль, позывные и длина волны шпионской радиостанции. Теперь следовало выяснить, где она находится. Особого труда для нас эта задача уже не представляла, так как тайные радиостанции обычно обнаруживаются с помощью простых пеленгаторных установок, и Глебову, радиотехнику и от-

личному специалисту, не стоило бы большого труда обнаружить ее местопребывание.

— Принцип таких поисков очень прост, — рассказывал мне Глебов, — и заключается в том, что радиоприем производится не на обычную антенну, которая висит над крышей, а на специальную рамочную антенну. Максимальная слышимость передачи получается тогда, когда плоскость рамки направлена на передающую станцию. Стоит только отклонить рамку, как слышимость ослабляется. С помощью рамочной антенны мы легко определим направление шпионской радиоволны, а установив две такие рамки в разных местах, мы найдем и точку пересечения их направления. Это и будет место, где находится вражеская станция, — начертив две сходящиеся линии, закончил старшина.

Приготовив два приемника с рамками, мы с нетерпением стали дожидаться работы тайной радиостанции. Глебов и специально вызванный лейтенант из радиоузла армии, вооруженные наушниками, уже заняли свои места. Вдруг они насторожились и начали прием фашистских позывных.

Им удалось очень быстро уточнить координаты вражеской радиостанции, а через полчаса мы уже окружали нарядный двухэтажный коттедж с черепичной кровлей, стоявший среди густого, но еще по-весеннему обнаженного сада. С высокой стены свисал белый флаг — знак полной капитуляции и мирных отношений с нами. Держа в руках автоматы, мы осторожно перелезли через невысокую железную ограду с бронзовыми львами и орлами, вцепившимися лапами в прутья. С южной стороны, там, где блестел пруд, заходил со своими людьми лейтенант. Мы пробрались во двор особняка и, прячась среди аккуратно подстриженных кустов сирени, подошли к дому. Старшина схватил меня за плечо и кивком показал вверх. Над крышей виднелась мачта, на которой была натянута антенна. Провод от нее спускался в крайнее окно второго этажа. Я подошел к подъезду. Охранявший меня автоматчик поднял руку с зажатой гранатой. Старшина заглянул в окно. Все было тихо. Я взялся за ручку двери и осторожно повернул ее влево. В ту же секунду раздался сильный, непрекращающийся звонок, и во втором этаже показалась и исчезла чья-то голова. Глебов, не ожидая результатов моей возни с дверью, со всего размаху выбил

прикладом раму, брызги стекла со звоном разлетелись по полу, и старшина, прикрывая шинелью голову, бросился внутрь сквозь разбитое окно. Я открыл с помощью отмычки дверь, и мы побежали гурьбой по лестнице вверх, куда уже устремился Глебов.

— ...раскрыт. Дом окружен русскими... спасаюсь... — довольно ясно слышалось за дверью, в которую ломился старшина.

Мы нажали на нее, она не поддавалась. Голос смолк. На этот раз моя отмычка действовала лучше, и я быстро справился с дверью. В комнате царил полумрак. По-видимому, шпион, убегая, позабыл выключить передатчик: выпрямительная лампа светилась в полутьме таинственным, мерцающим светом. Накалившиеся аноды генераторных ламп излучали яркое оранжевое сияние.

Лейтенант-радиот наклонился, разглядывая шкалу настройки.

— Так и есть. Волна 19,73, та самая, о которой говорилось в записной книжке.

— А кстати, где же он? — спросил Глебов, открывая ставни.

Яркий солнечный свет брызнул снаружи. В комнате никого не было. Мы побежали во вторую. Там тоже было пусто. Мы пробежали еще одну комнату — дальше была стена.

— Куда же он мог деваться? — воскликнул Глебов.

— Рассыпаться по комнатам! Он где-то здесь, никуда уйти он не может, дом оцеплен! — крикнул я.

Распахивая шифоньерки, заглядывая под диваны, столы и кушетки, мы стали «прочесывать» комнату за комнатой. Солдаты торопливо срывали занавески и портьеры, валили шкафы, переворачивали диваны, отодвинули трюмо, заглянули в ванную — шпиона не было. Я распахнул настежь створки огромного гардероба, набитого мужскими и дамскими платьями. Их было много, и они мешали мне. Я поспешно сорвал с вешалок и выкинул под ноги солдат несколько костюмов; стало свободнее. Моя рука наткнулась внутри шкафа на выключатель, и я повернул его. Вспыхнул свет, и одновременно с ним половина стенки повернулась и отошла назад, образовав проход. Свет сейчас же потух, и стенка снова стала на свое место. Так вот оно в чем дело, потайная дверь! Я своими собственными глазами видел ее, и не только я, но и ошеломленные лей-

тенант, Глебов и автоматчики. Я снова повернул выключатель и бросился в открывшийся проход. Со двора раздались крики, выстрелы, шум. Сбегая по узкой лесенке вниз, я очутился в густых кустах акации, облепившей этот уголок сада.

— Стой! Стрелять буду! — раздалось за кустами, и, тыча мне автоматами в лицо, выбежало несколько наших солдат.

Узнав меня, они остановились.

— Что вы, очумели, что ли! — закричал появившийся за моей спиной Глебов. — А это кто, немец?

Тут только я увидел, что под кустами, запрокинув назад голову, сидел человек. Из его простреленной ноги сочилась кровь.

Старшина стал обыскивать немца.

С улицы, привлеченные выстрелами, заглядывали сквозь ограду перепуганные горожане.

Солдаты осторожно положили раненого в машину. Глебов сел за руль, и автомобиль понесся к комендатуре.

Захваченный фашист молчал. Сжав побледневшие губы, он угрюмо глядел в сторону. Было уже около 13 часов. В 13.45 мы должны были связаться с германским центром, как говорилось в инструкции.

— Ну ничего. Пока обойдемся и без вас. Пароль — Страус, — глядя в упор на немца, медленно сказал я, — волна 19,73, час передачи 9.30 утра, час приема 13.45, позывные...

Фашист повернул голову и злобно посмотрел на меня.

— ...четыре длинных и один короткий, за ними замедленное «а». Как видите, все в порядке.

— Сомневаюсь, — тяжело дыша, проговорил немец.

Это были его первые слова. Несмотря на боль от раны, лицо его скривилось в наглой и самодовольной усмешке.

— Почему?

— Я уверен в этом. Мой центр предупрежден о вашем налете. Я успел вовремя это сделать.

— И притом не прибегая к шифру. Мы слышали, как вы оповещали весь мир о своем провале. Вы только не учили, что и мы приняли свои предосторожности.

— Что вы хотите этим сказать?

— Просто то, что, когда мы врывались в ваш дом, наша станция помех уже заглушала передачи на волне 19,73. Могу вам даже продемонстрировать, как это звучало.

Я позвонил по телефону на армейскую радиопередающую станцию и, попросив возобновить на несколько минут помехи, включил находившийся в комнате радиоприемник, настроив его на соответствующую волну. Тотчас же в комнату ворвался оглушительный барабанный бой, перемешанный с хором Пятницкого и лихой пляской Красноармейского ансамбля. Все вместе это составляло целый водопад невообразимо диких звуков. Подмигнув немцу, Глебов заткнул уши. Шпион ошалело смотрел на нас. Я выключил радиоприемник.

— Теперь вы сами убедились, что зря воили в эфир. Могу еще добавить вам, что ваши друзья С-41 и С-50 уже арестованы и оказались более словоохотливыми, чем вы. Мы отложим покамест допрос. Побудьте наедине с самим собой и хорошенько подумайте над тем, что вас ожидает. Вы пойманы на месте преступления и должны понимать, как поступают в военное время с теми, кто занимается радиопередачами в тылу армии противника. Только чистосердечное признание и выдача всех ваших сообщников могут дать вам шанс на смягчение вашей участи.

При этих словах по лицу немца прошла тень.

— Отведите его вниз, старшина, поставьте усиленный караул, и чтобы ни одна посторонняя душа не знала, что он здесь находится.

— Есть, товарищ гвардии подполковник! А ну, фриц, давай поехали,— сказал Глебов и вместе с автоматчиками вынес из комнаты раненого немца.

Ровно в 13.45 лейтенант, закончив последние приготовления для выхода в эфир, повернул ручку радиопередатчика. Я положил перед ним лист бумаги с записью позывных. Лейтенант надел телефонные наушники и, взявшись за головку телеграфного ключа, начал выстукивать вызов фашистской радиостанции. Он трижды повторил его и замолчал.

— Жду подтверждения, что меня услышали, а затем перейду на прием,— пояснил он.

Я с удовольствием смотрел на него. Несколько неуклюжий и мешковатый в те минуты, когда мы ломались в дом, где скрывалась радиостанция, теперь, находясь в

своей стихии, он был совершенно иным. Смелым, спокойным, решительным. Я наблюдал, как он осторожно вращал ручку настройки приемника. Вдруг лицо его расплылось в улыбке.

— Услыхали! — И, щелкнув переключателем, он перешел на прием.

Я терпеливо ожидал окончания приема. Наконец лейтенант откинулся назад, вытер лоб и весело улыбнулся.

— Вам шифровка. Не иначе как от самого фюрера, кол ему в... брюхо.

Он выключил передатчик и пошел к двери.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Иван Иванович. А вы зовите просто Ваней, — засмеялся он.

— Вот что, Ваня, не уходи далеко, скоро еще пригодишься.

— Я только вниз, товарищ подполковник, покурить пойду, — сказал лейтенант, закрывая за собой дверь.

Повозившись с полчаса, я расшифровал с помощью ключа, найденного у арестованного фашиста, радиограмму. В ней говорилось:

«Ваша утренняя передача принята, за исключением конца, забитого русской радиостанцией. Сообщите, где С-41. Почему не было сигналов для посадки самолета? Из-за этого пришлось опустить С-50 на парашюте. Подтвердите его благополучное приземление. Требую немедленного выполнения данного вам задания. Присланное вами — лишь часть целого, причем менее важная. Основное, что имеет величайшую ценность для Германии, все еще остается в Шагарте. Если не сможете вывезти, уничтожьте во что бы то ни стало. Ни в коем случае не допускайте, чтобы им завладели русские. Не только вы, но и все ваши близкие ответите жизнью за такую оплошность. К уничтожению приступайте только в крайнем случае. Строжайше запрещаю заниматься военной разведкой. Посвятите все силы делу, ради которого вы посланы. Принимаем все меры для облегчения вашей работы. Получите помощь не только с запада, но и с востока. Учитывая утренние помехи в эфире, переносим вашу передачу на 18.25. Приготовьте точные ответы. Генрих».

До 18.25 оставалось много времени. Я написал подробную записку генералу и отослал ее в штаб армии с дежурным мотоциклистом. Сам же решил пройтись по

улице, чтобы сосредоточиться и дать голове немного отдохнуть от сегодняшних событий.

Черт знает, что все-таки означали эти разноречивые призывы неведомого Генриха? То «нужны сведения о советских воинских частях», то они не нужны и даже «запрещаю заниматься военной разведкой», и вдруг какое-то «искомое», являющееся «главным», да еще с каждым часом становится «необходимее» кому-то в Берлине. Но что же могло находиться столь ценного в этом маленьком, расположенном в стороне от главных дорог Шагарте? Картина? Нет, конечно, она не представляла собой особой ценности. Дело не в ней, а в другом. Но что это могло быть? Золото, брильянты, деньги? Тоже нет. Из-за денег не поднялась бы такая опасная возня с присылкой самолетов. Нет, тут было что-то другое. Если Берлин шлет в маленький Шагарт агента за агентом, это значит, что здесь осталось действительно что-то очень важное. Но что и где?

Дойдя до этого вывода, дальше я уже терял логическую нить. В раздумье я ломал голову, строил догадки и делал самые различные предположения, но все было тщетно... Загадка оставалась нераскрытой. Раздосадованный, я запер комнату и, положив ключ в карман, вышел в переднюю, в которой сидели Глебов и Харченко, азартно сражавшиеся в шашки.

— Никого не пускай ко мне, — сказал я, уходя.

— Есть, не пускать! — вскочив со стула, но не сводя глаз с шашек, крикнул Харченко.

Я вышел из дому. На бульваре было много народу. Иногда торопливо проносился велосипедист или велосипедистка с навьюченными на багажник вещами. Встречались целые немецкие семьи с грудami всякого скарба на ручных тележках. Это были беженцы, возвращавшиеся из окрестных сел в свои дома, или горожане, перевозившие обратно запрятанные где-либо домашние вещи. На углах были открыты киоски с пивом, лавчонки торговали, чувствовалось, что жизнь в тихом городке входила в норму.

Я открыл дверь скромного магазинчика. Мелодично зазвенел звонок. Из-за прилавка мне навстречу поспешно вышел пожилой немец. Из-за его спины выглядывала жена. Пепельницы, лезвия, бритвы, одеколон, зубная паста, пудра, французские духи, мышеловки, детские иг-

рушки, пакеты с цветочными семенами и прочая мелочь были аккуратно расставлены на полках.

Я поздоровался с хозяевами, купил десяток лезвий и пошел дальше, провожаемый приседаниями и поклонами четы. В парикмахерских брили и стриглись немцы, возле бара толпились мужчины и женщины. Полный, типично немецкий бюргер сосредоточенно отбирал и складывал в рюкзак выданную ему из овощной лавки по талону бургомистрата картошку. Все жило спокойной, патриархальной, захолустной жизнью заштатного городка, и если бы не изредка встречавшиеся разбитые здания, то и в голову не могла бы прийти мысль о том, что этот город взят с бою русскими войсками и что здесь всего четыре недели назад хозяйничали фашисты.

«Так зачем же именно сюда залетают фашистские самолеты, сбрасывая свою агентуру? Зачем?» — снова и снова сверлила мой мозг одна и та же мысль. Походив с полчаса и немного успокоившись, я вернулся назад и сейчас же сошел вниз, к арестованному. Его вторично перевязывал вызванный к нему фельдшер.

— Как он?

— Легкое, касательное ранение колена. Через неделю сможет танцевать, — ответил фельдшер.

— Через неделю он будет гнить, если не захочет спасти себя, — сказал я.

Немец побледнел.

— По-русски говорите? — усаживаясь против него, спросил я.

— Слабо. Понимаю лучше, — тихо, словно выдавливая из себя слова, ответил по-немецки фашист.

— Ваше имя?

— Иозеф.

— Фамилия?

— Миллер.

— Откуда родом?

— Из Бреслау, но живу здесь второй год.

— Возраст?

— Двадцать восемь лет.

— Член нацистской партии?

— Нет. Я был в гитлерюгенде, недолго, год-два, не больше.

— Где ваши шифры и остальные документы?

— Кроме тех, что взяты вами, не имеется.

— Где находится городской центр и кто входит в него?

— Клянусь вам, я этого не знаю, господин офицер. Ведь я маленький человек, всего-навсего радист. Откуда я могу знать?

— Очень хорошо. А какое задание не выполнено вашей группой?

Немец, пожимая плечами, проговорил:

— Не имею представления. Вы сами видите, господин офицер, что я хочу сохранить свою жизнь и ничего не скрываю, но этого, к сожалению, не знаю.

Дверь открылась, и в комнату быстрыми крупными шагами вошла переводчица.

— Прошу извинить меня...— начала было она, но вдруг смолкла, изумленно глядя на нас.

Не успел я остановить ее, как немец, сидевший напротив меня, несмотря на раненую ногу, подскочил с места, глядя на нее округлившимися глазами.

— О-о! Какая встреча! Разрешите мне остаться, господин подполковник, я пригжусь вам,— твердо сказала переводчица.— Да-да, это я, герр Циммерман. Вы не ошиблись! Позже я расскажу вам причину моего внезапного прихода,— обратилась она ко мне.— Значит, можно мне остаться?

Я утвердительно кивнул головой.

— Вы можете говорить с этим господином и по-русски. Ведь он из прибалтийского края, бывший русский подданный и...— она закурила и медленно произнесла: Родной племянник рейхсмаршала Геринга.

— Вот как! — сказал я.— Оказывается, «маленький и ничтожный радист» Иозеф Миллер не кто иной, как...

— Я соврал,— перебивая меня, быстро сказал немец.— Все, что я говорил до сих пор, неправда. Но теперь, когда появилась эта... эта... дама...

— Можете, по старой памяти, называть меня фрау Вебер или даже Фридой, как вам угодно, от этого ничего не изменится. Только говорите подполковнику правду, а я буду сидеть, курить и слушать ваши показания,— очень вежливо сказала переводчица и поудобнее уселась на диван.

— Я буду говорить правду. Но только прошу, господин офицер, помнить ваше обещание и сохранить мне жизнь. Да, я Конрад фон Циммерман, родной племян-

ник рейхсмаршала, член национал-социалистской партии с тысяча девятьсот тридцать шестого года. Мне тридцать лет.

Переводчица не вмешивалась в разговор, лишь время от времени испытующе поглядывая на немца. Он указал мне адрес местной подпольной организации.

— Улица Хорста-Весселя, 172,— дважды повторил он.

Слушая его, я наблюдал за переводчицей. Мне казалось, что она вся настороже, не то не доверяя рассказам немца, не то не одобряя его болтливости. Одновременно с этим я по лихорадочно блестящим глазам Циммермана замечал, что какая-то мысль занимала его. Но что же? Не страх ли за себя, особенно теперь, когда он выдал всю местную организацию фашистов? Нет, здесь было другое. Но что? Может быть, желание остаться со мной наедине?

— Скажите, какая тайна заключается в похищенной из комендатуры картине? — спросил я.

— Какой картине? Кем похищенной? — переспросил он, и впервые за все это время голос его прозвучал с неподдельной естественностью.

— Разве вы не знаете картину «Выезд короля Фридриха Второго из Сан-Суси»? — сказал я, глядя в упор на немца. — На переднем плане — король, сзади Вольтер и придворные дамы и возле них какой-то вельможа.

— Не только не знаю тайны, связанной с ней, но и вовсе не знаю такой картины.

И опять по тону его голоса я понял, что он не врет.

— А я знаю эту картину! — откладывая папиросу, сказала переводчица. — Ее по заказу Геринга писал мой покойный муж Макс Вебер в тысяча девятьсот сороковом году. Вскоре он был убит. В левом углу картины имеется его подпись. Но я не понимаю, какое имеет отношение ко всему этому делу картина?

Я посмотрел на нее, потом перевел глаза на немца. Арестованный сидел с тупым, неподвижным лицом.

— Хорошо, Эльфрида Яновна, об этом мы поговорим с вами позже. — И, обращаясь к нему, я спросил: — А теперь еще один, последний вопрос: в чем же все-таки заключается особое задание, данное вам и вашей группе Генрихом?

— Военный шпионаж. Главным образом, дислокация и передвижение русских частей,— сказал Циммерман.

— Нет, это не так! Как раз берлинский центр напоминает вам о том, что военный шпионаж вовсе не ваше дело и что интересы великой Германии заключаются в другом. В чем в другом?

— Ах да, действительно, в драгоценностях и золоте, которые находятся где-то здесь.

— Где именно?

— В сейфах городского банка на Гогенцоллернштрассе.

— Господин подполковник, герр Циммерман для чего-то затягивает время и, грубо говоря, врет. На протяжении всего этого времени, несмотря на свое обещание, он говорил сплошную ложь,— сказала переводчица.— В этом городе нет улицы, а есть лишь площадь Весселя, и ясно, что на ней не может быть номера сто семьдесят два. Никаких сейфов на улице Гогенцоллернов не имеется, хотя бы уже потому, что и банк, и самая улица уже больше года как совершенно снесены тяжелыми фугасками американцев.

— Что это значит? — спросил я Циммермана.

— А то, что эта особа права. Я не хочу говорить правды. Вы очень наивны, господин офицер, думая страхом или лаской воздействовать на меня. Да, я племянник Геринга, и это все! Больше вы ничего не узнаете от меня.

Он отвернулся, но потом с нескрываемой злобой сказал переводчице:

— Вы знаете, о чем я сожалею? О том, что вас тогда не расстреляли эсэсовцы вместе с вашим очаровательным мужем.

— На что вы надеетесь, Циммерман? — холодно спросил я.— Разве вы не понимаете, что все потеряно и для вас, и для фашистской Германии? Вы у нас в руках, и ваша жизнь не стоит ни гроша.

— Перестаньте! Не запугивайте меня, это напрасно. Да, я погиб, но что касается Германии — ошибаетесь. Америка никогда не позволит вам уничтожить Германию.

— А мы и не думаем уничтожать Германию.

— Я не верю вам... Можете что угодно делать со мной, но я не скажу больше ни слова.

— Увести его! Посадить в подвал комендатуры, поставить караул! — приказал я Глебову.

Циммермана увели.

— Господин подполковник, из штаба звонили, про-

сили передать вам, что к нам завтра приезжают гости,— сказала переводчица.

— Гости? Какие?

— Корреспонденты московских и американских газет. Кроме того, вы, кажется, хотели о чем-то переговорить со мной. Когда вы сможете это сделать?

— Да, я хотел бы продолжить начатый разговор.

— Это о картине?

— Да, о картине и о... вас.

— Хорошо, я зайду к вам вечером.

— Лучше завтра, так как сегодня я буду занят целый вечер.

— Хорошо,— просто сказала переводчица.

Когда она сходила по лестнице, я невольно залюбовался ею, так хороша была ее стройная фигура.

«Кажется, и я не свожу глаз»,— подумал я и придвинул к себе записи допроса.

В 18.25 мы с лейтенантом Ваней долго вызывали фашистский центр. Но напрасно лейтенант настойчиво выстукивал позывные. Никто не отвечал.

— Молчат,— говорил он, снова и снова принимаясь за свой ключ.

Но эфир безмолвствовал. Я был удивлен, так как знал, что станция помехи надежно заглушила истерический крик Циммермана, когда мы врывались к нему. Но почему же они не отвечают?

— Так как, товарищ гвардии подполковник, продолжать вызывать или не надо? — поворачиваясь ко мне, спросил Ваня.

— Попробуем еще несколько минут.

Бесплодно просидев до 19 часов, мы поднялись с мест. Лейтенант остался дежурить у аппарата.

Корреспондентов было трое — Миронов, Запольский, Рудин. Их сопровождал фотокор Володя. Все четверо были сотрудниками двух московских газет. Это были молодые, жизнерадостные люди, начавшие войну в июне сорок первого года и с тех пор бродившие по фронтам и побывавшие решительно всюду, от подмосковного фронта до наших передовых позиций на Одере. Только фотокор Володя был еще новичком, всего год назад начавшим свою фронтовую работу.

Вместе с ними прилетел и корреспондент влиятельной американской газеты Першинг. Американец с первой же минуты произвел на всех благоприятное впечатление. Это был человек лет сорока, с молодцеватой выправкой, веселый, подвижный и общительный. Он прекрасно говорил по-русски, в Москве был дважды, бывал во Франции, на Кубе и Яве, хорошо знал персидский и турецкий языки, проведя в Иране и Стамбуле около трех лет.

Особенно он понравился Глебову, с которым уже успел где-то выпить по кружке пива и сыграть две партии в шашки.

— Здорово играет. Оба раза мою дамку запер,— похвалил его старшина.

К немцам Першинг питал какую-то исключительную антипатию и говорил о них с презрением и злостью.

— Я достаточно навидался этих «сверхчеловеков», когда бродил по свету, особенно же имел удовольствие видеть их в Турции незадолго до подлого нападения на Россию. Немцы — это убийцы, это сборище негодяев, почему-то именующееся народом.

— Зачем же так несправедливо? — возразил я. — Есть ведь разные немцы, не все же они фашисты, не все убийцы. В Германии был и остается рабочий класс, крестьянство, коммунисты.

— Не знаю,— вздохнул Першинг,— может быть, но пока они не переменятся, я ненавижу их всех. Пока не кончится война, пока не будут уничтожены Гитлер и фашизм, я не могу питать иных чувств к этой проклятой стране.

Я поместил гостей в четвертом этаже комендантского дома, отведя им три комнаты. Американец попросил отдельную комнату, предупредив, что будет работать и, может быть, запоздает к обеду.

Миронов и Запольский, забрав с собой с моего разрешения старшину, пошли побродить по городу. Рудин и фотокор Володя, заперев ванную и задрапировав все окна, стали проявлять свои снимки, американец стучал на машинке.

У меня сидел Насс, принесший списки иностранцев, проживавших здесь при гитлеровском режиме и так или иначе связанных с нацистами. Я внимательно просматривал списки, делая отметки в своей записной книжке.

Мне надо было прощупать все подозрительные места, всех людей, которые в первую очередь могли быть связаны с так неожиданно появившейся в городке оперативной шпионской группой. В списке были и болгарские студенты, и австрийские дельцы, и сербские комитаджи, и французские молодые дворянчики из «королевских молодчиков», обучавшихся в фашистских школах какому-то «новогерманскому праву». Список был невелик. Шестидесят девять человек значилось в нем, но очень могло быть, что именно тут и находился кто-либо из верных помощников С-41 и С-50.

В дверь постучали. Я прикрыл список книгой и сказал:

— Войдите.

В комнату вошел американский гость. Он приветливо улыбнулся мне, гивнув головой Нассу.

— Это помощник бургомистра нашего города, познаться. Социалист, просидевший в тюрьмах при Гитлере около пяти лет,— представил я Нассу.

— А опора, актив, как говорите вы, русские. Что ж, это лужные люди. На них лучше всего опираться в этой стране,— по-русски ответил Першинг.

Насс продолжался и вежливо поклонился корреспонденту. Першинг тряхнул его руку и по-немецки заговорил с ним.

— Вы знаете и немецкий? — спросил я.

— О-о! Я знаю и португальский, и даже баскский язык. Ведь мы, газетчики, передовой народ, и чем больше мы знаем, тем дороже нас ценят наши издатели,— засмеялся Першинг и, открывая портсигар, протянул его Нассу.

— Благодарю вас, сэр, я не курю,— сказал Насс.

— А я курю с девятилетнего возраста,— закуривая свою сигару, сказал Першинг.— Какого только зелья не перепробовал за свою бродячую жизнь! И опиум, и гашиш, и табаки — от виргинского до черного крутого африканского «потами». Жевал и бетель, пил пряный сок негритянского «тура-кива» — и здоров, как бык. А вы, господин помощник бургомистра, местный житель или только приехали сюда? — неожиданно, без какой связи с ранее сказанным спросил американец.

— Я до войны довольно долго жил в Шагарте,— ответил Насс.

— Любопытно. Значит, вы позволите мне, скажем, вечером или завтра порасспросить вас о городке? Он очень любопытен, такой, я бы сказал, игрушечный, тихий, как бы забытый и людьми и богом городишко. В таком хорошо отдохнуть хотя бы неделю-другую после всех тревожений войны, не правда ли? — обращаясь ко мне, закончил Першинг.

— Да, конечно. Здесь тихо, фронт далеко, самолеты противника здесь не появляются. Главные коммуникации в стороне.

— И правильно, кому нужен этот заброшенный городок! Разве только нам, корреспондентам, отдохнуть денек-другой, помыться, отоспаться и написать здесь хорошую, обстоятельную корреспонденцию. Ба-а! — вдруг щелкнув себя по лбу, расхохотался Першинг. — А ведь это идея! Честное слово, это гениальная мысль!.. Вместо того чтобы писать друг на друга похожие, стереотипные батальные очерки о том, как наши союзники, храбрые русские солдаты, без удержу гонят фашистские орды, взять да и написать на контрастах фронта и тыла одну-две статьи о тихом городке, чудом уцелевшем от войны и в течение недели ставшем под строгим, но справедливым контролем русских образцом будущей, истинно демократической Германии.

Насс пожал плечами и вежливо улыбнулся.

— До этого еще, господин..

— Першинг, — подсказал американец.

— ...господин Першинг, еще очень и очень далеко.

— Ничего. Мы и наши друзья русские поможем вам стать настоящими людьми, — успокоил его корреспондент. — Так как? Одобряете мою мысль, не прогоните, если я через неделю-другую после фронта вернусь к вам сюда на денек, чтобы написать такую статью?

— Пожалуйста, будем рады, а господин Насс поможет вам познакомиться со всеми достопримечательностями города.

Насс молча поклонился.

— Может быть, вы задержитесь и теперь начнете писать эти статьи? — спросил я.

Американец задумался.

— Нет, сейчас не могу. Я не хочу отрываться от моих друзей корреспондентов. Мы вместе посетим передо-

вые части ваших храбрых войск, я сделаю одну-две замечки, а уж затем обязательно вернусь к вам.

— Олл райт! — улыбаясь, ответил я.

Першинг встал.

— А теперь я пойду, прогуляюсь по городу, погляжу на людей, наберусь впечатлений.

— Может быть, дать вам провожатого? — предложил я.

— Нет, спасибо. С моим знанием немецкого языка этого не нужно, а затем — я люблю бродить один. Никто не мешает сосредоточиться, да и население относится иначе. И говорит правдивей, и держится проще, когда тебя не сопровождает официальное лицо.

Американец ушел, и мы снова принялись за списки. Когда все иностранные были занесены в отдельные графы и их характеристики, связи, знакомства с местными жителями были уточнены, я спросил Насса:

— Что делала фрау Вебер в дни гитлеровского режима для подполья?

— Немало. Она была надежным звеном для связи между заключенными и их семьями и находившимися в подполье борцами против нацистов. Кроме того, она, как химик и художница, не раз была использована нами для разных секретных работ, начиная от писания листовок вплоть до тайного слушания по радио русских военных сводок.

— Очень рад, что ваши слова рассеивают мои последние сомнения.

— А вы в ней сомневались, господин комендант?

— Вы же сами сказали мне вначале, что рекомендовать ее можете, а ручаться за нее воздерживаетесь, хотя вы и лучше знаете ее, чем я. Кстати, вот посмотрите эту штуку, — я протянул ему карманный фонарик, найденный на С-41. — Говорит ли вам что-нибудь это?

Насс внимательно осмотрел фонарик и тотчас же обратил внимание на марку фирмы, выгравированную на передней никелевой пластинке, а затем показал мне на синее стекло лампочки.

— Так и есть! Это кварцевая лампа.

— Скажите, а откуда могла знать об этом фрау Вебер? Она даже сослалась на вас, что вам также знакомы подобные фонарики.

— Весьма естественно. Мы пользовались этими фона-

риками для чтения посланий заключенных, писавших люминесцентными составами на всевозможных вещах, возвращаемых ими близким. Эти составы мы им передавали. Так продолжалось до тех пор, пока гестапо не разгадало трюка. А фонарик был у госпожи Вебер, которая и читала письма. Надо добавить, что именно она первая подала идею этой корреспонденции.

— Теперь все понятно. Спасибо за разъяснение, товарищ Насс,— сказал я, крепко пожимая ему руку.

Я впервые за всю нашу совместную работу назвал его товарищем. Немец поднялся, взглянул мне в глаза прямым, честным взглядом и, сжав кулак, поднял его над головой.

— Рот фронт, товарищ подполковник! — взволнованно сказал он, и лицо его осветилось теплой и ласковой улыбкой.

Насс ушел. Я вышел вслед за ним на улицу.

На углу Виенштрассе ко мне подошел Глебов, вынырнувший из какого-то переулка.

— А где же ваши корреспонденты, старшина? — спросил я.

— А они, товарищ гвардии подполковник, поехали осматривать здешнюю тюрьму, их Эльфрида Яновна туда повезла. Она хочет показать им камеры, в которых сидели при Гитлере немецкие коммунисты.

— А вы почему не поехали?

— Да я это видел уже. Каменные норы, без света, повернуться нельзя, прямо как в гробу, и вдобавок аршина на четыре под землей. Вот бы в такую дыру самого Гитлера загнать... Весь их фашизм надо в мешок загнать, да и покончить со всеми разом, чтобы он, проклятый, никогда и нигде не возродился,— продолжал Глебов.— А то ведь, поди, тихие они тут все, смиреннькие. Американец сегодня верно мне сказал. «Вы им не верьте. Они только для виду,— говорит,— смирились. А наверно, есть и такие, что притаились где-нибудь по норам да гадят, шпионы разные или диверсанты. Вы,— спрашивает,— ничего об этом не слышали?» Здорово он их не терпит, фрицев, говорит о них, а сам чуть не трясется от злости. Немало, видно, нацакали ему. Ну, я, понятно, молчу. Человек он хороший, но посторонний, а посторонним наших служебных дел знать не надо. «Нет,— говорю,— откуда в таком городишке шпионы,

здесь все тихо. Кому тут гадить? Здешним обывателям сейчас не до того, лишь бы их самих не трогали». Засмеялся он и говорит: «А ведь это верно!» — и угостил меня ситарой. Веселый он человек. Полчаса всего пробыл, а со всеми за руку поздоровался, обо всем порасспросил, ситар штук пятнадцать ребятам раздал. Меня уже по имени-отчеству величает.

— Да, общительный, разговорчивый человек, — ответил я. — Но вы хорошо сделали, что ничего не сказали ему. И дальше поступайте так же, товарищ старшина.

— Как же можно, товарищ гвардии подполковник! Я же человек военный, присягу помню и дисциплину знаю. Раз приказано не говорить, значит, умри, а молчи! Мало ли что он союзник и человек веселый. Дело это его не касается.

— Правильно, товарищ старшина.

Мы пошли дальше, прогуливаясь по Шагарту. На Александерштрассе, самой большой и почти не задетой войной улице, нам навстречу показались два автомобиля. Они остановились, и из них вышли корреспонденты, переводчица и один из солдат комендантского взвода.

— Ну-с, где были, что видели? — спросил я.

— Тюрьму! Настоящий фашистский застенок, — сказал Миронов. — Я израсходовал половину катушки, снимая эту проклятую преисподнюю.

— Каменные мешки в два метра глубиной. Сырые, мрачные, без света и воздуха. Я покрылся холодным потом, пока обошел эти ужасные норы, — сказал фотокор Володя.

— А наш общий знакомый Насс провел в такой дыре почти восемнадцать месяцев.

Газетчики переглянулись.

— И нужно еще добавить, что тюрьма Шагарта — это не самая страшная, не самая ужасная из всех фашистских застенков. Мой муж, художник Макс Вебер, просидел в знаменитой берлинской «двадцать второй камере» крепостного подземелья одиннадцать дней, но когда мне разрешили увидеться с ним перед казнью...

— Перед казнью? — в один голос спросили все.

— Да! На двенадцатый день после ареста он был убит в гестапо. Я видела его за несколько часов до казни. Он был совершенно сед, избит до того, что почти не мог говорить.

— Зачем же эти изверги решили показать вам в таком виде вашего мужа?

— Это была прихоть Геринга, желавшего еще больше поиздеваться над ним. Но хватит этих воспоминаний...

— Еще вчера мы бродили по столице, а сегодня мы уже в вашем тихом городке, — меняя тему, сказал Володя.

При этих словах я взглянул на переводчицу.

— Да, наш Шагарт — сонное царство, — без тени улыбки произнесла она. — Такой покой, словно на курорте.

Отпустив машины, мы пешком направились домой. Москвичи рассказывали о далекой столице:

— По ночам зажигаются огни. Садовое кольцо снова окаявлено электрическим светом. Троллейбусы и автомобили мчатся без светомаскировки, улицы полны народом.

— Зато здесь ночью ни одного огонька, — заметил Володя.

— Хватит! Повеселились в свое время фашисты, пусть теперь поплачут, — вставил Миронов.

— Театры и кино ломаются от зрителей. Поверите ли, даже нам, газетчикам, имеющим всюду приятелей и своих людей, стало невозможно попадать в театры, — пожаловался Володя.

— Зато у нас можете пойти в театр без всякой очереди, — сказал я.

— Как, серьезно? У вас здесь есть театр? — оживились гости.

— Ну, театр не театр, а нечто вроде кабаре имеется, — сказал я.

— И давно?

— Третий день

— Что же там ставят?

— Что попало. Там певцы, и танцоры, и акробаты, и жонглеры. Каждый вечер с шести до половины десятого.

— Значит, мы бы могли сегодня попасть на представление? — спросили гости как по команде, одновременно бросая взгляд на часы.

— Вполнѐ, — ответил я. — Да вы не торопитесь, успеете, можете это сделать и завтра. Сегодня отдохнете, посидим вместе, побеседуем о Москве, ведь мы очень соскучились по ней. За ужином найдется о чем поговорить, а завтра вечером пойдемте все вместе в здешний театр,

За разговором мы не заметили, как подошли к комендатуре. У самого входа нас встретил Першинг с неизменной сигарой во рту.

— А я уже минут пять как вернулся и скучаю без вас! — крикнул он, завидя нас и шагая навстречу.

— Вот и отлично. Все в сборе. Сейчас сядем за стол, — сказал я.

— С удовольствием, — хором ответили корреспонденты.

Спустя несколько минут мои гости вышли из своих комнат и спустились в столовую, где нас уже ждал хорошо сервированный стол. Я не приглашал Эльфриду Янову к обеду, и, когда мы собрались все вместе, ее уже не было с нами.

Когда по бокалам было разлито вино, гости поднялись, и мы стоя выпили за армию, за победу, за Родину.

— А впереди — Берлин! — сказал Рудин, глядя поверх нас в открытое окно.

И мы, проследив его взгляд, словно различили в темноте громады немецкой столицы.

— Только вам следует спешить, а не то наши американские парни могут раньше вас занять Берлин, — неожиданно добавил Першинг.

— Ну что ж, мы будем рады, если они как следует вцепятся в глотку врага, — ответил Рудин. — Фашистский зверь должен быть зажат в клещи с двух сторон, но торопиться все-таки надо вам, американцам, а то встреча с союзниками может произойти не в Берлине, а где-нибудь на Рейне.

Першинг молча выпил, вытер салфеткой губы и засмеялся.

— Да, темпы нашего Айка не очень уж велики, но, между нами говоря, во всем этом виноваты англичане с их постоянной оглядкой назад. — Он налил себе вина. — Но не все ли равно, где встретятся русские и американские друзья? Главное — победить Гитлера и уничтожить его кровавый режим.

Беседа за столом затянулась. Американец был оживлен, непосредствен в своих излияниях, и это очень располагало к нему. Под патефонную музыку он проплясал негритянский танец буги-вуги, рассказал несколько забавных случаев из своей кочевой жизни и очень похоже изобразил Черчилля, с которым встречался дважды в

Лондоне и которого провожал на корабле «Миссури» от Бостона до Саутгемптона.

— Замечательный старик! Внешность типично буль-дожья, такая же хватка, злой язык, пристрастие к хорошей сигаре, стакану шотландского виски. А наш Рузвельт совсем в другом роде. Мягкий, снисходительный, вежливый. Типичный американец из старопротестантской семьи. Я много раз имел возможность наблюдать за ним...— потягивая вино, рассказывал Першинг.

Посидев еще с полчаса и побеседовав о Москве и о будущих перспективах мира, мои гости стали расходиться.

— Я бы предложил заключительный тост за то, чтобы это была последняя на земле война и чтобы мир никогда больше не узнал ужасов проклятой человеческой бойни. Мы с вами, друзья, настрадались страданий и крови так много, что вправе желать этого,— сказал Першинг, глядя на нас открытым, ясным взглядом.

Его голос прозвучал так искренне, в нем была такая грусть и боль, что я с удовольствием первым же чокнулся с ним.

— А теперь, друзья, по своим комнатам! Не знаю, что будете делать вы, а я засяду за свою машинку и набросаю статью, которую готовлю для «Геральда»,— сказал он, уходя.

Рудин и Володя вышли вместе с ним, а Запольский и Миронов задержались еще, знакомясь по карте с кварталами Шагарт и его достопримечательностями, которые были перечислены в книжке «Город Шагарт и его значение для экономики Германии».

— Хоть и фашистская продукция,— сказал Запольский,— однако очень полно и толково написанный справочник.

Он выписал несколько сведений из книги, просмотрел план города, отметил для себя статистические данные и цифры.

— После войны намереваюсь писать повесть о последних днях фашистской Германии, и кое-что из этого может пригодиться для книги.

— А я, вероятно, так и умру газетчиком,— вздохнув, сказал Миронов.— Сколько раз хотел взяться за большую литературную работу, но сомнение и страх останавливали меня.

— А может, лень? — улыбнулся Запольский.

— И она, матушка, тоже, — согласился Миронов. — Но все же я напишу, непременно напишу книгу о людях, дошедших от Москвы до этих немецких городов.

— Что ж, собственно говоря, вы этим выполните свой долг, — сказал я.

Корреспонденты поднялись и ушли к себе. Я остался один за неприбранным столом.

Снова и снова пытался найти ключ к таинственной истории с картиной, гробом, парашютистами и непонятными, противоречивыми директивами Генриха.

Что значат слова «получите помощь не только с запада, но и с востока»? С запада — это понятно. Два «помощника» уже лежат закопанные в канавах окрестного леса. Но с востока? Означает ли это, что в нашем тылу орудует хорошо законспирированный крупный шпионский центр? Или же неведомый Генрих просто желает подбодрить своих недостаточно смелых агентов? А сущность самого задания? Шпионы вывезли что-то в так неосмотрительно выпущенном мной за черту города гробу. Но «самое главное» еще осталось здесь. Что же именно? Понятно, не золото и не деньги, как уверял Циммерман. И тем более не данные разведки. Генрих категорически запрещал своим агентам заниматься военным шпионажем. В довершение всего — какую роль играет здесь похищенная картина? Может быть, это просто камуфляж, чтобы сбить нас с правильного следа? По всей вероятности, это именно так. Значит, надо сосредоточить все внимание на том «главном», что еще не вывезено из города.

На следующий день гости собрались ехать в замок Шварцвальде, в котором, по преданию, когда-то ночевал Фридрих Барбаросса. Замок до 1918 года принадлежал одной из саксонских династий. В 1923 году он был передан в пожизненное владение фельдмаршалу Гинденбургу. Фашисты, отступая, успели кое-что вывезти из замка, но основные ценности, вроде мебели, ковров, дорогих картин, утвари и старинного оружия, сохранились, и все это находилось под охраной взвода наших солдат и двенадцати назначенных бургомистром полицейских.

Я еще ни разу не был в замке — мешали дела — и потому очень сожалел, что не мог сопутствовать корреспондентам. К моему удивлению, Першинг категорически отказался от этой поездки.

— Зачем? — пожал он плечами. — Я достаточно навиделся старой рухляди в моих скитаниях по свету. Этот королевский замок ничуть не лучше сотни тысяч таких же серых и обветшалых зданий, которые мне попадались в Азии и Европе. Я лучше поработаю над статьей, а потом поброжу по городу.

Корреспонденты уехали. Я сидел с Эльфридой Яновной в приемной комендатуры, слушая очередные просьбы и заявления горожан. Глебов, которому было дано задание вместе с Нассом объехать четыре расположенные возле Шагарта деревеньки, где надо было взять на учет имущество, оставленное бежавшими фашистами в крестьянских домах, отсутствовал с самого утра.

— Там много различных ценностей, которые пригодятся и для будущих пионерских дворцов, и для школ, и для яслей. Ведь мы очень скоро откроем их, — говорил мне Насс, докладывая об этом имуществе.

Сидя рядом с переводчицей, я раза два против своей воли задержал на ней свой взгляд.

Я давно заметил, что настоящую, подлинную красоту никогда не оценишь и не поймешь сразу, будь то красота природы, произведение искусства, обаятельное женское лицо или прекрасное сердце человека. Только встречаясь чаще, больше находясь вблизи подлинной красоты, начинаешь глубже и сильнее постигать ее.

Занятая беседой с немцами, переводчица, кажется, не замечала моего восхищенного взгляда, но мне самому вдруг стало как-то не по себе. И не потому, что я любовался Эльфридой Яновной, а потому, что не смог заставить себя не делать этого.

Я нахмурился и довольно сердито спросил ее:

— Что он там просит? Я не совсем понял его слова.

Эльфрида Яновна внимательно взглянула на меня и тихо сказала:

— Он не просит, господин подполковник. Дело в другом. Этот посетитель жалуется на какого-то иностранца, явившегося к нему сегодня утром и требовавшего устроить ему встречу с кем-то...

— Встречу с кем? — спросил я.

— Да он и сам не знает толком. Дело в том, что этот гражданин, Карл Майер...

При этих словах посетитель привстал с места и, закивав головой, подтвердил:

— Яволь! Яволь! Их бин Карл Майер.

— Садитесь,— остановил его я и по-немецки спросил: — Растолкуйте яснее, кто и зачем приходил к вам сегодня.

Немец сел и торопливо заговорил:

— Я рабочий, антифашист. Просидел при Гитлере около года в концлагере близ Бреслау. Сам я из Шагарта, и, когда вернулся обратно, меня и мою семью, как пострадавших и не имеющих своего крова, господин Отто Насс с разрешения русской власти вселил к квартире бежавшего отсюда фашиста...

— Как его фамилия? — спросил я.

— Тоже Майер и тоже Карл,— засмеялась переводчица.— Ведь здесь, в Германии, Майеров миллионы!

— Дальше!

— Сегодня утром ко мне постучался какой-то штатский, не немец, но, думаю, что и не русский, и на очень хорошем немецком языке попросил воды. Я ему принес стакан. Тогда он спросил: «Вы Карл Майер?» Я ответил: «Правильно. Я Карл Майер». Тогда он засмеялся, вынул из кармана сигару, протянул мне и проговорил: «Восток—Запад. Вам привет от старухи». Когда же я не взял сигары и сказал, что не понимаю, о чем он толкует, человек этот рассердился, обозвал меня дураком и трусом и снова повторил про «Восток—Запад» и какую-то старуху.

Тут уж обозлился я и сказал ему: «Вы сами дурак или, наверно, сошли с ума... Какой Восток? Какая старуха? И какого черта вам тут нужно?» — и стал закрывать перед ним дверь. Он несколько опешил и спрашивает: «Да вы-то кто, Майер?» «Майер,— говорю,— Карл, да не тот, которого вы ищете. Ваш приятель уже две недели как удрал отсюда, чего и вам желаю, пока вы целы»,—и хлопнул перед ним калитку. Слежу за ним сквозь щель, а он в лице переменялся, но вдруг засмеялся и кричит мне: «А ведь я, брат, пошутил, хотел разыграть тебя, дружище!» Я ничего не ответил, тогда он повернулся и быстро пошел обратно. Рассказал я об этом своей жене, а она мне говорит: «Карл! А ведь это недобрый человек приходил. Иди сейчас же к господину Нассу и расскажи ему об этом». Я и сам так думал. Ведь я же рабочий, кое-что понял и кое-чему научился за эти годы. Переждал немного, пока этот негодяй не скрылся, а потом задним

двором и побежал в бургомистрат, к господину Нассу. Но его не застал, говорят — уехал куда-то с русским офицером. Ну тогда я и решил к вам направиться.

— Кому-нибудь рассказывали в бургомистрате об этом?

— Нет. Как можно! О такой вещи, кроме господина Насса, и сказать никому нельзя.

— Опишите, каков был с виду этот человек, — спросил я.

— Господин подполковник, уведите его во вторую комнату, — сказала тихо переводчица, делая мне знаки глазами. — Сюда может войти кто-нибудь и увидеть господина Майера. Идите с ним, а я посижу и постерегу, чтобы вам никто не помешал.

Я пригласил Майера в другую комнату.

— Опишите этого человека.

— Лет сорока. Хорошо одет, выглядит здоровяком и по-немецки говорит вполне прилично, но акцент все-таки заметен... Я думаю, что он или англичанин, или американец, — подумав, сказал Майер.

— Вы узнали бы его голос?

— Конечно.

— Спасибо, господин Майер. Вы поступили правильно, и я попрошу только об одном: никому ничего не рассказывайте о нашем разговоре, а вечером вас повидает господин Насс. Возможно, что через день-два вы понадобитсяе, чтобы опознать этого человека. А пока работайте себе спокойно, поступайте как обычно, не подавайте и виду, что вам что-либо пришло в голову. И — молчание!

— Понимаю... Все понимаю, господин оберст. Этих ядовитых змей надо уничтожать без пощады, — вставая с места, сказал Майер.

Я пожал ему руку и через черный ход выпустил наружу.

Теперь мне становился ясен смысл загадочных слов «Восток—Запад».

Когда приехали Насс и Глебов, я рассказал им о визите Майера.

— Да, я хорошо знаю Майера. Это честный рабочий и честный человек, немало пострадавший от нацистов. Мы предоставили ему квартиру его однофамильца Майера и тоже Карла, бежавшего недавно вместе с фон Трахтенбергом. Мы тогда даже посмеялись над этим совпа-

дением. А оказывается, что вышло очень кстати,— сказал Насс.

— Это, наверно, один из тех фрицев, что шел тогда за гробом с этой самой Надькой,— предположил Глебов.

— Да! Это, несомненно, из той же группы,— подтвердил я.— Итак, товарищи, дело осложняется. И нам надо подумать над тем, как действовать дальше.

Просидев около часа и обсудив разные планы, мы наконец нашли нужное решение.

Осмотр замка затянулся, а различные охотничьи домики, пристройки, парк, озеро, летняя ротонда и подземные ходы к реке оказались настолько интересными, что мои гости возвратились только к семи часам вечера, очень довольные своей экскурсией.

— Напрасно вы не поехали с нами, мистер Першинг,— сказал Миронов.— Там не только гроты и подземелья, а дух, веяние минувших эпох... Так сказать, история феодальной Германии.

— Неинтересно. Я равнодушен ко всему тому, что не является делом. Это — развлечение, а газета — дело.

— Ну нет,— заспорил Володя.— Каждая такая поездка обогащает человека, увеличивает его знания. Нет, я не могу согласиться с вами.

— Нужная поездка! — решительно сказал Рудин.— Да и для работы дает обилие любопытного материала.

Они пошли помыться и переодеться с дороги, я же с американцем стал дожидаться их к ужину.

— Ну как статья? Уже написали? — поинтересовался я.

— Идет... не очень, правда, легко, но основной набросок уже есть. Теперь похожу еще по городу, наберусь внешних; так сказать, иллюстративных впечатлений для общего тона и верного рисунка статьи,— сказал он.

— Желаю успеха! С удовольствием почитал бы ее,— сказал я.

— О-о! Я покажу ее вам перед тем, как отсылать в газету,— пообещал Першинг.

Гости собрались к столу. Ужин затянулся, и только часов в девять Володя вспомнил о театре.

— Вот здорово! А ведь мы уже упустили театр,— сказал он.

— Ничего. Пойдете завтра, тем более что я сегодня буду занят и не смогу быть с вами.

— А ведь завтра мы уже хотели уезжать,— сказал Миронов.

— Задержимся еще на сутки, друзья,— предложил американец.— Если мы, конечно, не в тягость хозяину.— Он вопросительно взглянул на меня.

— Наоборот. Мне приятно ваше общество. Оставайтесь еще на денек-другой, а уже потом, побывав в театре, направитесь дальше.

Корреспонденты вопросительно глядели на Миронова.

— Хорошо, товарищи. Остаемся еще на один день, но послезавтра в путь. Решено?

— Решено! — в один голос ответили Рудин, Володя и Запольский. Американец молча кивнул головой.

После ужина, когда все разошлись по своим комнатам, я задержал Эльфриду Яновну.

— Сегодня я не смогу побеседовать с вами. Буду очень занят.

Она понимающе кивнула.

— Давайте завтра вечером. Хорошо? — сказал я.

Она посмотрела мне в глаза и тихо ответила:

— Я приду.

И быстро вышла из комнаты.

Ночью я долго работал над внеочередным донесением в штаб. Подробно и точно рассказав о приезде и поведении американского корреспондента, я сообщил и о визите рабочего Майера, и о том, что намереваюсь делать дальше. Заканчивая рапорт, я просил немедленно выяснить, кто такой Першинг и как он очутился в Шагарте.

Закончив доклад, я запечатал и прошил его, и дежурный мотоциклист умчался с ним в штаб.

Рано утром меня вызвали к прямому проводу. Говорил генерал. В осторожных, завуалированных фразах он выразил удовлетворение по поводу моего донесения.

— Ваша поэма интересна, срочно направляем вам комментарии к ней. Возможно, что кое-какие стихи будут переложены на музыку и ее станут петь не только наши, но даже и иностранные артисты. Не бросайте поэзии, вам удаются стихи. Убежден, что из вас со временем выйдет крупный поэт. Сообщите поподробнее о здоровье

нашего друга. Как он себя чувствует, прошла ли нога? Передайте ему привет и помните, что его надо беречь и лечить, он очень дорог мне по прошлой работе.

Я ответил, что «друг» поправляется, что мы «оберегаем» его и что когда он будет вполне здоров, то заедет к генералу на денек-другой в гости.

— В свою очередь могу сообщить, — сказал генерал, — что полковник Матросов уже поправляется; скоро он будет с вами, но вы до нашего приказа оставайтесь в Шагарте, на том же деле.

— Счастлив узнать, что операция прошла хорошо. Быстро выздоровел Андрей Ильич, — порадовался я.

— Не так-то быстро. Сегодня уже десятый день, как вы хозяйничаете в Шагарте, — засмеялся генерал.

Было еще очень рано, но сон, прерванный переговорами, уже не возвращался, и я решил пройти в соседний дом, где располагались караульная рота и административно-хозяйственный отдел нашего маленького гарнизона. Часовой, стоявший у ворот, еще издали заметил меня и позвонил начальнику караула. Командир роты, молодой, с несколько заспанным лицом лейтенант, выбежал из караулки и встретил меня у самого входа.

Я не дал ему закончить рапорта.

— Все в порядке?

— Так точно! Никаких происшествий за ночь не случилось. Патрули возвратились.

— Отлично. Как люди?

— Дежурный взвод в боевой готовности, остальные еще спят. Кухня готовит завтрак. Скоро побудка, — глядя на ручные часы, доложил лейтенант.

— Что на завтрак?

— Пшенная каша с маслом и мясом. Хлеб, масла по семьдесят пять граммов и по куску сыра.

— Что же, завтрак хороший.

— А вы, товарищ гвардии подполковник, позавтракайте с нами. Бойцы будут довольны, — предложил лейтенант.

— С радостью бы, но дел много, в другой раз, а сейчас надо с начальником хозяйства повидаться.

Сопровождаемый лейтенантом, я пошел в интендантскую часть, откуда, пристегивая на ходу портупею, уже спешил предупрежденный дневальным начальник административно-хозяйственной части.

Пришел я сюда в такой ранний час не случайно, а намеренно. Дело в том, что, как мне сказал вчера Насс, наши солдаты прикармливали от своего сытного пайка многих неимущих, разоренных войной беженцев-горожан с их детьми. Само по себе это было хорошо и правильно, но таило и некоторую опасность. Среди десятков женщин, старух и стариков всегда могли затесаться и вражеские агенты. Они легко могли просочиться в эту голодную толпу, сблизиться и войти в доверие к нашим солдатам. Так уж устроен русский человек, что вид чужих страданий делает его мягким и отзывчивым. А сейчас не до жалости, не до всепрощения... Вокруг еще много притаившихся врагов.

— Много народу прикармливаете от солдатского котла, лейтенант?

Не зная, доволен ли я этим или ему предстоит взбучка, начальник АХЧ смущенно пробормотал:

— Главным образом, детишек подкармливаем, товарищ гвардии подполковник. Жалко все-таки, они же ни в чем не виноваты. Только если нельзя, так я распоряжусь...

— Кормите и впредь. Наоборот, если есть возможность, то давайте больше, разумеется, из остатков и не во вред солдатскому питанию.

— Конечно, я понимаю.

— Но вы все-таки не назвали количество людей.

— Точно сказать не могу, но детей, наверно, с семьдесят будет, а стариков и старух тоже около того наберется.

— А молодых?

Лейтенант помялся и неуверенно ответил:

— Бывают и молодые ффрау, только редко, да и все разные.

— Вот именно — все разные. С сегодняшнего дня чтобы ни один человек, даже дети, не проникал во двор. Пищу выдавать только на улице. Понятно?

— Так точно!

— Если хоть кто-нибудь из немцев будет замечен в помещении или во дворе, вы, товарищ лейтенант, пойдите под суд. Я лично на вас возлагаю эту ответственность.

— Понятно, товарищ гвардии подполковник, — становясь «смирно», ответил начальник административно-хозяйственной части.

— Гуманность — гуманностью, доброе дело — добрым делом, но помните, что мы находимся на немецкой территории, окружены тысячами немцев, у которых мужья, сыновья и братья отступили и сражаются против нас на Одере.

— Понятно, товарищ гвардии подполковник!

— И самое главное. Фашисты — опасные и непримиримые наши враги. Ясно, что, уходя, они оставили здесь своих людей, и самое маленькое ротовейство может стоить нам больших жертв. Постарайтесь то же самое растолковать солдатам.

— Слушаюсь! Все, что приказали, будет исполнено! — отчеканил лейтенант.

— А кормить голодных — кормите! — уходя, закончил я.

Подходя к комендатуре, я увидел забавную картину. Около дома, от угла и до угла, не быстро, очень размеренно, прижав к груди кулаки, бегал американец. Он был одет в фуфайку без рукавов, с вырезом на шее и в короткие спортивные брюки, на ногах его были кожаные тапочки.

— Привет... Утренняя зарядка. Не могу без бега и гантелей... привычка... — улыбаясь, сказал он, остановившись возле меня.

— Что же, это здорово, — ответил я.

— И вам советую то же. А теперь извините, — взглядывая на часы, сказал он, — побегаю еще десять минут.

— И ко мне завтракать! — пригласил я.

— Благодарю! — уже на бегу крикнул корреспондент и рванулся вперед, сопровождаемый восхищенными немецкими мальчишками...

За завтраком собрались мои гости. Пришел и американец, уже переменивший свою фуфайку и короткие брючки на серый клетчатый костюм фасона «гольф» и высокие цветные шерстяные чулки. На ногах Першинга были ярко-желтые туфли на толстой каучуковой подошве.

К концу завтрака пришел Насс. Я пригласил его выпить с нами чашку кофе. Першинг дружелюбно оглядывал Насса, что, однако, не помешало ему удивленно произнести:

— Станный вы народ, русские... Я бы никогда не посадил вместе с собой за стол побежденного врага.

У вас же, по-видимому, вместе с окончанием боя проходит и злость к противнику.

Насс, не понимавший русского языка, молча пил кофе. Я промолчал, но Запольский ответил американцу:

— Нет, ненависть к фашизму и к классовому врагу у нас, у советских людей, не пропадает никогда. Мы ни на минуту не забываем о причиненном зле и не прощаем фашистам крови, зверств и истребления наших людей, но вообще к немцам у нас такой ненависти нет. Немцы были и есть разные, разное к ним и отношение.

— Тем более что сидящий с нами господин Насс — коммунист, антифашист, спартаковец и наш настоящий товарищ, — вставил я.

Услышав свою фамилию, Насс перестал пить кофе и вопросительно посмотрел на всех. При словах «коммунист» и «товарищ» он закивал головой, улыбнулся и, указывая на себя, сказал:

— Яволь, то-варич, коммунист!

Першинг пожал плечами:

— А для меня все они — враги.

Вошедший Глебов помешал продолжению беседы.

— Товарищ гвардии подполковник, разрешите доложить, — сказал он, останавливаясь в дверях.

— Докладывайте.

— Там, на улице... виноват, позабыл, как она называется, сейчас скажу... — вынимая из кармана бумажку, сказал старшина и медленно прочел: — На штрассе Грю... не... вальд в разбитом доме наши саперы в стене кое-что обнаружили. Прикажете произвести раскопки или сами пожелаете присутствовать?

— В стене? Это интересно, — сказал Рудин.

— Наверно, какой-нибудь фриц, убегая, золото замуравовал, — предположил Володя.

Я взглянул в зеркало, стоявшее напротив, и увидел настороженное лицо американца. Не успел я взглянуть на него, как Першинг воскликнул:

— Воображаю, что там... вероятно, всякий хлам добродетельного немецкого буржуа. А все-таки интересно было бы, с вашего разрешения, присутствовать и нам при работах ваших саперов.

— Да-да! Разрешите, Сергей Петрович, — в один голос запросили корреспонденты, — любопытно!

— Читатели американских газет очень любят подобные сообщения, — вставил Першинг.

— А вдруг там мина или какая-нибудь бомба замедленного действия? — предположил я.

— Это пустяки, — махнул рукой Володя. — Мы на них уже насмотрелись.

— Вряд ли, — подумав, сказал Рудин, — хотя от фашистов можно ожидать всего.

Американец ждал решения молча, ковыряя во рту зубочисткой.

— Ну что ж! Если дадите слово, что не будете мешать саперам, разрешаю.

— Спасибо! — сказал Запольский.

— Оцепите это место, — приказал я.

— Уже все сделано, товарищ гвардии подполковник, — сказал Глебов.

— Ну, в таком случае отправляйтесь, товарищи, только прошу не мешать старшине в его работе.

— А вы? — спросил Першинг.

— О нет! Это мало меня интересует. Я останусь с господином Нассом. Тут еще сотни незаконченных дел по бургомистрату.

Гости мои шумно удалились, обрадовавшись случаю, так разнообразившему их пребывание здесь.

— А вечером в театр? — уже в дверях спросил Рудин.

— Конечно, — кивнул ему я.

— Чудесно! — засмеялся Володя.

Мы с Нассом остались одни. Я принялся за бумаги, принесенные им. За окном прогудели машины с отъезжающими корреспондентами. Я сделал несколько резолюций и пометок на бумагах бургомистрата.

— Ну-с, что вы скажете, товарищ Насс? — откладывая в сторону карандаш, спросил я.

Насс улыбнулся и негромко сказал:

— Мне кажется, что ошибки не произошло. Мистер Першинг проявил интерес к обнаруженному кладу. Я заметил это.

— Я тоже! Отлично. Теперь подождем событий, подтверждающих это, а сами займемся текущими делами. Вы вчера навестили Майера?

— Да, я провел у него около часа. Он рассказал все то, что и вам, Больше его не беспокоил никто.

— Вы передали ему, чтобы он сидел дома и не показывался на улице?

— Да. Он понимает, что это необходимо.

Затем Насс доложил мне еще о трех домах, в которых также обнаружено скрытое имущество, брошенное или запрятанное бежавшими из города нацистами.

— Где находится это имущество?

— В разных концах города, в развалинах домов.

— Возьмите на учет и охраняйте до моего приказа,— сказал я.

Мы не спешили с выемкой брошенных хозяевами кладов, в своем большинстве состоявших из мелких ценностей, вроде материи, фарфоровой посуды, серебряных вещей, сервизов, белья и т. п. Все это постепенно и по списку изымалось из потайных мест. Очень хорошо, что умница Глебов так правдиво и так ловко разыграл сегодня сцену с «обнаруженным» кладом.

Закончив дела бургомистра, я сказал Нассу:

— Прошу установить наблюдение, с кем и где будет встречаться Першинг. Вам это сделать легче, чем мне.

— После вчерашнего разговора я уже делаю это, товарищ подполковник. Сегодня утром, например, он, занимаясь спортивным бегом и прогулкой, встретился с фрау Хальдер, проживающей,— он заглянул в свою книжку,— возле Старого рынка, в доме номер сто сорок четыре, с господином Эрихом Кнорре и парикмахером Таутбаумом, у которого он стригся.

— Вы гений, товарищ Насс,— смеясь, сказал я.

— Нет. Я коммунист, я не верю буржуазии, к какой бы она нации ни принадлежала.

— Перечисленные вами лица подозрительны?

— Двое — нет, третий, Кнорре, вообще говоря, лоялен и пока вне подозрений, но его дочь работала массажисткой у баронессы Манштейн, бежавшей вместе со своим мужем, известным богачом и фашистом, в Ольденбург.

— Ну, это, конечно, еще не большой криминал. Мало ли кого массируют массажистки, бреют парикмахеры и омолаживают институты красоты! Продолжайте следить за американцем, но только так, чтобы он не заметил.

— Этого не случится.

Поговорив еще немного о делах, Насс ушел, а я спустился вниз, где уже слышался сдержанный гул голосов ожидающих приема,

Корреспонденты приехали к двум часам. Оживленно беседуя, они вошли ко мне, рассказывая о том, как участвовали в раскопках на улице Грюневальде.

— Ну что, каково впечатление? — спросил я.

Рудин развел руками.

— Да так... просто любопытно.

Запольский же пояснил:

— Вместо мины — сундуки с бельем, тюки с шелком и домашние вещи, несколько ящиков с ликерами и рейнским вином.

Першинг добавил:

— Ожиданий было много, а результат — плачевный. Имущество и скрытые запасы мануфактуры какого-то сбежавшего купца. Ничего путного, кроме белого вина, в этом кладе нет.

— Опись найденного произведена? — спросил я старшину.

— Так точно! Вот подлинник, а копия передана в бургомистрат. Имущество свезено на склад, — доложил Глебов. — Сдано все, кроме пакета с бумагами, который я привез сюда.

— Какого пакета? — спросил я.

— Не могу знать, товарищ гвардии подполковник, написано все не по-русски. Вот господин корреспондент читал и может вам об этом доложить, — указывая на Першинга, сказал старшина.

— Да... я мельком взглянул на них. По-моему, пустяки. Так, незначительная торговая, родственная и деловая переписка между хозяином имущества и его знакомыми, — небрежно ответил Першинг.

Я взял у Глебова вскрытый по краям объемистый пакет. Он был перевязан бечевой.

— Ничего не выронили при вскрытии? — спросил я.

— Нет. Только неумело разорвал конверт и еще хуже завязал, — засмеялся Першинг. — Когда мы нашли его, он был запакован и завязан куда искуснее, чем сейчас.

— Не беда! — сказал я. — Передам переводчице, она почитает и покопается в нем. А теперь, друзья, садитесь обедать, а меня прошу извинить, я уже ел, да и дела не позволяют мне оставаться с вами. Увидимся через час. — И я вышел, сопровождаемый старшиной.

У подъезда стоял блиставший лаком «адлер». Это был

трофейный автомобиль, переданный вместе с другими машинами коменданту.

Глебов сел за руль, я примостился рядом. «Адлер» рванулся с места.

— Ну, как? — спросил я.

— Точка в точку, товарищ гвардии подполковник. Прошло как по писаному. Когда мы приехали к оцепленному месту, корреспонденты и этот американец бросились к стене, возле которой стоял часовой. Ну, я сделал вид, будто даже и не знаю, в каком месте этот самый «клад». Корреспонденты, конечно, засуетились, кто фотоаппарат наводить стал, кто ручку вынул...

— А американец?

— Спокойно себя держит, даже глазом не поведет, только все спичку за спичкой достает, сигару никак не закурит. Ну, тут я понял: волнуется... Пошуровали саперы своими щупами, повозились и докладывают: «Безопасно, можете действовать». Стали мы стену разбирать...

— Так-так. А дальше?

— Дальше... вынули мы ряд кирпичей, ну, там прокладка, ниша, а в ней это самое барахло...

— Как держал себя американец?

— Рядом со мной был, даже про сигару свою забыл. Как только показались свертки и тюки, он даже на носки привстал, все через спины солдат разглядеть старался, а как убедился, что, кроме барахла, ничего в стене нет, успокоился, присел в сторонке, перестал интересоваться. Сидит, сигару свою покуривает да позевывает.

— Так-так! А не заметили, не отлучался ли он от вас куда-либо?

— Никуда, все время возле был. Как же все-таки это получается, товарищ начальник? — в волнении позабыв даже назвать меня как следует, сказал Глебов. — Как же это возможно?.. Я не могу понять этого. Ведь он же не фриц, а американец, подданный страны, воюющей с Гитлером... Ведь он же наш союзник, и солдаты его страны сражаются с фашистами и в Италии, и во Франции. Почему же он нам, мерзавец проклятый, из-за угла нож в спину готовит?.. Что ему надо?

— Очень просто, старшина. Ты же коммунист и должен знать, что дело не в национальности, а в классе. Насс, например, немец, но он коммунист, сын рабочего класса и друг советского народа. Понятно?

— Понятно. Насс — твердый и надежный товарищ, — согласился Глебов.

— Ну а американец этот — слуга тех, кто, несмотря на то что американские солдаты дерутся с фашистами, поддерживает Гитлера против нас. Понятно?

— Но ведь это же измена своему народу, — ошеломленный, сказал Глебов.

— Правильно. Но международному капиталу наплевать на народ. Народ для него лишь средство для получения сверхприбылей.

— Так точно, понятно!

— Ну а этот самый корреспондент явился сюда по приказу своего хозяина, чтобы изъять что-то такое, что, вероятно, может скомпрометировать американских заправил и раскрыть их карты... И это понятно?

— И это понятно, товарищ гвардии подполковник. Что ж теперь будете делать? Посадите этого гада в подвал рядом с фрицевским радистом или отошлете его в штаб?

— Ни то ни другое, — ответил я.

— А как же? — опешил старшина.

— Очень просто. Он — официальный представитель газет союзной нам державы, и никаких явных улик у нас против него нет. Если мы арестуем его, то дело, из-за которого он залетел в Шагарт, станет для нас гораздо сложнее, чем при нем. За ним следят, он ничего не подозревает, в то время как мы многое знаем о нем. Плюсы на нашей стороне.

— Точно! Все правильно, товарищ гвардии подполковник, — обрадовался Глебов.

— Теперь надо одно: чтобы американец ничего не заметил. Для этого держитесь с ним так же, как раньше, пейте с ним пиво, курите его сигары, болтайте о чем угодно, кроме, конечно, этого дела...

— Противно... но раз надо, так надо... будем продолжать дружбу, — сказал Глебов.

— Надо, надо, старшина. Пусть он считает нас дураками, а себя умницей. Посмотрим, как он под конец запоеет. А теперь сверните, товарищ Глебов, на главную дорогу, ведите помедленней машину и, сделав за озером круг, возвращайтесь обратно.

Итак, Першинг был прислан сюда в помощь немецким агентам С-41, С-50 и другим. Он должен был помочь

им в овладении невывезенным «главным». Если Першинг не сумел сдержать себя при сообщении Глебова о найденном в развалинах «кладе» и, что еще важнее, обнаружил нетерпение увидеть найденное, это значит, что он еще не успел встретиться в Шагарте с агентами Генриха и что сам он не знает, где находится «главное». «Главное» — это бумаги, документы, имеющие огромную, поистине «мировую» ценность и значение не только для гитлеровцев, но и для американцев. Иначе они никогда не решились бы в такое сложное и исключительное время направить сюда своего агента.

Все это было очевидно. Было ясно и то, что близится финал. К сожалению, я не был бдителен, сглупил, и комедия с гробом удалась фашистам. Но... цыплят по осени считают... Поглядим же, господу Першинг, Генрих и остальные, кто из нас посмеется последним!

Под вечер гости вместе с переводчицей отправились в кабаре. Американец вспомнил, что не закончил начатой статьи, и поднялся к себе. Я заперся в своей комнате и почти час работал в одиночестве. Неожиданно меня вызвали вниз. У входа в комендатуру стоял Тулубьев. По взволнованному лицу старика я понял, что случилось что-то неладное.

— В чем дело, Александр Аркадьевич? — пропуская его вперед и закрывая за ним двери, спросил я.

— Да, знаете ли, странное дело, какая-то фантазматическая, — разводя руками, сказал Тулубьев. — Прямо чудеса какие-то. Двадцать минут назад я нос к носу встретил своего бывшего хозяина, барона Манштейна.

— Как вы называли его? — спросил я, вспоминая, что уже слышал эту фамилию.

— Манштейна. Разве я не говорил вам о нем? Приятеля Володьки Трахтенберга, большого барина и богача. Уехал он отсюда со всей своей семьей еще задолго до вашего прихода и должен быть где-то далеко, в Ольденбурге. Как же он очутился здесь? Одет он был крайне просто — в дешевой, потертой паре, в рабочей кепке на голове. Это он, Манштейн! Когда я остолбенел и остановился перед ним, он, даже не замедлив шага, прошел мимо так, словно и вовсе меня не было. Ничего! Ни удивления, ни беспокойства, ни, наконец, смущения от вне-

запной встречи. Нич-чего! Я окликнул было его, но трое или четверо горожан, неожиданно появившихся из-за угла, затеяли тут же какую-то ссору и задержали меня, а когда я наконец отбился от них, на улице уже не было моего бывшего хозяина. Но и это еще не все. Этот самый Манштейн был не один. С ним шел какой-то незнакомый мне господин, в сером клетчатом костюме гольф, в серой кепке, с сигарой во рту. А Манштейн, этот белоручка, сноб и богач, нес на плече какой-то чемоданишко, что ли.

Я пристально посмотрел на Тулубьева.

— И разговаривали они, Сергей Петрович, я это ясно слышал, по-английски. Я хотя и не знаю этого языка, но легко, конечно, мог понять, что говорили они по-английски.

— Та-ак! — сказал я. — Опишите, пожалуйста, Александр Аркадьевич, еще раз человека, шедшего с Манштейном.

— Среднего роста, довольно плотный мужчина, с быстрыми, пронизательными глазами.

— Он вас видел?

— Да. Когда я окликнул Манштейна, этот господин оглянулся и очень внимательно посмотрел на меня, продолжая разговаривать на ходу с Манштейном.

— Напрасно вы это сделали, но что уж сделано, того не воротишь. А где произошло это?

— На Гогенлоэштрассе, около дома, где сейчас находится бар. Я как раз выпил там чуточку.

— А вы не ошиблись, Александр Аркадьевич? Может быть, это был человек, просто похожий на вашего барона, или вино затуманило вам глаза?

— О нет! Манштейна я узнал бы и за версту. У него такое характерное лицо рафинированного денди, усталая, хромающая походка... а насчет вина — я выпил очень мало.

— В таком случае извините. Итак, вы говорите, он хром?

— Да, несколько припадает на левую ногу — результат испанской войны.

На левую ногу... Я задумался. Мне припомнились обстоятельные ответы старшины Глебова, когда комендант расспрашивал его о группе немцев, ехавших на кладбище Ангелюс...

— Да он это, он! Не стоит даже сомневаться, госно-

дин подполковник, это был барон Манштейн. Как мне не узнать его характерного лица с густыми черными, как бы наклеенными бровями!..

— Подождите, подождите, прошу вас, Александр Аркадьевич, — остановил я гусара и, вынув из шкафа дело о похищенной картине, стал искать запись опроса старшины. Так и есть. Глебов говорил нам о немце с густыми бровями, слегка хромящем на левую ногу.

— Вы уверены в том, что ваш хозяин месяц назад уехал отсюда, а не остался в Шагарте?

— Абсолютно. Но он уехал не месяц, недель семь назад, причем задолго до отъезда перевез и переслал в имение Геринга, находящееся где-то в Ольденбурге, на западе, у голландской границы, все свое наиболее ценное имущество.

— Геринга? А почему именно Геринга?

— А разве я не говорил вам, что барон — родственник первой жены рейхсмаршала?

— Не говорили.

— Странно! С этого бы мне и следовало начать весь рассказ; ведь и разбившийся Трахтенберг тоже один из своры, окружавшей Геринга.

— А-а, это интересно, — сказал я. — Александр Аркадьевич, видите ли, я был прав, когда говорил, что шансы на ваше возвращение в Россию не погибли со смертью Трахтенберга. Вот вам еще более верный шанс. Найдите вашего хозяина, и вы спустя полгода будете на родине. А теперь, — закончил я, — попрошу вас пройти со мною в подвал, где сидит один арестованный фашист из той же геринговской компании. Возможно, что вы знаете его.

И мы спустились в подвал, сопровождаемые автоматчиком, несшим большой зажженный фонарь.

Это был чистенький, метров в восемь подвал с двумя оконцами, сквозь которые смутно проглядывал лунный свет. Железная кровать, покрытая серым солдатским одеялом, стол, два стула и маленькая лампочка в потолке. На столе — лист с правилами поведения арестованного и выдержками из Устава гарнизонной службы. Последнее было здесь только потому, что подвал служил для коменданта гауптвахтой, но сейчас, за неимением другого подходящего места, губа стала камерой для арестованного фашиста. Циммерман молча взглянул на нас через плечо и отвернулся к стене.

— Встать! — скомандовал автоматчик, сопровождавший нас.

Но немец, словно не слыша, продолжал сидеть спиной к нам.

— Арестованный Циммерман, потрудитесь повернуться и отвечать на вопросы, — сказал я.

Фашист молчал. Я снова повторил свои слова.

— Я вам уже говорил, что отвечать ни на что не буду, — слегка поворачиваясь ко мне, сказал он.

Яркий свет фонаря осветил его.

— А-а, старый знакомый! — воскликнул Тулубьев, разглядывая освещенное лицо.

Циммерман, хмурясь, прикрыл ладонью глаза.

— Да что вы отворачиваетесь от меня, господин фон Циммерман, неужели не узнаете?.. — продолжал бывший гусар.

Но арестованный перебил его:

— Я никогда не имел чести вас знать.

— Вот это здорово! «Не имел чести знать», а на конях, которые я вам подавал у барона Манштейна, имели честь кататься?

Циммерман опустил ладонь и, щурясь, стал вглядываться в гусара.

— Ну да, в то время вы, почтенный герр доктор, может быть, и не обращали особенного внимания на меня, ухаживавшего за лошадьми на конюшне, но я-то хорошо знал вас и ваших друзей — Манштейна и Трахтенберга. Эта тройка всегда все свои поездки и вечерние прогулки совершала вместе. Барон — на Диане, Володька Трахтенберг — на Цезаре, а этот господин — на Брамапутре.

— Господин офицер, он или пьяный, или сумасшедший. Я прошу вас удалить его отсюда!

— Да ведь это ж был первейший друг покойного Володьки, — рассердился Тулубьев.

Циммерман поднял голову и насторожился.

— Не волнуйтесь, не волнуйтесь, Александр Аркадьевич, — остановил я гусара, боясь, как бы он не проговорился еще. — Вы не знаете, где проживает этот человек?

— Где проживает — не знаю; но куда ездил вместе с моим хозяином и Трахтенбергом — знаю, так как раза четыре вместе с грумом провожал их кавалькаду.

— Куда?

— На Гогенлоэштрассе, дом номер... Вот номера-то не припомню...

Я из темноты следил за Циммерманом. Все мускулы его напряглись, глаза остановились, губы дрожали. Волнение, которое он хотел скрыть, было сильнее его воли.

— Вот номера-то и не помню,— наморщив лоб, повторил Тулубьев,— но завтра же покажу вам дом... Да, позвольте, это как раз тот самый дом, рядом с которым я сегодня встретил Манштейна...

Старый гусар был, по-видимому, добрым человеком, лихим рубакой и приятным собутыльником, но искусством дипломата и тонкостями разведчика явно не обладал. Уже второй раз он проговаривался, давая шпиону прекрасные козыри.

— Хорошо, господин Тулубьев, мы завтра как следует прочедем этот дом,— сказал я, продолжая наблюдать за немцем.

Циммерман молчал, глаза его равнодушно, как бы в пустоту, смотрели на нас, по чуть дергавшейся губе и первному постукиванию пальцами о кровать я понимал, что удар был нанесен в самое сердце врага.

— Скажете нам что-нибудь или предпочтете молчать? — спросил я Циммермана.

Все с той же равнодушной миной он молча покачал головой.

Мы вышли. Часовой запер на ключ и на засов двери и мерно заходил по коридору, время от времени заглядывая в глазок.

— Удивляюсь я вашему терпению,— покачивая головой, сказал Тулубьев.— Вот у нас всегда писали про ужасы ЧК. Я и вправду думал, что сейчас черт знает что будет, а вы так вежливы, спокойны...— Он помолчал и вдруг добавил: — А следовало этому Циммерману надавать по морде... ей богу! — И он сердито сплюнул.

Тулубьев отправился домой, пообещав зайти ровно в десять часов. Домом на Гогенлоэштрассе, о котором уже дважды упоминал гусар, стоило заинтересоваться.

Я вызвал дежурного.

— Попросите сюда американского гостя, мистера Першинга,— приказал я.

— А его, товарищ гвардии подполковник, нету в комендатуре. Он давно, наверно, больше часа, как ушел

прогуляться. Очень жаловался на головную боль, когда уходил... порошок какой-то даже принял...

Итак, Тулубьев был прав: Манштейн и Першинг встретились. Но почему так открыто? Вероятно, потому, что у американца уже не хватало времени для действий. Ведь завтра корреспонденты уезжали.

Побрившись и переменяв гимнастерку, я пошел в театр, куда на моей машине уехали корреспонденты и переводчица.

Вечер был тихий и ясный. На улицах виднелись многочисленные прохожие. У ворот и подъездов сидели немки, дети с шумом и криками бегали по асфальту. Команда наших солдат человек в шестьдесят, отстукивая шаг, проходила через площадь, и старая солдатская песня «Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать» победно разливалась над притихшими домами взятого с бою немецкого городка.

У подъезда театра стоял наш автомобиль. В дверях, в полосе фиолетового приглушенного света, виднелись шофер и комендантский патруль, позади которых, кланяясь и делая широкие приглашающие жесты, суетился директор кабаре.

— Где гости? — спросил я шофера.

— Во втором ряду.

Из окошечка кассы приветливо улыбалась, вся в золотых завитках, кудрявая головка. На ступеньках с восторгом на лице стоял администратор, широко распахнувший передо мной дверь.

— До чего вежливые стали фрицы, не то что перед вами, а передо мной кадрили пляшут, — сказал шофер. — У меня мотор забарахлил в дороге, сразу, откуда ни возьмись, человек пять набежало. Не успел я и с машины сойти, а они уже капот подняли, в одну минуту исправили.

— А вы, Корнеев, не очень доверяйте фашистам. Враги врагами и останутся.

— Да это я, товарищ гвардии подполковник, сам понимаю, только не все же они такие, то были цивилизные, рабочие-немцы. Помогли, попросили закурить, взяли по сигаретке и ушли.

— Все равно, товарищ Корнеев, никого не подпускайте к машине, не только цивилизных, но даже и детей.

— Есть, товарищ гвардии подполковник! — ответил шофер, и в его глазах и голосе я почувствовал явное не-

одобрение. «Трусит подполковник»,— можно было прочесть в его взгляде, которым он обменялся с патрулем.

В зале было светло и многолюдно. В партере виднелись гимнастерки нескольких наших офицеров и солдат. Бесшумно скользили кельнеры с подносами, на которых пенилось пиво, стояли бокалы с лимонадом, белым и красным вином. На сцене разыгрывался веселый скетч. Зрители дружно хохотали.

Сопровождаемый до приторности любезным администратором, я дошел до второго ряда и сел около Эльфриды Яновны, быстрым шепотом переводившей корреспонден-там диалоги актеров. Два весьма посредственных жонглера проделывали наивные и плохо отработанные номера; после них под шумные возгласы и аплодисменты зрителей выбежала артистка в коротком детском платье, в белых носочках, с широко открытыми ясными глазами. Она мелодичным голосом ответила на приветствия зрителей и, гоня взад и вперед по сцене большой обруч, стала напевать какую-то детскую песенку. Я в бинокль посмотрел на нее. Это была женщина не первой молодости, но еще не потерявшая обаяния, к тому же ее платье, носочки, коротенькие косички производили со сцены впечатление невинности и детского простодушия. Зрители, любимицей которых, по-видимому, она была, встретили ее восторженным ревом. Артистка, напевая детскую песенку о двух котятках, вдруг проскочила сквозь обруч и, продолжая петь, стала, играя с обручем, делать такие телодвижения, что я невольно отвел в сторону глаза, а корреспондент Рудин открыл от удивления рот. Мы молча переглянулись, но зрители, словно вспрыснутые живой водой, в восторге бурно затопали ногами. Женщины, хохоча и деланно отворачиваясь, махали артистке платками. Несколько букетов полетели на сцену. Девушки, красные от смеха и возбуждения, что-то кричали актрисе, а она все с тем же невинным лицом девочки, потряхивая заплетенными косичками, мелькая носочками и панталончиками, выделявала крайне двусмысленные и откровенные па, продолжая напевать простодушную песенку о двух маленьких котятках.

— Не удивляйтесь, это здесь ценится выше всего. Ни один актер или актриса не найдут себе признания и ангаже-мента, если в их репертуаре нет хотя бы двух-трех подобных номеров,— спокойно объяснила переводчица.

Нам было неловко смотреть ей в глаза, но, к счастью, артистка закончила свой номер и, раскланиваясь под вой и гул аплодисментов, убежала за кулисы.

Последним номером было появление толстого, одетого в шелковый цилиндр и фрачную пару артиста с моноклем в глазу и дымящейся сигарой в уголке рта. Он галантно и свободно раскланился с публикой. Видимо, это был комик, общий любимец и приятель, по крайней мере, половины этого зала. Комик выступил с глушеишим, пошлым номером, снова вызвавшим горячее сочувствие зрителей.

— Вот и все! — поднимаясь с места, сказала переводчица.

— Да-а, удовольствие ниже среднего, если не сказать сильнее, — криво улыбаясь, сказал Миронов. — И вульгарно, и пошло, и черт его знает что еще!

В моем «опеле» могли поместиться только три-четыре человека, нас же вместе с переводчицей было шестеро. Ночь подходила тихая, ясная, такая, какие у нас на юге бывают в сентябре. Большая луна поднималась над домами. Мне не хотелось сразу же возвращаться к работе и делам.

— Кто хочет вместе со мной пешком прогуляться до дому? — спросил я.

Рудин и Миронов охотно согласились, а Запольский, переводчица и фотокор Володя сели в машину.

— А вы подождите здесь, товарищ гвардии подполковник, я быстро слетаю до комендатуры и через десять минут вернусь за вами, — сказал шофер, заводя мотор.

— Не надо, мы с удовольствием прогуляемся по этой благодатной теплыни, — ответил за меня Миронов.

И мы пошли.

Спустя минуту нас обогнал «опель», из которого показался Володя, помахавший нам рукой.

Позади еще шумела расходившаяся по домам толпа. Наступал запретный час. В десять часов движение населения по городу прекращалось. Откуда-то издалека тепло, задущебно и тихо донеслась до нас песня:

Ревела буря, гром гремел,
Во мраке молнии блистали...

Немецкий город молчал. Стихли шаги спешивших по домам горожан, а русская песня все еще звучала. Когда

мы подходили к Кайзерштрассе, в конце которой находилась наша комендатура, я услышал торопливый топот. Мы остановились под деревьями, посаженными вдоль тротуаров. Несколько солдат выбежали из-за угла, комендантские повязки темнели на их рукавах. Они остановились, озираясь по сторонам и вглядываясь вдоль пустынной улицы. В стоявшем впереди человеке я узнал Глебова.

— Кого ищешь, старшина? — выходя из тени, спросил я.

— Вас, товарищ гвардии подполковник, — даже не удивившись моему появлению, коротко сказал Глебов. — У нас чепе произошло, несчастье, — негромко произнес он.

— Что именно?

— Автомобиль ваш потерпел аварию. На всем ходу перевернулся, мотор взорвало...

— А люди? — в один голос спросили мы.

— Один из товарищей, — показывая на корреспондентов, продолжал старшина, — убит. Шофер тоже, наверно, помрет, а переводчица лежит без памяти, то ли оглушена, то ли испугалась. Сейчас их всех в госпиталь переносят, а я за вами побежал.

— Вы не знаете, кто именно убит из корреспондентов? — дрогнувшим голосом спросил Миронов.

— Тот, что помоложе, который коменданта «лейкой» снимал, — сказал Глебов.

— Володя, — тихо произнес Рудин.

И я вспомнил смеющееся лицо фотокора, когда он всего полчаса назад, обгоняя нас на «опеле», помахал нам рукой.

— Чем вызвана авария? — спросил я, убыстряя шаг.

— Говорят, что-то с мотором случилось. Сейчас техническая комиссия приступает к осмотру машины, — стараясь не отстать от меня, ответил Глебов.

Патруль и корреспонденты шли сзади. Мы добежали до комендатуры, у дверей которой столпились встревоженные происшествием солдаты.

Фотокор был убит сразу. Бедный юноша лежал на больничной койке, прикрытый белой солдатской простыней, и на его разбитом виске темнели сгустки крови. Вто-

рой корреспондент, Запольский, отделался ушибом плеча и сложным вывихом кисти. Переводчица, потерявшая сознание, уже пришла в себя, но еще не могла говорить и тихо стонала. Шофер Корнеев лежал в отдельной палате с белым, заострившимся лицом, с ясным, строгим и сосредоточенным взглядом. Врач, осматривавший раненых, предупредил меня, что шоферу осталось жить не более получаса.

— От сильного удара произошло внутреннее кровоизлияние,— шепотом сказал он.— Сделали переливание крови, но оно не дало результатов.

Когда я присел возле него, Корнеев только повел глазами и снова устремил их в потолок. Я сказал несколько обычных в таких случаях успокоительных слов, но он, кажется, даже и не слушал их. Он порывисто дышал, в груди у него что-то kloкотало, и простыня быстро и неровно поднималась, сползая на пол. Я поправил ее.

— Вот и... помогли... фрицы,— вдруг четким, свистящим шепотом произнес Корнеев.— А я еще... по... посмеялся над... вами... Думал... испу.. испугал...ся... подпол...— Он закашлялся и смолк.

В палате снова стало тихо. По спокойному, неподвижному лицу шофера поползла слеза. Я осторожно вытер ее краем полотенца.

— Прощай, Корнеев...— прошептал я, глядя на бледнеющее лицо шофера.

Он долго молчал, потом с усилием кивнул головой и закрыл глаза. Не оборачиваясь, я вышел из палаты.

Техническая комиссия обнаружила, что мотор был взорван каким-то неизвестным предметом малой формы, но большой взрывной силы.

Я сидел задумавшись за столом, когда внизу прогудела и остановилась машина.

— Здравствуйте, Сергей Петрович! — услышал я и увидел входившего в комнату Матросова.

Хотя я и знал, что он должен со дня на день быть здесь, но в эту минуту особенно обрадовался ему. Я крепко пожал руку полковнику, усаживая его в кресло.

— Мы одни? — спросил он.

— Одни,— запирая двери, ответил я.

— Я в курсе всего того, что происходит здесь. Генерал рассказал мне все. Первые два-три дня я только нахожусь тут, вы же продолжайте все так, как и делали.

В штабе довольны вами, довольны работой Насса и госпожи Вебер.

Я посмотрел в его посвежее лицо, в спокойные глаза, и мне стало жаль, что я должен сразу же огорчить его известием о только что совершенном здесь преступлении.

— Андрей Ильич! Вы, наверно, еще не знаете о том, что сейчас погибли двое людей — московский корреспондент и ваш шофер Корнеев.

Матросов вскочил с кресла.

— А госпожа Вебер и второй корреспондент ранены,— продолжал я и подробно доложил ему о происшествии.

— А ведь покушение-то было задумано против вас,— заметил Матросов.— Машина эта ваша, никто другой ею не пользуется. Это значит, что осиное гнездо, которое вы потревожили, переполошилось и перешло в наступление.

В дверь постучали. Я отпер ее, и в комнату вошел корреспондент Миронов, сумрачный, со скорбным, потемневшим лицом.

— Не помешал беседе? — осведомился он, поклонившись коменданту.

— Наоборот, мы с полковником Матросовым обсуждаем детали катастрофы. Присаживайтесь, — сказал я, указывая рукой на кресло.— А это, товарищ Миронов, корреспондент московской газеты, друг погибшего фотокора Володи.

Миронов пожал руку коменданту и сел, покачав головой.

— Бедный Володя! Целый год провел на фронте, на самых позициях, снимал под огнем и атаки, и танки, и «катюши». И погиб вот так, от глупой, нелепой случайности...— сказал он.

— Это диверсия, а не случайность. И ваш товарищ погиб не нелепо, а как солдат, от руки врага на боевом посту. Пока это все, что мы можем сообщить вам, но позже вы узнаете подробности диверсии,— сказал я.

Полковник молча и утвердительно наклонил голову.

— Диверсия? — удивленно повторил Миронов, и поняв по нашим лицам, что это правда, задумался.— Вот тебе и тихий, мирный городок, где спокойно, как на курорте,— сказал он.— Я старший в нашей литературной группе и от ее имени прошу вас... Нам очень не хочется, что-

бы Володя был похоронен в чужой, немецкой земле...— Он помолчал.— Завтра утром «АНТ» улетает обратно. Разрешите отправить на нем тело погибшего товарища?

— Хотя летчики и не подчинены мне, но думаю, что смогу сделать это,— ответил я.— Только прошу вас: о том, что было сказано здесь, никому — ни Запольскому, ни Рудину, ни Першингу, решительно никому — ни слова! Случайная катастрофа — не больше. Это поможет раскрытию виновных.

— Понимаю. Будьте спокойны,— сказал Миронов, уходя.

— Не расскажете ли мне подробнее о переводчице?— попросил я коменданта.— Сегодня вечером я предполагал поговорить с ней, но эта авария помешала беседе.

— Она художница, латышка, вышедшая в тысяча девятьсот тридцать девятом году замуж за довольно известного немецкого художника Вебера. Их связала общность профессий и любовь. Макс Вебер был веселый, жизнерадостный человек, больше похожий на парижских художников, нежели на прилизанных, ходивших по струнке гитлеровских маляров. Может, потому, что он был австрийцем, да и молодость свою провел в Париже. Это был человек, насыщенный кипучей энергией, очень смелый, остроумный и несдержанный на язык. Это и погубило его. Макс Вебер был убит гестаповцами в сороковом году. Обстоятельств его смерти я не знаю, о них вам расскажет сама Эльфрида Яновна, когда несколько придет в себя, но знаю, что труп мужа ей не был выдан для погребения, а она сама была выслана сюда, в Шагарт, где и жила на положении поднадзорной. Здесь она сблизилась с семьями других ссыльных и немало помогла нашим пленным, работавшим у здешних богачей. Во всяком случае, в штабе армии отзываются о ней как о надежном, нашем человеке.

— Такое же впечатление создалось и у меня,— подтвердил я.

— Смерть мужа сделала ее антифашисткой, хотя сам Вебер был больше человеком богемы, фрондером, зло издававшимся не столько над самим фашизмом, сколько над его вождями. Кстати, есть такие книги: «Гитлер в мировой карикатуре» и «Четыре Г», то есть «Геринг, Гиммлер, Геббельс и Гесс». Так вот, в этих книгах часть карикатур, очень злых и остроумных, принадлежит Веберу.

— Это и погубило его?

— Да, хотя свои рисунки он подписывал другим именем. И это вам тоже расскажет его вдова.

Затем я стал рассказывать полковнику о встрече Тулубьева с его бывшим хозяином — Манштейном и американцем.

— Об американце поговорим позднее. Пока скажу, что господин Джордж Першинг, он же Уолтер Бейли, — капитан американской разведки. Он и Трахтенберг — звенья одной и той же цепи. Завтра пощупайте дом на Гогенлоэштрассе, но только так, чтобы никто из живущих в нем даже и не почувствовал этого. Вызовите Насса и возьмите от него точные данные о жильцах и посетителях этого дома. Вы очень доверяете Тулубьеву? — вдруг спросил комендант.

— Очень, после истории с гробом, переводчицей и американцем я не доверяю никому, но тут все-таки доверяю. Пока что он оказал мне немало услуг, и я уверен, что он вскоре еще пригодится для дела.

— Конечно, — согласился полковник. — В нашем деле каждый полезный человек нам нужен, и мы не вправе отказываться от таких людей.

В коридоре послышались торопливые шаги. Вошел взволнованный Глебов, растерянно озираясь по сторонам.

— Товарищ гвардии подполковник, — забывая попросить разрешения у коменданта, нервно заговорил старшина, — еще чепе! Вашего знакомого... как его... Тулубьева нашли убитым.

— Убитым? — поднимаясь с места, спросил комендант.

— Так точно! Задушенный ремнем в развалинах валялся. Патруль на него набрел. Жалко человека! — с искренним сожалением сказал Глебов. — Хоть и из прежних, а хороший, чистый человек был папаша, убили... подлецы!

— Где убитый? — спросил я, подходя к Глебову.

— Сюда принесли.

— Несите его в приемную, — приказал комендант. — Вот вам еще одно доказательство... — задумчиво продолжал он.

Мы спустились в приемную. На диване лицом кверху, со свисшими к полу руками лежал бывший гусар Тулубьев. Я подошел к нему. Непонятное волнение охвати-

ло меня, видевшего смерть десятков более близких мне людей. Ведь все же это был бывший белогвардеец, случайный и мало знакомый мне человек. Так почему же я не отрываясь глядел в его начинавшее синеть квадратное лицо? Не потому ли, что, несмотря ни на что, он был и остался русским человеком, до самой своей смерти сохранившим любовь к своему народу, к своей России?..

Среди ночи меня разбудил телефонный звонок. Звонил радист лейтенант Ваня.

— Товарищ Пятьдесят четыре! (Это был мой позывной номер.) Только что Страус отозвался. Сейчас посылаю вам его карканье.

— Жду! Высылайте связного, — приказал я и, освежив лицо одеколоном, оделся и стал ждать.

На стуле лежал «Штабс-капитан Рыбников», дочитать которого мне так и не давали события. Я взял книгу и углубился в нее, но не успел прочесть и четырех страниц, как в полуоткрытых дверях показалась всклокоченная голова Харченко.

— Что тебе? — спросил я, забавляясь комическим видом вестового.

— Чаю нагреть? — позевывая, спросил он и вдруг, вспомнив, доложил: — Там требуют вас.

— Кто «требуют»?

— Не могу знать. Солдат один дожидается, а як вы приказалы в хату никого не пущать, я и не допускаю.

— Молодец! Так всегда и делай, — еле сдерживая улыбку, серьезно сказал я. — Ну, пускай сюда твоего солдата.

Это был посыльный мотоциклист, привезший шифровку от лейтенанта.

Придвинув лампу, я стал вчитываться в радиограмму и расшифровывать ее.

«Вот уже 12 дней, как не имел от вас сведений. Были подозрительные попытки связаться с нами на условленной волне, но мы не отвечали из осторожности. Делаем последнюю попытку радировать в неурочный ночной час. Где С-41 и С-50? Где главное? Связались ли с помощью? Нас беспокоит неизвестность. Повторяю приказ: во что бы то ни стало выполните задание. Этого требуют интересы и будущее великой Германии. Если в утренней передаче не сообщите известный номер и текст расписки, прием и связь прекращаем. Генрих».

Опять многозначительно и веско прозвучало напоминание об интересах Германии.

Я уложил бумаги в шкаф и, не гася огня, одетым прилег на кровать. Спать уже больше не хотелось. Все, что произошло в эти дни, медленно, словно страница за страницей, проходило передо мной. Но теперь все эти радиogramмы, «искомое» и «главное» не были для меня тайной. Я уже твердо знал, что искал Генрих и зачем на помощь фашистам так стремительно примчался сюда американский разведчик. Я уже нашел тот винтик, ту самую маленькую деталь, благодаря которой вещи становятся по своим местам. Я тихо рассмеялся и направился к Матросову.

Полковник сидел полураздетый возле стола и курил.

— Я слышал, что вам доставили радиogramму, и ждал вас. Текст вы мне покажете после. Теперь поговорим об американце. Это прожженный разведчик. Нужно сказать, что мистер Першинг, он же Бейли, получил разрешение посетить только штаб армии, а не Шагарт. Как он очутился тут и как примазался к группе наших корреспондентов, сейчас выясняется. Завтра отошлите его в штаб армии, откуда он немедленно будет выслан в Москву, а оттуда в двадцать четыре часа вылетит из наших пределов в Иран или Турцию. Вы сразу стали не доверять Першингу? — спросил комендант.

— Наоборот. В первое время он даже понравился мне.

— Почему же вы перестали доверять ему? Что заставило вас насторожиться?

— Тот самый «коготь с лапы орла», о котором писал Ландау. Одна фраза захваченного радиста Циммермана. При допросе он крикнул: «Америка никогда не допустит этого!» Так вот, значит, откуда ждали спасения фашисты. Америка! И тут мне вспомнились слова Генриха, теперь уже ясные для меня: «Помощь с востока». Кто может помочь фашистам с востока? Никто, кроме американцев! Эта мысль подтвердилась неожиданным появлением Першинга. Зачем ему нужен был этот маленький Шагарт, без войны, без штабов, без сенсаций? Зачем он как бы ненароком пытался узнать у старшины, обнаружены ли тут шпионы? Зачем он, ненавидя немцев, тайком встречался с ними? Почему его встревожило сообщение Гле-

бова о «кладе»? Зачем ему нужно было одному, без провожатых, бродить по чужому, незнакомому городу? Почему его, газетчика, корреспондента, не интересовал замок Гинденбурга? Настоящий газетчик поступил бы иначе. Потому, что он приехал не за этим. Потому, что ему нужно было выкроить время и встретиться с Майером, с Манштейном, получить у них «главное» и, пользуясь нашим доверием к нему, как к корреспонденту союзной державы, спокойно вывезти бумаги в Москву, а там уже господа дипломаты переправили бы их с дипломатической почтой в Америку. Всего этого было совершенно достаточно, чтобы заинтересоваться им. Поняв это, я сделал то, что и должен был сделать, — стал следить за американцем, а сам написал генералу о своих подозрениях с просьбой выяснить, кто такой Першинг. Вот и все! — закончил я.

— Именно так и расценили в штабе визит этого господина в Шагарт, — сказал Матросов.

Он докурил папиросу и стал одеваться. Я положил перед ним на стол расшифрованную радиограмму. Только тут вспомнил, что, занятый трагическими происшествиями, даже и не спросил полковника о его здоровье.

— А вы напрасно поторопились сюда, Андрей Ильич, вам, вероятно, следовало бы еще отдохнуть после операции.

— Зачем? Аппендикс вырезан благополучно, рана затянулась, швы сняли. Если б не генерал, я уже два дня как был бы с вами. Сейчас, дорогой Сергей Петрович, мы оба очень нужны здесь. Ну, я готов. Пойдемте, покажите мне захваченного радиста.

Мы спустились вниз. Часовой открыл дверь в подвал.

При нашем появлении Циммерман чуть приподнялся со своей койки.

— Сидите, — сказал я.

Фашист отвернулся и стал глядеть в сторону.

— Ну-с, надумали что-нибудь, Циммерман? — спросил я.

Спрошенный молчал.

— Вы продолжаете разыгрывать героя-одиночку, убежденного в том, что его действия спасут других. Ошибаетесь, других уже ничто не может спасти. Дело о замурованном архиве Генриха, а точнее, Геринга...

Циммерман испуганно повернулся ко мне.

— ...можно считать законченным. Все лица, кроме убитого Трахтенберга, арестованы. Остался лишь последний шаг для полного раскрытия всего этого дела, и, логически действуя, мы сами не сегодня-завтра найдем к нему ключ; но, сделав самостоятельно этот шаг, мы лишаем вас последнего шанса спасти себя. Подумайте над этим. Трахтенберг, как вы знаете, погиб, Манштейн арестован, Майер в наших руках, а ваша последняя надежда — американец Бейли...

Циммерман вздрогнул и ошалело посмотрел на меня, губы его дрожали.

— Да-да! Американец, капитан разведки Уолтер Бейли, которого с «востока» направили ваши заокеанские друзья, чтобы вывезти остатки архива Геринга...

— Вы все знаете, — упавшим голосом прошептал Циммерман.

— Не все, но почти все... Завтра же мы будем знать и остальное, и тогда это будет ваша безусловная смерть, Циммерман, — сказал я.

— В таком случае... что же я могу сказать вам... если все уже известно.

— Немногое, но спасающее вас. Где, в каком месте находятся архивы Геринга и что вывез в гробу Трахтенберг?

— Дайте мне полчаса времени подумать, и тогда, может быть, я скажу вам все, — тихо сказал Циммерман.

— Хорошо! Устроить вам очную ставку с Манштейном?

— Нет! — глухо сказал он. — Не надо, но, прошу вас, пока ни о чем не спрашивайте его...

— Почему?

— Когда вы получите мои показания и убедитесь, что они точны, не забудьте ваших слов... — Он опустил голову и еле слышно договорил: — О шансе на спасение.

— Я подтверждаю вам это! — сказал молчавший комендант. — Мы зайдем завтра. Ваше спасение в ваших же руках, Циммерман.

Мы вышли из подвала.

Полежав немного на диване, я встал, умылся, выпил наскоро чаю и стал ожидать корреспондентов, сегодня улетающих в Москву.

Спустя полчаса Миронов и Запольский, уже готовые к отлету, зашли ко мне. Лица их были сумрачны и сосредоточенны. Забинтованная рука Запольского висела на перевязи.

— А Першинг спит? — спросил я.

— Одевается. Сейчас сойдет сюда. Он, кажется, останется. Как он, бедняга, потрясен этой ужасной катастрофой, — сказал Запольский. — Когда я утром стал рассказывать ему о смерти Володи, он чуть не прослезился. Переменился в лице, не хотел этому верить.

— Еще бы, — вздохнул Миронов, — смерть юноши... — Голос его дрогнул, и он замолчал.

В комнату вошел старшина.

— Товарищ гвардии подполковник, старшина Глебов по вашему приказанию прибыл.

— Здравствуйте, товарищ Глебов. Отправили тело на аэродром?

— Так точно! Гроб на полутонке и взвод для салюта отбыли.

— Ну, тогда отправимся и мы, — сказал я.

— А Першинг? — спросил Миронов.

— Он подъедет за нами. Старшина Глебов дождется и подвезет его.

Мы поехали на аэродром, расположенный километрах в девяти от города.

Возле большого самолета суетились механики, в последний раз проверяя машину. Воздух гудел от рева моторов, и мощная волна от работавшего пропеллера взметала пыль по сторонам.

Я поднялся по лесенке и положил на простой сосновый гроб цветы, которые прислал Насс. Потом я спустился вниз. Было уже больше восьми часов, и машина должна была взлететь через несколько минут. Вдалеке прогудел гудок, блеснул на солнце лак автомобиля, и в ворота въехала машина. Из нее вышел Першинг, сопровождаемый старшиной. Американец, всплеснув руками, бросился ко мне.

— Какой ужас! Неужели это правда? Бедный мальчик!

— Да! Война — суровая штука, — ответил я, глядя на часы.

До отлета оставалось еще минут пять, а коменданта все не было.

— Значит, обратно в Москву? — обращаясь к корреспондентам, спросил Першинг и тяжело вздохнул. — Бедный юноша... какая нелепая смерть. Я надеюсь, вы разрешите мне, господин полковник, побыть здесь день-два, чтобы закончить очерки.

— Вам, мистер Бейли, придется ехать в штаб армии, — раздался позади меня голос.

Я оглянулся. Комендант стоял возле и холодным, спокойным взглядом смотрел на американца.

— Как вы сказали? — отступая назад, спросил Першинг.

— Я сказал — Бейли, могу добавить — капитан Уолтер Бейли.

Старшина и двое солдат шагнули из рядов и стали по бокам американца. Корреспонденты, раскрыв от изумления глаза, смотрели на нас.

— Я... арестован? Если это так, я протестую. Вы не имеете права...

— Зачем арестованы? Нет, просто вам следует ехать в штаб армии, где, собственно говоря, вы и должны быть. Зачем вам Шагарт? Тут скверный климат, господин Бейли, вам надо отправляться восвояси, туда, где для вас здоровее воздух, — продолжал комендант. — Посадить его в полутонку! — приказал он. — Двух конвойных до штаба, чтобы в пути кто-нибудь не обидел дорогого гостя! Старшина Глебов, вам поручаю сдать этого господина лейтенанту Кравцову, который немедленно же отвезет его в штаб. Возьмите об этом расписку.

— Есть, отвезти и взять расписку, товарищ гвардии полковник! — выкрикнул старшина Глебов. — А ну, прощу в карету! — сказал он.

Двое солдат сели по бокам насупившегося Першинга.

Глебов снял шапку и быстро взбежал по лесенке в самолет. Через секунду он, все еще держа в руках ушанку, сошел вниз. Глаза его были строги, лицо грозно. Молча ненавидящим взором он посмотрел на американца.

— Постарайтесь, старшина, проделать это поскорее. Вы будете мне нужны сегодня, — сказал я.

— Есть, быть в готовности, товарищ гвардии подполковник! — сказал Глебов, усаживаясь рядом с шофером.

Полутонка ушла.

Корреспонденты вышли из оцепенения.

— Неужели... он? — переводя дух, спросил Миронов.

— Да. И еще некоторые!

Запольский провел здоровой рукой по лицу и сказал с горечью:

— А всего пять минут назад он с такой скорбью говорил о Володе... Лицемер! Убийца!

Полковник взглянул на часы. Зарокотали моторы, корреспонденты вошли в самолет. Взвод сделал три коротких залпа, и «АНТ», сорвавшись с места, побегал по дорожке, потом оторвался от земли, взмыл и, сделав прощальный круг над аэродромом, взял курс на Москву.

Вернувшись с аэродрома, я стал ожидать Насса. Вскоре он пришел. В коротких прочувствованных словах Насс выразил свою скорбь о постигшем моих гостей несчастье.

— Это и моя вина, господин подполковник. Я должен был предвидеть возможность злодеяния и своевременно пресечь его.

— Что делать, дорогой Насс! Это наша общая вина. А наша общая обязанность — найти и покарать негодяев.

— И мы сделаем это! — коротко сказал Насс.

Домовая книга и справки из бургомистрата о доме по Гогенлоэштрассе, которые принес Насс, содержали лишь общие сведения. Дом № 28 населен разношерстной публикой — от мелкого служащего до вдовы генерала, владелицы бир-халле и дома свиданий. Два адвоката, семья полковника, модистки из ателье мод, директор местного индустриального училища. Черт знает, где и у кого мог спрятаться этот Манштейн. Я задумался. Насс выжидательно молчал.

— Что это за дом свиданий?

— Привилегированный публичный дом, в котором насчитывается около двадцати девушек. Заведение зарегистрировано в бургомистрате. Его хозяйка, вдова генерала фон Таубе, кажется, даже приходила к вам.

— К нам?

— Да, во всяком случае она сослалась на разрешение коменданта, данное ей в устной форме.

— Скажите, это не полная, представительная дама?

Насс улыбнулся.

— Это она. По-видимому, светские манеры нужны и в ее деле.

— Кто бывает у нее?

— В пивной — все. И горожане, и русские солдаты.

— А наверху?

— Разные люди. Проследить за ними трудно. Хотя пивная и находится в первом этаже, а заведение в четвертом, но они соединены друг с другом двумя ходами. Помимо черной лестницы есть и еще один особый ход, ведущий через садовую беседку в ворота.

— А это зачем?

Насс снова улыбнулся.

— Ведь это заведение посещают и такие лица, которым неудобно, если их встретят там. Отцы семейств, деятели города, а также дамы и девицы, которые приходят туда со своими возлюбленными на короткий срок.

— Понятно! Кем был генерал Таубе, муж этой почтенной дамы?

— Не знаю. Она из Баварии и в Шагарте, кажется, сравнительно недавно.

— Откуда у вас такие подробные сведения обо всем этом?

— По долгу службы. Ведь я занимаю должность начальника отдела внутреннего порядка при бургомистре. Таким образом, функции полиции лежат на мне.

— Вы женаты, товарищ Насс?

— Да, вернее, был... После моего ареста в сорок втором году семья была выслана в район Юлиха, и с тех пор я ничего не знаю о ней.

— Я хочу, чтобы вы помогли мне. Надо проникнуть в это заведение. Мне лично нельзя. Мое появление вызовет там переполох и подозрение.

— И мое тоже, — сказал Насс. — Горожане Шагарты слишком хорошо знают меня, чтобы поверить такому поступку. Я понимаю вас. Возникла необходимость детально познакомиться с заведением госпожи фон Таубе, и это надо сделать без шума?

— Дайте мне подробные сведения о генеральше и о Манштейне.

Насс посмотрел на часы и сказал:

— Я принесу их вам через два часа.

Он ушел. Было уже половина десятого. Наступал срок, назначенный фашистским радиоцентром, но я ничего не мог ответить на их вопрос, по-прежнему не зная тех тайных условных знаков, отсутствие которых вызвало подо-

зрение фашистского центра. Вошедший Глебов оторвал меня от невеселых дум.

— Товарищ гвардии подполковник, вам письмо от Эльфриды Яновны.

Я вскрыл конверт. В нем было только три строчки: «Чувствую себя хорошо. Если можете, приходите сегодня, и мы поговорим обо всем, чему помешала эта ужасная катастрофа. Э. Вебер».

— Кто принес записку?

— Я принес. Пока вы были на аэродроме, я заходил справиться о здоровье переводчицы. Доктора говорят — завтра выпишется, — ответил Глебов.

— Слушайте, старшина! Вы, случаем, не бывали в здешней пивной на Гогенлоэштрассе? — осененный внезапной мыслью, спросил я.

— Как не бывал, не раз в патруле при обходе бывал, да и так случалось. А что?

— А наверху, повыше, не бывали?

Глебов удивленно взглянул на меня.

— Никак нет, по службе не приходилось, а так, из баловства, не заходил.

— Ну что ж, это похвально, но на этот раз придется, старшина, побывать, и это уже не только по службе, но и по приказу.

И я рассказал ему мой проект.

— Вас знают в пивной?

— Так точно. И хозяйка знает и девушка, там такая есть, подавальщица Марианна.

— А не встречали ли вы там человека с густыми бровями, хромающего на левую ногу?

Старшина отрицательно покачал головой, задумался и спросил:

— Это не того, что на кладбище ехал?

— Того самого.

— Нет. А разве он там?

— Не знаю, но есть предположения, что там. А эта Марианна — ваша симпатия?

— Нет, просто так, глазки строит да ухмыляется.

— А как же Эльфрида Яновна на это посмотрит?

Глебов вздохнул.

— Хороша Маша, да не наша. Эти разные Марианны — барахло: вежливо улыбаются да глазки строят, а

сами нож за пазухой держат; а Эльфрида Яновна — другое...

— Что же другое?

— Настоящий человек. И ее ничем — ни страхом, ни лаской — не купишь.

— Ну что ж, по-моему, вы не ошибаетесь, — ответил я. — Передайте Эльфриде Яновне, что зайду к ней после обеда, а вы загляните ко мне вечером. Может быть, вам сегодня же придется по службе подняться и повыше пивного зала.

Насс пришел ровно через два часа. Не торопясь он достал из портфеля блокнот и прочел мне сведения, полученные им за это время.

— «Барон Карл фон Манштейн, сводный брат баронессы фон Фокк, первой жены Геринга, уехал из Шагарт в провинцию Ольденбург в начале декабря 1944 года. Барон — владелец четырех домов в городе, отличной скаковой конюшни, хозяин, участник и акционер ряда предприятий города и его районов. Активный фашист и доверенное лицо Геринга по Южной Силезии. В 1938 году ездил на полгода в Англию, останавливался у герцогини Астор, встречался там неоднократно с Мосли. Крепко связан экономическими и дружескими связями с американскими фирмами Рокфеллер и Дюпон. В июле 1944 года Геринг посетил Шагарт и провел у фон Манштейна полтора дня.

Анна-Мария Таубе, вдова генерала, умершего в 1938 году. Хозяйка бир-халле и дома свиданий на Го-генлоэштрассе. Была тесно связана с бежавшей администрацией и офицерами гарнизона. «Дело» поставлено широко. Посещается разнообразной публикой. Пивная закрывается в восемь сорок пять, а заведение в восемь часов вечера, хотя предполагается, что в комнатах четвертого этажа остаются посетители на ночь.

Девушек — девятнадцать. Все зарегистрированы у бургомистра. Есть предположение, что девушек больше, но официальных данных об этом нет.

Дом номер тридцать шесть принадлежит некоему Циммерману, фашисту, покинувшему город больше трех месяцев назад...»

— Как зовут Циммермана?

— Конрад. Он родной...

— ...племянник рейхсмаршала Геринга, — закончил я.

— Вы знаете это? — удивился Насс.

— Да, и мне кажется очень странным, что все эти господа, связанные родством и делами с Герингом, не уехали, не бежали отсюда еще задолго до нашего прихода, а, наоборот, слетелись сюда.

— Разве Конрад фон Циммерман здесь?

— Да! Он находится недалеко отсюда — сидит внизу, в подвале.

Насс не без уважения взглянул на меня.

— Как вы думаете, зачем сошлись сюда эти люди, вместо того чтобы как можно дальше бежать от нас? Что может интересовать их настолько сильно, что они не боялись riskнуть головой?

Насс молча и внимательно слушал.

— Золото, деньги и богатства, впопыхах оставленные здесь и спрятанные где-нибудь в Шагарте?

Насс отрицательно покачал головой.

— Эти люди очень богаты. У них на западе Германии имеются поместья и дома, и к тому же они успели своевременно вывезти свои ценности.

— Может быть, организация диверсий и шпионаж?

— Тоже нет. Разве эти светские, богатые люди сумеют быть хорошими шпионами?

— Тогда зачем же они здесь?

Насс задумался, потом сказал:

— Я думаю, что они прибыли сюда по приказу их родственника и главаря Геринга и что в деле, из-за которого они рискуют головой, помимо всего прочего, лично заинтересован Майер.

— Кто? — переспросил я.

— Майер, — повторил Насс и улыбнулся. — Да, ведь вы не знаете, что у нас в Германии уже четыре года как народ называет Геринга Майером.

— Почему?

— А потому, что, когда нацисты двинули свои полчища завоевывать мир, Геринг, выступая по радио, торжественно заявил немецкому народу: «Мы сильнее всех в воздухе. Если хоть одна вражеская бомба упадет на территорию Германии, зовите меня не Герингом, а Майером».

— А что значит «Майер»?

— Да просто самая распространенная, рядовая фамилия, так, как у вас...

— Иванов, — подсказал я.

— Вот именно. Ведь и этот сбежавший фашист, к которому наведывался американец, был Майер. Ну, а когда бомбы посыпались на наши города, народ потихоньку стал называть Геринга Майером.

Я засмеялся и посмотрел в окно на унылые развалины, высившиеся в разных концах Шагарта.

— А какое отношение имеет исчезающая картина Вебера к этому делу?

— Не знаю. По-моему, никакого, хотя об этом вам следовало бы поговорить с ффрау Вебер. Я лично, как искусствовед, изумлен, что вокруг талантливой, но и только талантливой, картины создан какой-то ажиотаж.

— Так зачем же фашисты похитили ее?

— Не понимаю. Мне кажется, она им не нужна, — сказал Насс.

Я с большим удовлетворением слушал его слова. Вывод, который я давно сделал сам, теперь подтверждался в беседе с этим умным и рассудительным человеком. Конечно, зачем нужна была фашистам эта, в конце концов, посредственная картина? Да будь она даже великим произведением искусства, принадлежи кисти Леонардо, Гойи или Тициана, никто не послал бы почти на верную смерть столько видных людей из-за картины. Но тем не менее картина была украдена ими. Насс не знал всех подробностей дела, но ведь я-то знал, что за картиной дважды приходил некий Гецке, что была подделана подпись коменданта и что переводчица помогла украсть картину...

— Вы знали Вебера? — перебивая ход своих мыслей, спросил я.

— Нет. Только его работы. Знаю, что он был талантливый, независимый, но вместе с тем и неуравновешенный человек. Это был художник, которого интересовал не столько самый объект, сколько его внешние формы. Таким же он был и в жизни, и нас не удивило ни то, что его убили в гестапо, ни то, что он писал с натуры Геринга.

— Геринга?

— Да. Разве вы не заметили, что этот тучный, выхоленный вельможа, стоящий рядом с Фридрихом и Вольтером, — Геринг?

— То есть как Геринг? Восемнадцатый и двадцатый век? — ничего не понимая, сказал я.

Насс рассмеялся и развел руками.

— О-о, для нацистских господ подобные пустяки не имеют никакого значения. Дело в том, что худородный и мало кому известный капитан Геринг, сын незначительного колониального губернатора, сделав возле Гитлера свою умопомрачительную карьеру, не захотел остаться просто Герингом, и по его приказу ученые геральдисты не только состряпали ему стародворянское происхождение, но и нашли доказательства, что Геринги якобы некогда были владетельными баронами, о мощную руку которых еще во времена феодальных княжеств и рыцарских орденов опирались папы и короли. Доктор исторической геральдики и магистр германского права Фукс даже доказал, что Геринги по женской линии происходят от самого Генриха-Льва... Ну, после этого открытия остальным уже ничего, собственно, не стоило окружить Фридриха, Фридриха-Вильгельма и остальных германских императоров воображаемыми предками нашего Майера...

— Так, значит, вот для чего была написана эта картина!

— Да. И Макс Вебер, по-видимому прельстившись солидным гонораром, легко и очень быстро написал этот самый «Выезд Фридриха II из Сан-Суси». Но, человек смелый, острый на язык и неосторожный, он одновременно с этим зло издевался над Герингом и высмеивал его в своих шутках и остротах. Мало того, по рукам стали ходить остроумные карикатуры Вебера о первобытной обезьяне, от которой якобы и начали свой род Геринги. Немало издевался он и над страстью рейхсмаршала к орденам и лентам. Словом, летом тысяча девятьсот сорокового года художник был взят в гестапо, а его жена выслана сюда.

Так вот почему мне показалось таким знакомым это пухлое, выхоленное лицо с брезгливо опущенной губой. Ведь я сотни раз видел на карикатурах Ефимова, Моора, Кукрыниксов и Дени эти круглые, заплывшие жиром черты. Как же мне сразу не пришло это в голову?

— Как видите, господин подполковник, картина эта, судя уже по тому, что она находилась здесь, а не в замках Геринга, не представляла собой ценности, иначе она не висела бы в вашей приемной.

Это я понимал и сам, но тем не менее это еще ничего не объясняло.

— Где находятся дома Манштейна?

Насс снова заглянул в свой блокнот.

— Один — на Ксантинерштрассе, другой, снесенный английской бомбой, был около вокзала, третий — на улице Гинденбурга и четвертый, наполовину разбитый, — недалеко отсюда.

Он встал и, подойдя к окну, показал на стены разрушенного дома.

— Это там, где обнаженные этажи с портретами на стенах?

— Да.

— Не знаете ли, в каком из домов Манштейна оставались Геринг?

— Как раз в этом. Он занимал весь второй этаж.

— Когда был разбит этот дом?

— В декабре тысяча девятьсот сорок четвертого года, — снова посмотрев в книжку, ответил Насс.

— А вы предусмотрительны! — засмеялся я.

— Что делать! Я искусствовед и привык к точным и ясным определениям, сейчас работаю начальником полиции, это уже само говорит за себя, к тому же тюрьма научила меня быть предусмотрительным и заранее знать, о чем со мной будут говорить. Она отшлифовала во мне искусствоведа.

— И долго вы сидели?

— В общей сложности четыре с половиной года.

— Не знаете ли вы, производились ли раскопки этого дома?

— Кажется, нет. У нас слишком мало рабочих рук, и бургомистрат еле справляется с расчисткой улиц, чтобы восстановить движение... Хотя, позвольте, — вдруг, что-то вспоминая, сказал Насс, — только день назад ко мне обратилась группа живущих в этом районе граждан с просьбой свалить и убрать нависшие над тротуаром разрушенные стены. Они даже выразили желание, если у нас сейчас нет такой возможности, самим сделать это.

— Чем мотивировали они столь похвальное желание?

— Тем, что их дети, играя и бегая вниз, подвергаются опасности. Родители боятся обвала.

— Вы не помните, кто именно приходил к вам с такой просьбой?

— Нет, но их фамилии записаны мной. Разрешите, я через час сообщу вам список.

— Вы понимаете меня с полуслова, дорогой Насс, но

боюсь, что адреса и фамилии этих образцовых и чадолюбивых родителей ничего не скажут нам...

— Вы думаете?

— Я уверен в этом.

— Но, господин подполковник, ведь они же явятся ко мне за разрешением.

— Те, кто явятся, будут наивными, ничего не подозревающими немцами, и они начнут работать, но за их спиной будут те, которых беспокоят не дети, играющие на асфальте, а нечто другое. Прошу вас задержать выдачу разрешения на день-два, пока я не извещу вас. Само собой разумеется, никто не должен догадаться об этом. Вечером, около шести часов, зайдите ко мне и принесите список.

— Будет исполнено.

— И последнее, что вы сделали с домом номер тридцать шесть на Гогенлоэштрассе?

— Уже повел наблюдение за ним.

— Благодарю вас. Пока это все, что нужно. До вечера, товарищ Насс!

— А теперь, товарищ подполковник, один вопрос. Американец изолирован?

— Да. Выслан отсюда.

— Очень хорошо. Одним меньше.

Я остался один. Было тихо. Через открытое окно слабо доносились голоса. Я закрыл окно, запер дверь и пошел в госпиталь к переводчице.

Побледневшая, в строгом больничном халате, с выбивающимися из-под косынки волосами, она показалась мне ещё привлекательнее, чем раньше.

— Я так рада, что вы пришли. Мне уже казалось, что вы меня позабыли, — сказала она.

— Ну как ваше самочувствие? — совсем по-докторски спросил я.

— Хорошо. У меня был сильный ушиб головы и, конечно, немалый испуг, — улыбнулась она. — Но сейчас все кончилось, и завтра я возвращаюсь к работе.

— Что так быстро? Здесь скучно?

— Нет, вовсе не скучно. Меня навещают и знакомые, и друзья. Просто пора выходить отсюда.

Мы прошлись по аллее густого, довольно запущенного сада и, подойдя к одинокой скамейке, сели на нее.

— Теперь я к вашим услугам, господин подполковник.

Вы хотели поговорить со мной о моем муже, обо мне и о картине.

— Не надо, Эльфрида Яновна, я все уже знаю, и комендант, и товарищ Насс полностью информировали меня. Мне только нужно уточнить несколько не ясных для меня деталей дела.

— Пожалуйста!

— Откуда вы знаете Циммермана?

— По Риге. Он учился в немецкой школе, а я в гимназии святой Луизы. Мы встречались и даже танцевали на гимназических балах. Затем я потеряла его из виду, и, когда мой муж начал писать эту картину, я, бывая с ним на вилле Геринга возле Потсдама, встречала там Циммермана, уже ставшего доктором права и важным господином.

— За что убили вашего мужа?

— По приказу Геринга. Геринг, став вельможей и вторым после Гитлера лицом в Германии, пожелал убедить мир в своем аристократическом происхождении. В тысяча девятьсот тридцать девятом году в Ней-Бабельсберге был даже выпущен фильм «Кровь предков», который доказывал, что Геринг происходит от Карла Великого. Мой муж был вызван к Герингу, и рейхсмаршал предложил ему написать картину. Муж согласился. Была найдена тема. Сначала Макс охотно писал картину, но потом бесконечное бахвальство, кичливость и самовлюбленность рейхсмаршала вывели мужа из себя. «Я не могу больше писать этого кровавого шута, этого нацистского Нерона», — как-то вырвалось у него. Картина была закончена, художнику был предложен второй заказ, но он отказался. Это удивило Геринга, он вызвал Вебера к себе, но мой муж, сказавшись больным, не поехал к нему. Геринг рассвирепел, а когда он узнал, что автором многочисленных, ходивших по рукам карикатур был Макс, его участь была решена. Его убили, а меня после ряда угроз и издевательств выслали сюда под надзор политической полиции.

— Очень ценил Геринг картину вашего мужа?

— Нет. Настолько мало, что после ареста Вебера эта картина была отдана кому-то из его близких.

— Благодарю вас, Эльфрида Яновна, пока все. Желаю скорейшего выздоровления и жду вашего возвращения.

Переводчица опустила глаза и сказала:
— Думаю, что завтра буду на работе,
Она проводила меня до калитки.

— Итак, наши выводы подтверждаются с самых различных сторон.

— Вот, а еще говорят, что Шерлоки Холмсы перевелись па свете, — засмеялся комендант. — Вы, дорогой Сергей Петрович, как-нибудь опишите всю эту историю с пропавшей картиной и трагической кончиной Володи и Тулубева.

— Непременно, но сначала мы дадим этой истории соответствующий конец, как у Конан-Дойля, когда порок наказан, преступники пойманы и добродетель торжествует.

— И когда вы думаете создать этот конец? — с любопытством спросил полковник.

— Может быть, через день-два, но никак не позже трех суток, — сказал я, вставая.

— Куда вы? Скоро обед, — остановил меня Матросов.

— В подвал. У Циммермана было достаточно времени для размышлений. Надеюсь, что сейчас мне удастся проверить мои выводы о заданиях шпионской группы, хотя я совершенно убежден, что не ошибся. Не хотите ли со мной?

— Нет. Беседуйте, — улыбнулся Матросов.

— Ну, уважаемый фон Циммерман, я пришел за ответом.

Арестованный молча взглянул на меня.

— Но, прежде чем получить ответ от вас, скажу, что сегодня под утро мы произвели обыск квартиры номер двадцать восемь, где живет генеральша Таубе.

Циммерман весь посерел.

— Да-да! В вашем доме по Гогенлоэштрассе и захватили...

— Не надо... — с трудом выдавил арестованный.

— Как видите, шансы ваши все уменьшаются.

Немец опустил глаза.

— Помните, что мне лично наплевать на судьбу фон Циммермана, фашиста и диверсанта, но я обещал вам спа-

сти вас, если будет ваше полное признание, и об этом же просила Эльфрида Вебер, с которой вы когда-то танцевали на гимназических балах. Если бы не она, я, возможно, и не пришел бы сейчас к вам, герр Циммерман, так как все, что нам нужно, уже почти известно.

Арестованный не отвечал. Он сидел все в той же позе, с поникшей головой.

Я решил дать ему некоторое время для раздумья.

— Это мой последний приход сюда, если только вы сами не поможете себе, Циммерман, — уходя, сказал я.

После обеда я пошел прогуляться по Шагарту. Мелкие лавочки, парикмахерские, галантерейные магазины бойко торговали, и озабоченные немки, стуча каблуками, ходили по улицам. Я наугад зашел в один из магазинчиков, просто для того, чтобы посмотреть, чем там торгуют. Почтенная ффрау, сухая и суетливая, без слов выложила передо мной бритвенные лезвия, пудру, расчески, какую-то мазь для ращения волос и, торжественно подмигивая, показала из-под полы запечатанную бутылку коньяку. Я рассмеялся и объяснил озадаченной немке, что зашел только за пудрой. Так я прошел несколько улиц. Везде было одно и то же. Возле бир-халле прохаживался по тротуару комендантский патруль. Пройдя еще несколько улиц, я направился к себе. Вот и дом, вернее, половина дома Манштейна, в котором некогда гостил Геринг. Английская бомба словно отгрызла всю переднюю часть здания. Расколовшиеся стены, обломки крыши, засыпанные землей и известкой, свернувшееся железо балконов. Над этим хаосом свисали погнувшиеся балки, еле удерживавшие уцелевшую половину дома. В обнаженных этажах разорванного пополам здания стояла мебель, на стенах висели портреты. Большая, писанная красками голова сатира, столик с кружевной свисавшей скатертью, рояль, силой взрыва отброшенный в угол.

Я не спеша свернул к комендатуре.

Вечером пришел Насс. Я просмотрел список. Все это были обыкновенные, ничего не значащие фамилии.

— Зайдите ко мне сегодня около двенадцати часов, возможно, мы с вами проведем бессонную ночь.

Насс улыбнулся. Мне все больше и больше нравился этот скупой на слова, деловой и очень точный человек. Я сказал ему об этом. Насс коротко ответил:

— Мы люди будущей Германии. Рот фронт! — поднимая по-спартаковски кулак, попрощался он.

В седьмом часу Глебов пошел к фрейлейн Марианне.

— Надо, чтобы вы остались на ночь в этом вертепе. Поговорите с вашей знакомой, притворитесь пьяным, этими развязным, простым и глупым парнем.

— Это нетрудно, — засмеялся старшина.

Однако не прошло и часа, как старшина вернулся обратно с обескураженным, смущенным видом.

— Осечка, товарищ гвардии подполковник, — сказал он. — Эта самая подавальщица, Марианна... не хочет она, — старшина помотал головой, — то есть она ничего, согласна, но в этом доме оставаться не согласна...

— Ничего не понимаю! Согласна, не согласна... Разъясните толком, старшина.

— Ну, ко мне или к себе она идти согласна, а вот наверх, на четвертый этаж, — даже побелела вся... никак не хочет.

— Может, вы ее не поняли?

— Понял, товарищ гвардии подполковник. Такие дела и без длинных слов понятны: «Ферботен», — говорит, — не велено, и точка!

— Кем не велено?

— А кто ее знает, тут уж я действительно не разобрался.

— Н-да... Интересно!

— А что, товарищ гвардии подполковник, если взять да просто облаву сделать, так, как этого радиста ловили? Окружить, да и ворваться внутрь, а во дворе и на улице караулы поставить. Никто не уйдет.

— Это последнее средство, старшина. Если уж ничего не останется, тогда за это возьмемся. Вот что, старшина, — сказал я, подумав, — идите сейчас к своей фрау и приведите ее сюда, но так, чтобы она даже и не знала, куда ведете. Найдите там разные слова и способы... Словом, не мне вас учить, как ухаживать за девушками.

— Есть! — уже из-за дверей весело рывкнул Глебов.

В ожидании событий я прилег и вновь принялся за книгу, но, по-видимому, эту повесть мне не суждено было дочитать до конца.

— Товарищ гвардии подполковник! Арестованный... — раздался за дверью голос.

Я вскочил, уронив книгу.

— ...просит вас к себе. Очень, говорит, надо, — приоткрывая дверь, доложил начальник караула.

— Напугал, черт тебя возьми, я уж думал, что он бежал или повесился.

Сержант улыбнулся.

— Где ему бежать, за ним такое наблюдение устроено, чихнуть и то невозможно. Как вы ушли, он с тех пор все сидел, губы кусал да раскачивался, потом ка-ак упадет на койку — и головой о подушку... Минут десять бился, потом затих. Я даже войти хотел, думал — сомлел немец, но потом он встал, стал быстро так по камере бегать, с собой разговаривать, а сам руками машет. Походил-походил, присел к столу, долго чего-то думал, потом постучал в двери и чисто так по-русски сказал: «Попросите господина подполковника сюда. Скажите — очень прошу прийти».

— Ну, раз очень, надо идти, — застегивая пояс, сказал я.

— Господин подполковник, вы имеете право не верить мне, я дал вам к этому все основания, — сказал Циммерман, — но теперь я ничего не скрою, только, прежде чем я начну свои показания, вызовите сюда Фриду... — Он поправился: — Фрау Эльфриду Вебер.

— Зачем это? — сухо спросил я.

Циммерман тихо сказал:

— Если она повторит ваши слова о том, что она просила за меня, я ничего не скрою.

Я внимательно посмотрел на него и понял, что он не врет.

— Хорошо. Только вам придется подождать госпожу Вебер, пока ее не привезут сюда из больницы.

— Из больницы? — переспросил Циммерман. — Почему из больницы?

— Потому, что ваши друзья устроили покушение на меня. Я уцелел, но госпожа Вебер, ехавшая вместе со мной в автомобиле, получила сильные ушибы.

— И она все же просила обо мне? — в волнении спросил Циммерман.

— Да.

— Господин подполковник, снимайте допрос, — глухо сказал арестованный, опускаясь на табуретку.

Я не перебивал Циммермана, успевая лишь набрасывать стенограмму. Теперь я видел, что он не утаивал ничего.

— Да, нам было приказано рейхсмаршалом вернуться сюда и во что бы то ни стало увезти архив и его переписку, которую мы бросили второпях. Это было нашей обязанностью, но мы не выполнили ее.

— Почему?

— Потому, что наступление русских было стремительным и внезапным, и еще потому, что нас, близких к Герингу людей, здесь было несколько и каждый понадеялся на другого. Я лично был уверен, что барон Манштейн увезет бумаги, но барон в последние минуты эвакуации не смог сделать этого.

— Что вы тогда переправили в гробу из Шагарта?

— Дневники рейхсмаршала, его личные письма и часть переписки с фюрером и Гессом, касающейся нападения на вашу страну. Но всего отправить мы не смогли. Самое главное — это документы о тайных переговорах в Швейцарии между князем Гогенлоэ, фигурировавшим под вымышленной фамилией Паульс, и Алленом Даллесом, братом Фостера Даллеса, скрывавшимся под псевдонимом Балла, затем материалы о переговорах, происходивших в Анкаре, Стокгольме и Лиссабоне...

— А вы не ждете?

— Нет, я говорю правду, — упрямо сказал Циммерман. — Как видно, вы даже и не представляете себе, какой огромной ценности документы попадают вам в руки. В оставшейся папке, кроме того, основная переписка рейхсмаршала с американскими финансистами Рокфеллером, Морганом и Дюпоном... — Фашист замолчал и потом сдавленным голосом добавил: — Стенограммы секретных совещаний о подготовке сепаратного мира.

— С кем велись эти совещания? — не веря своим ушам, спросил я.

— С Америкой и Англией. Вернее, с частью американского правительства и сенаторами, врагами СССР. В частности, и о беспрепятственном вступлении американских войск в Берлин.

— Зачем?

— Чтобы помешать занятию его вашими войсками.

— Слушайте, Циммерман! Вы же понимаете, что вы

говорите о наших союзниках... — не сдерживаясь, сказал я

— Я прекрасно отдаю себе в этом отчет, господин подполковник. Но все, что я говорю, правда. Там имеется соглашение об этом, подписанное, с одной стороны, Алленом Даллесом, с другой — Геббельсом и Кребсом. Поэтому прошу учесть всю важность и ценность моего признания, прошу вас спасти мою жизнь.

— Все будет учтено. Продолжайте дальше.

— Есть там и переписка Гесса с англичанами — с леди Астор, Мосли и другими видными, влиятельными людьми. Часть ее увезена, но кое-что еще осталось в городе.

— Кто сопровождал архивы до Берлина?

— Фон Трахтенберг.

— Очень был рассержен Геринг, узнав о брошенных архивах?

— Да. Настолько, что приказал всем тем, кто должен был эвакуировать их, немедленно вернуться обратно в Шагарт и увезти или уничтожить их. Ведь он же понимает исключительную важность для вас этих архивов.

— Сообщите мне текст и номер расписки радиограмм.

— «Сельдь» и «тысяча восемьсот девяносто». Сельдь по-немецки — «Херинг», а тысяча восемьсот девяносто — год рождения рейхсмаршала.

— Кто такая «переводчица Надя», служившая в комендатуре?

— Ирма Леве из Союза гитлеровской молодежи, прибывшая сюда из Польши.

— Генеральша Таубе?

— Она выполняет роль «почтового ящика», у нее же и конспиративная квартира организации.

— Кто возглавлял вашу группу?

— Фон Трахтенберг, а в его отсутствие — Манштейн.

— Как не пришло в голову Герингу, что посылать обратно в Шагарт Манштейна, Трахтенберга и вас, которых здесь знают все, равносильно смерти?

— Вначале Геринг хотел просто расстрелять всех, но потом передумал и послал нас сюда обратно.

— Кто такой агент С-41?

— Это доктор фон Гредих, один из тех, кто вместе с Трахтенбергом перевез в Берлин документы, которые были сложены в гробу.

— Увезенные документы были там же, где и остальные бумаги Геринга?

Циммерман посмотрел на меня и спокойно сказал:

— Я вижу, что вы не знаете, где находились те и где сейчас находятся остальные бумаги рейхсмаршала, но я начал говорить правду и скажу все. Увезенные на самолете дневники и переписка находились в доме Трахтенберга, в той самой вилле, где вы захватили меня, в тайнике стены за шкафом. Все же остальные документы, личные архивы, договоры с американцами и переписка с ними были оставлены Герингом у Манштейна и хранились в сейфе, вделанном в стену второго этажа. Дом этот разрушен английской бомбой, но стена, где находится сейф, уцелела.

— Я знаю этот дом, он рядом с нами, — сказал я. — Теперь я вижу, что вы действительно сказали правду. До свидания!

Циммерман сидел опустив голову.

— Я не знаю, что с вами будет дальше, но во всяком случае признание облегчит вашу вину, и я буду просить о смягчении вашей участи, — сказал я.

Фрейлейн Марианна с беспокойством озиралась по сторонам. На глазах ее блеснули слезы.

— Чего она плакала?

А кто ее знает, товарищ гвардии подполковник, — засмеялся Глебов. — Я довел ее до комендатуры, стал звать к себе чайку попить, а она вдруг кинулась бежать. Ну, я ее, конечно, за руки и в ворота. Так и привел.

Немка, дрожа, смотрела на нас, испуганно переводя глаза с одного на другого.

— Напугал девушку, ухажер. Разве так можно? Ну, а чего она все-таки испугалась?

— Думает, что арестована, товарищ гвардии подполковник.

— Значит, есть чего пугаться, — сказал я и по-немецки спросил Марианну: — Вы знаете, где находитесь?

— О да! В русской комендатуре! — вздрогнув, ответила она.

— А почему вас привели сюда, знаете?

— Н-н-нет!

— Неправда, знаете! — сердито сказал я, глядя на обморочную немку.

— Ничего не знаю! — заголосила она. — Госпожа генеральша может подтвердить, что я честная женщина...

— Но, скажите, ведь вы же встречаетесь иногда с молодыми людьми? — спросил серьезно я.

Немка покраснела.

— Мне трудно одной, господин офицер, — тихо сказала она, — и потом, это все делают... а я служу в таком месте, где невозможно уберечься.

— Тогда отчего же вы не захотели подняться наверх с моим солдатом? — указывая на Глебова, спросил я.

— Наверх я не могу. Это нам запрещено генеральшей, но я совсем не против вашего солдата.

— А почему запрещено?

— Потому, что туда ходят разные важные лица и они не хотят, чтобы их видели там.

— А-а, это резонно. А кто же эти важные лица?

— Я не знаю, я их не видала, тем более что эти господа ходят не через пивную, а со двора соседнего дома.

— А девушек знаете?

— Знаю тех, которые иногда спускаются в пивную.

— А остальных?

— Остальных — нет, потому что они боятся, чтобы о них не узнали родные.

Я поговорил с немкой еще минут десять. Было ясно, что она ничего не знает и даже не догадывается о том, что происходит на четвертом этаже. Я успокоил ее, сказав, что ей придется пере ночевать в комнате старшины, тем более что Глебов ночью выедет со мной по делам.

— А утром я смогу уйти отсюда?

— Конечно, я бы и сейчас отпустил вас, но уже поздно, и первый же патруль заберет вас, — объяснил я Марианне.

В полночь пришел Насс. До половины второго мы рассматривали план дома № 36. Когда все было изучено, я вызвал усиленный патруль и, назначив командиром Глебова, разъяснил бойцам их задачу. Потом пошел в комнату, где спала Марианна.

— Кто это? — сонным голосом спросила разбуженная немка.

— Это я, не бойтесь, — негромко сказал я.

— Сюда нельзя, я не одета. Какие, однако, вы все мужчины шалуны! — игриво сказала Марианна, открывая дверь.

Я вошел в комнату. Ее горячие, полуобнаженные руки встретили меня в темноте.

— Я не за этим, дорогая фрейлейн, — отстранил я ее, зажигая свет. — Одевайтесь, сейчас вы поедете с нами.

— Куда? — надевая на себя платье, пугливо спросила Марианна.

— В бир-халле. Нам нужно подняться наверх. Вы будете с нами, и, если нас окликнут, вы назовете себя. Понимаете? Но так, чтобы никто не догадался, что вы не одни.

— Но госпожа генеральша завтра же уволит меня с работы.

— Не беда! Я вам предоставлю место и лучше и спокойнее, чем в ее пивной. Словом, вы понимаете, в чем дело? Там, наверху, прячется пара любовников, которых мы должны накрыть на месте...

— Я... понимаю, — застегивая дрожащими руками пуговицы и кнопки, пробормотала немка.

Увидя Насса и наряд солдат, она что-то сообразила и сразу успокоилась.

— О-о, теперь я не боюсь, господин офицер, — уже кокетливо сказала она. — Я не знаю, какую вы хотите поймать там пару, но я все равно помогу вам.

Луна зашла за облака. Стало темно и прохладно.

Мы вышли из комендатуры и без шума прошли по Гогенлоэштрассе. Вот и дом № 36. Насс и Глебов развели по местам солдат. Открыв дверь, мы тихо стали подниматься по лестнице. Второй, третий, четвертый... Я осветил фонариком черную дубовую дверь с медной дощечкой: «Фон Таубе». Насс и солдаты стояли за мной. Одну за другой старшина попробовал четыре отмычки — дверь не открывалась. Тогда он взял плоскую, с вращающейся бородкой — дверь немного подалась, но не открывалась. Помогая ему, я просунул руку и перекусил цепочку стальными щипцами. Отодвинув приставленные изнутри диваны, мы проникли в приемную. Надо было действовать быстро. Я осветил фонариком коридор и шагнул в первые же двери.

— Кто там? — раздался женский голос.

Я закивал головой Марианне.

— Это я, Марианна, к вашей милости, госпожа генеральша, — быстрым и почтительным шепотом произнесла немка.

— Спальня госпожи генеральши не здесь, ее комнаты дальше, — полуотворяя дверь, сказала девушка в ночной рубашке и в накинутах поверху халате.

Увидя нас, она взвизгнула и завопила таким голосом, что таиться уже не было необходимости.

В коридоре раздались шаги. В одной из комнат что-то зазвенело. Послышались женские крики. Зажегся свет, и в одну секунду все заведение госпожи Таубе превратилось в потревоженный муравейник.

Мы заполнили весь этаж. Вой и крики немолк переположили дом. В этажах стали вспыхивать огни. Кто-то кричал в пролете лестницы. Во дворе показались мечущиеся люди.

— Что такое, что случилось? — появляясь откуда-то из глубины коридора, бросилась мне навстречу предстательная женщина в голубом халате и кружевном чепце.

Это была та самая «великосветская дама», которая так недавно была у меня на приеме.

— Господин комендант! — делая скорбные, недоумевающие глаза, воскликнула она. — Что это значит? Врываться ко мне, среди ночи...

— Где ваша комната, сударыня?

— Вот она, к вашим услугам, господин офицер, но я все же не понимаю... — несколько театрально, но вместе с тем очень спокойно сказала хозяйка.

Я вошел в комнату. Большой орехового дерева трельяж. Изящный туалетный столик с массой благоухающих флаконов, дорогих безделушек, фарфоровых пудрениц и пуховок стоял возле кровати. Две расписные японские вазы с цветами виднелись на окне. Розовое стеганое одеяло, все в кружевах и лентах, было небрежно наброшено на взбитые белоснежные подушки. Один край одеяла низко свисал с кровати, касаясь своими лентами пола. Зеркала отражали большой портрет какой-то дамы и ковры, разостланные по комнате. Возле изголовья стоял шестиугольный перламутровый столик, на котором еще дымилась чашка горячего кофе и стояла тарелочка с бисквитом.

— Как видите, обыкновенный дамский будуар, вполне мирный и не таящий никаких сюрпризов, — с любезной улыбкой сказала генеральша.

— Сюрприз все-таки есть! Доставайте, пожалуйста,

из-под вашей кровати вот эту картину... Вы второпях плохо прикрыли ее, — указал я на краешек рамы, видневшийся из-под одеяла, и, видя, что хозяйка не трогается с места, вынул из-под одеяла картину.

«Выезд короля Фридриха II из Сан-Суси» всеми красками заиграл перед нами, отражаясь в многочисленных зеркалах генеральши. Толстый Геринг равнодушно и тупо смотрел на провал своих компаньонов, на только теперь потерявшую светское спокойствие генеральшу.

— Это недоразумение... Наверно, кто-нибудь из посетителей забыл здесь картину, — пожимая плечами, заговорила она.

— Помолчите, мадам, вы поговорите после, — сказал я и кивнул головой автоматчикам.

Генеральшу повели в гостиную.

— Не забудьте картину, старшина, — сказал я Глебову.

В одной из комнат мы нашли спрятавшегося под кроватью мужчину. Комната для прислуги была заперта. Глебов постучал в нее. Никто не отзывался. Старшина с силой ударил ногой — дверь распахнулась. Комната была пуста, но смятая кровать была еще тепла, окно полураскрыто; мы кинулись к нему и увидели, как по узкому карнизу, держась за выступы руками, осторожно двигалась к водосточной трубе белая фигура, освещенная луной.

— Стой! Хальт! — яростно закричал старшина, но в эту минуту фигура сорвалась и камнем полетела вниз.

— Готов! — перегнувшись через подоконник, сказал старшина и крикнул солдатам, подбежавшим к неподвижно лежавшему телу: — Не трогать! Пусть лежит как есть до нашего прихода.

Еще двое мужчин были извлечены из ванной комнаты.

— Сколько всего народу? — спросил я старшину, отводившего захваченных в одну общую комнату.

— Трое мужчин, одиннадцать женщин да хозяйка, — ответил он.

Мы снова прошли по комнатам, тщательно заглядывая в шкафы, под кровати, в чуланы.

— А вот еще помещение, — отбрасывая тяжелую штору и выходя на небольшой балкон, сказал Глебов.

Там, прижавшись вплотную друг к другу, стояли три женщины в наспех накиннутых платьях и халатах.

Бойцы обыскиали их и повели в гостиную. Вдруг я заметил, что женщина, шедшая последней, несколько хромала.

— Стоп! — крикнул я. — Барон Манштейн останется с нами, остальных — в общую комнату!

Женщина обернулась, и я увидел густые черные брови, ярко выделявшиеся на бледном, несколько дегенеративном лице.

— Маскарад не удался, барон. Переоденьтесь лучше в ваше платье, — сказал я хмуро смотревшему на меня Манштейну.

Когда мы сошли вниз, было уже совсем светло. Сбежавшие из квартир жители, о чём-то вполголоса судача, толпились во дворе.

Возле лежавшего на асфальте тела стояли солдаты. Я остановился как вкопанный. Это была «переводчица Надя».

— Как веревочку ни вей, а конец все равно будет, — сказал один из солдат, переворачивая на спину мертвую фашистку.

На следующий день посты оцепили кругом полуразрушенный дом Манштейна. Глебов и саперы обвалили наиболее угрожавшие падением стены, построили мостики и поставили нечто вроде лесов, какие покрывают строящиеся дома. Около трех часов дня я и Циммерман поднялись на второй этаж. С пробитых и развороченных потолков сыпалась известка. Для того чтобы перейти в другую комнату, приходилось перебираться по перекинутым мосткам.

— Здесь, — сказал наконец Циммерман, останавливаясь около стены, на которой во множестве висели кабаньи головы, чучела фазанов, глухарей, перепелок, тетеревов и ветвистые олени рога.

— Охотничий кабинет барона, — пояснил Циммерман и снял со стены картину, изображавшую попойку егжей.

Я увидел два круга и посреди них маленький рычажок. Мы потянули, он не выдвигался, тогда я подозвал саперов.

— Только осторожно, ребята, не повредите сейфа да не опрокиньте на нас потолок, — сказал я, недоверчиво глядя на свисавшие над нами доски.

Саперы покопались в броне, повертели несколько раз коловоротом, чем-то смазали оба круга и затем легко, словно ножом по маслу, прорезали автогенным пламенем металл. Вынув вырезанные куски стали, они вытащили из образовавшейся ниши чемодан, запечатанный пломбами и сургучом. Две зеленые и две красные печати на шнурах висели по его углам. Он был аккуратно обвязан шпагатом, на конце которого болталась большая серебряная пломба с орлом, державшим в лапах золотую свастику, вокруг шла золотая надпись: «Герман Геринг».

Архив рейхсмаршала был в наших руках.

Прошло два дня. «Дело об украденной картине» было закончено. Теперь уже можно было спокойно дочитать до конца «Штабс-капитана Рыбникова», которого не удавалось мне прочесть в эти дни. Я удобно разлегся на софе и только взял книгу в руки, как в дверь постучали.

— Войдите!

В комнату вошла переводчица. Я поднялся.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, — мягко сказала она. — Я пришла попрощаться с вами.

— Как попрощаться?.. Разве вы уезжаете? — спросил я.

— Да, сегодня. Ровно через двадцать минут. Я получила пропуск и вызов с родины, из Риги. Я опять стану латышкой, советской латышкой. — В ее голосе звучала гордость.

Я молчал, не зная, что сказать, не зная, что сделать, обескураженный ее внезапным отъездом.

— Мне вернули картину моего мужа, и я хочу передать вам ее на память. Ведь она так неожиданно и так... — Она остановилась, подыскивая слово: — Сильно сблизила нас. — Она отвела взор и тихо продолжала: — Если когда-нибудь вам придется быть у нас в Риге, навестите меня. Я буду очень рада этому. Я и моя старушка мама живем на улице Лембет, двенадцать. Хорошо?

— Мне очень, очень грустно, что вы уезжаете отсюда, Эльфрида Яновна.

— И мне тоже, — тихо произнесла она.

— Но и я на этих днях еду дальше. Спасибо за картину, но я не возьму ее.

Переводчица отступила на шаг, глаза ее потемнели.

— Сейчас не возьму, но обязательно заеду за ней на улицу Лембет, двенадцать, как только кончится война. И в залог моего посещения возьмите вот эту книгу. Видите, она раскрыта на шестьдесят второй странице уже целых две недели... Возьмите ее, и, когда я приеду в Ригу, я у вас дочитаю ее...

— Мы вместе дочитаем ее, Сергей Петрович, — сказала Эльфрида Яновна и посмотрела мне в глаза открытым, ясным и таким теплым взглядом, что я наклонился и молча поцеловал ее руку.

— До свидания в Риге!

— До свидания в Риге! — словно эхо, повторил я.

Она быстро спустилась с лестницы, перешла двор и вышла на улицу. Я подошел к окну, провожая ее взглядом, и, чем дальше она уходила от меня, тем сильнее стучало мое сердце и тем уверенней я знал, что после войны буду в Риге, на улице Лембет, 12.

КНИГИ

Р а с с к а з



Я зашел к знакомому московскому писателю за интересовавшей меня книгой. Писатель был книголюб, в его библиотеке находилось немало редких изданий, и он всегда охотно делился ими.

Все переплеты были празднично яркие и ослепляли глаза. Только в углу нарядной полки, отдельно от других, стояло несколько книг в потрепанных переплетах.

— Собираетесь переплести? — указывая взглядом на потертую стопку книг, спросил я.

— Нет. Эти книги до конца моих дней останутся такими, — ответил хозяин.

Я недоуменно взглянул на него. Он встал, взял одну из книг — это был томик Байрона — и, раскрыв ее, молча указал на круглую сиреневую печать, стоявшую на первой странице книги. «Городская библиотека гор. Вязьмы», — прочел я.

Писатель раскрыл вторую — Шота Руставели издательства «Academia». Третья была — Блок, четвертая — Тютчев, пятая — однотомник Шиллера, шестая — «Осетинская лира» Коста Хетагурова, затем «Капитанская дочка» Пушкина и, наконец, «Война и мир» Толстого. И на всех стояла та же сиреневая печать.

Я перевел взгляд с книг на хозяина. Писатель бережно закрыл Шиллера, сложил в стопку книги и осторожно поставил их на прежнее место.

Он был немолодой, серьезный и очень скромный человек.

Я знал, что он на войне ранен и получил несколько боевых орденов и медалей, но только в День Победы, 9 мая, я видел его с орденами на груди.

— Книги — это часть нашей жизни — моей, вашей, каждого, и много говорить об этом не приходится, но есть книги такие, которые являются частицей тебя самого, сгустком такого события, которое не забывается до самой смерти. И вот именно эти, вот эти восемь потрепанных, изрядно зачитанных книг мне ближе и роднее всех других...

Писатель провел ладонью по лбу и продолжил рассказ:

— И даже ближе моих, мною написанных книг, ибо то, что писал сам, все это — результат долгих дней наблюдений, правды, перемешанной с домыслом, а эти, — он указал в сторону лежащей пачки, — это кусок моей жизни и частица жизни нашей Родины.

Я, как и вы, как и почти все, был призван в июне 1941 года в армию. Не буду рассказывать о тяжелых, трудных, черных днях начала войны. Был уже оставлен Смоленск. Вскоре откатились мы в район Ярцева. Был я тогда корреспондентом одной из московских газет, и мы, военные журналисты, обосновались в селе Касия, недалеко от Вязьмы. Были там и писатели, и художники. Многих из них уже нет в живых, но те, кто выжил, помнят эти дни «Касийского сидения», помнят землянку журналистов, расписанную внутри Орестом Верейским, ныне известным художником. Была там и землянка «люкс», в которой жили Алексей Сурков, Александр Твардовский, Вадим Кожевников, Мориц Слободской. Часто посещали ее Константин Финн, Константин Симонов. Мы в шутку называли «Нескучным садом» и «Не Ясной Поляной» этот милый, заброшенный в лесную глушь литературский уголок военных корреспондентов осени 1941 года.

До сих пор остро и ярко помню отдельные эпизоды нашей фронтовой жизни. Невозможно забыть солдатской дружбы, как нельзя забыть и того страшного дня, когда на Касию, где был расположен штаб, палетело около тридцати «юнкерсов», начисто разбомбивших этот живописный уголок.

Я ехал из села Коротово в Касию. Был теплый вечер начала октября. Вдали грохотал бой, гул орудий докатывался до шоссе, на которое вывел машину Никифор,

человек лет сорока, только что прибывший по мобилизации из Ставрополя.

По Минскому шоссе к Москве шли люди. Это были беженцы, гнавшие скот. Тянулись подводы. Шли женщины, старики, дети. Попадались и красноармейцы. Иногда проходила машина или тяжело тянулись к фронту разрозненные танки. Все шли молча, устало, натруженно, только изредка кто-нибудь останавливался, оглядывался на запад, откуда долетали орудийные залпы...

Солнце садилось. Вдоль дороги прошел самолет противника, но он не стрелял. По-видимому, это был разведчик.

От шоссе Никифор повернул вправо, к Касии, к леску, в котором жили корреспонденты.

Ни одной машины, ни одной живой души не встретилось по дороге.

— Товарищ майор, — сказал Никифор, — а похоже, что тут уж никого и нет.

— Ерунда! Сидят, наверное, в землянке, — ответил я, сам понимая, что говорю что-то неубедительное. Вряд ли в такой теплый, чудесный вечер, когда медленно уходит солнце и красноперый закат разливается над лесом, могли сидеть по землянкам журналисты.

Никифор молча покачал головой.

Никого... Ни колхозников, ни красноармейцев...

Наконец у самого поворота к «Не Ясной Поляне» из-за деревьев показался мальчуган лет тринадцати. Он замал руками. Никифор остановил машину.

— Куда же вы, товарищи? — подбегая, сказал мальчик. — Тут уже никого... Фашист, говорят, десант за Вязьмой сбросил.

— Когда ушли наши? — спросил я.

— Кто как. Штаб да солдаты недавно, а ваши, которые тут жили, — он ткнул пальцем в сторону «Не Ясной Поляны», — после обеда.

— Я знал, товарищ майор, что незачем было сюда ехать. Разве же не ясно: фронт отходит, всюду бои... Едем обратно, — решительно сказал Никифор.

— Сейчас поедем обратно, а пока сверни, брат, к землянкам.

— Куда к землянкам?.. Да и кто там теперь останется, разве только сумасшедший, — проворчал Никифор, но все же повернул автомашину к леску.

Мальчишка проворно вспрыгнул на подножку, и мы въехали в сумрак насупившихся деревьев.

Вот она, «Не Ясная Поляна».

Несколько корреспондентских землянок с накатами, со ступенчатым спуском вниз. Вот и знаменитая «люкс», в которой проводили время, рисовали, обменивались впечатлениями, пили чай и дружно работали московские газетчики и фотокоры. Теперь здесь было пусто. Никого... Со стен землянки смотрел лупоглазый Гитлер, проткнутый красноармейским штыком, еще две-три карикатуры. Это Орест Верейский очень зло и смешно рисовал рвавшегося к Москве бесноватого фюрера. Смятый обрывок «Красноармейской правды», консервные пустые банки, спичечная коробка... Я пошел к землянкам. Мальчик сопровождал меня. Всюду было одно и то же: брошенные ненужные вещи. У самого входа в последнюю землянку, на ступенях, я увидел книгу, поднял ее. Это был однотомник Гейне. На нем изящным тонким почерком было написано: «Дорогому, милому Славе от Люси».

— Вот она, эта книга, — показывая на хорошо сохранившуюся книгу, сказал писатель. — Видите, вот и надпись. Кто этот Слава и какая Люся подарила ему книгу, я до сих пор не знаю. Не было времени искать владельца книги, но ее, как видите, я бережно храню как память о «Не Ясной Поляне» под Касией... Не успел я перелистать книгу, — продолжал хозяин, — как вдруг услышал шум машины, а мой мальчуган испуганно произнес:

— Товарищ, как бы это не немцы...

Мы выскочили из землянки. К моей машине подходила вторая, из которой на ходу выпрыгнул человек. Это был корреспондент «Красной звезды» Вася Коротеев. Появление брата обрадовало меня и подняло настроение у Никифора.

— Сборный пункт — село Суконники. Я заехал так, на всякий случай, захватить кого-нибудь из отставших, — сказал Коротеев. — Наши отходят к Гжатску.

— А Вязьма? — спросил я.

— Что могли, сделали. Эвакуация города закончена. Надо ехать...

Мы попрощались с мальчиком, неотступно следовавшим за нами.

— Едем в Москву, — предложил ему Никифор.

— Нельзя. Тут мамка в селе и сестра маленькая... А я все одно в партизаны пойду, разведчиком или связным буду, — ответил он.

Вечер уже совсем опустился над землей. Лес потемнел, насупился. На западе играли лучи догоравшего солнца. Глухие удары орудий докатывались до нас. Запад был объят закатом и войной.

До Минского шоссе мы доехали вместе в машине Коротеева. Никифор пылил сзади.

— Давай разделимся. Я заеду в Вязьму — обещал товарищам-комсомольцам из Смоленской группы, эвакуированным в Вязьму, заехать за ними, — сказал Коротеев.

— Заеду и я, а встретимся или тут, — я указал на развилку дороги, ведущей от шоссе к Вязьме, — или в комендатуре в Гжатске.

Орудия уже были слышны сильнее. В стороне горел сарай. Дым крутился над пылавшей крышей. Мы разъехались: Коротеев — вправо, я — влево.

Город, в котором еще вчера ключом была жизнь, сейчас был пуст. Распахнутые двери, раскрытые настежь ворота. Все молчало. И это мертвое молчание было так тоскливо и страшно, что напомнило мне сказку о царевне, спящей в мертвом, обезлюдевшем городе.

— Надо б циркулировать назад, товарищ командир, — тихо сказал Никифор. — Кому тут быть? Все ушли, пусто...

В эту минуту из старинного подъезда с настежь распахнутыми дверьми вышла женщина.

— Русские... Слава тебе господи, свои, — с тихой радостью произнесла она, — а мы думали, все наши уже ушли.

— А вы что ж, гражданка, не уходите? — остановив машину, спросил Никифор.

— Куда идти-то? Муж третий год в параличе лежит... без меня через день помрет. Да и самой седьмой десяток, — она махнула рукой. — А вы чего, сыночки, задержались? Ведь проклятый фашист, говорят, под городом.

Над Вязьмой, в сторону Москвы, шли «юнкеры». Они тяжело гудели, пулеметная дробь охранявших их «мессеров» заглушила слова старухи.

— Пошли на Москву, окаянные, — с ненавистью сказала женщина.

Мы поехали дальше. Вот и знаменитый собор. Большое красно-белое церковное здание с пристройками и подворьем, в одном из которых жили журналисты.

Никифор подвел машину вплотную к стене собора. Одна из башен, окружавших собор, была наполовину сбита: кирпич, куски извести, камень валялись вокруг.

Я вбежал в темное, холодное помещение. Зажег фонарик, окликнул раз, другой — никого. Прошел по коридору, вошел в комнату — никого, а над столом висела крепко припиленная кнопками бумага: «Все уехали в Москву, но мы все равно вернемся. Победа будет за нами». И подпись: «Валя Комова».

Я положил записку в карман и поспешил обратно. Садясь в машину, взглянул на противоположную сторону улицы. Там была городская библиотека, которую так часто навещали в эти дни мы, корреспонденты. Библиотека, в которой работали тихие, милые, гостеприимные люди.

И вот сейчас, оставляя Вязьму неизвестно на какой срок, может быть, и надолго, нельзя, невозможно было не зайти, не попрощаться с книгами, с этими старинными, высокими, продолговатыми, прохладными комнатами, в которых в ряд стояло много полок, книжных шкафов. Может быть, и кто-нибудь из библиотекарей, из тех радужных, хороших людей, остался там...

— Обожди, Никифор, я сейчас...

— Куда, товарищ майор? Мыслимое ли дело, кругом фашист, тикать отсель надо...

— Там люди... мы их увезем с собою... в Москву, — сказал я и добавил: — Подведи машину к библиотеке, да только смотри, Никифор, не сдрейфь, не вздумай драпануть!

— Чего придумали! — с обидой оборвал меня Никифор. — Я-то не испугался, насчет вас боюсь...

Первый этаж был пуст. Темные комнаты холодно встретили меня. Я зажег фонарик. Никого... Только сотни книг, толстых, тонких, в переплетах — черных, цветных, кожаных, матерчатых и картонных — окружали меня. Они смотрели из углов, с полок, со стен библиотеки. Портрет Гоголя висел над столом заведующей, но ее самой не было. Бюст Пушкина возвышался над полками.

Все было, как обычно, и только безлюдье и тишина придавали библиотеке несколько таинственный вид. Я поднялся на второй этаж. На ступеньках лестницы маленький женский платочек. У двери лежал перевернутый стул. На столе, где производилась запись книг, лежала развернутая книга заказов. Скомканная газета сиротливо белела в углу. Часть шкафов была раскрыта, у одного из них — груды свалившихся с полок книг. Было видно, что бежали отсюда внезапно, наспех, побросав все, не успев даже запереть двери. И опять книги, книги, книги окружали меня. Тут их было значительно больше, чем внизу. Я переводил глаза с одной на другую. Все было родным, близким, дорогим сердцу, и все это было брошено врагу.

Свет фонарика прыгал по корешкам и переплетам, а мое сердце билось так же взволнованно и быстро, как и свет фонарика, скользивший по переплетам и корешкам.

Вот Байрон, Пушкин, Коста Хетагуров, Тютчев, а вот и Шекспир. «Витязь в тигровой шкуре»... Думал ли я тогда, в Тбилиси, на юбилее Руставели, что мне в черную для Родины годину вот так придется прощаться с ним! Нет... я не мог оставить его здесь, как не мог оставить и Коста.

«Тютчев», — прочел я. Синий с золотым тиснением переплет. Тютчев, поэт-философ, раскрывший тайники сердца и чувств человека. И Тютчев лег рядом с Руставели и Хетагуровым, а с полки, под слабым светом карманного фонарика, на меня смотрел Пушкин, а за ним был Шиллер. Я отвел глаза... Мне было больно и страшно глядеть на книги, которые должен вскоре сожрать огонь войны. И они были сняты с полки. Радость и грусть охватили меня.

Снизу раздался прерывающийся, тревожный гудок машины. Я вспомнил все — и то, что нахожусь в оставленной войсками Вязме, и Никифора, отчаянно сигнализировавшего мне, и то, что у выезда из города меня дожидается Коротеев. Я опустил фонарик книзу и вздрогнул — «Война и мир», Л. Н. Толстой. Четыре тома великого писателя осветил фонарик. В этих томах было то, что спустя сто тридцать лет снова и только с еще более ужасной и беспощадной силой обрушилось на мою Родину... Как в те далекие годы, враг подходил к Москве. Страшный, тупой, жестокий, заливший кровью всю Европу, он шел к Москве, чтобы уничтожить ее, истребить все свет-

лое и чистое, в надежде поработить и унижить остальных. Я снял с полки «Войну и мир». Отчаянный, долгий, непрекращающийся рев автомобильного гудка прервал мои размышления. Довольно явственно долетела до библиотеки дробь станкового пулемета. Сумрак вдруг стал редеть, и сквозь раскрытое окно по темной комнате пробежали светло-розовые колеблющиеся блики. В библиотеке посветлело; дрожая, бегали светотени, озаряя сотни и сотни книг.

Я выглянул в окно. Невдалеке горел дом, над соседними крышами клубился дым — то розово-темный, то пепельно-серый, то внезапно прорезавшийся красными языками огня.

Я сбежал вниз. У машины взад-вперед взволнованно ходил Никифор. Увидя меня, он что-то хотел сказать, но так и не сказал.

— Никого... Все ушли, — проговорил я, открывая дверцу машины.

— Книги! — с удивлением произнес Никифор. Он перевел глаза с меня на стопку книг, которую я укладывал на сиденье, и добавил: — Эт-да-а!

Я так и не понял и до сих пор не знаю, счел ли он меня в эту минуту легкомысленным или одобрил мой поступок.

У выезда из города ждал Коротеев. В его машине сидели учительница с рюкзаком за спиной и отставший от части солдат.

Когда мы остановили на Можайском шоссе машины и в последний раз посмотрели на город, над Вязьмой, с ее южной части, клубился дым и прыгали языки пламени.

— Вот почему я не отдаю их переплетать, — поглаживая корешки лежавших отдельно книг, сказал писатель. — Они постоянно напоминают мне те страшные для Родины, но в то же время и титанические дни величия нашего народа,

ОТЦЫ И ДЕТИ

Р а с с к а з



Эскадрон капитана Сомова заночевал в станице Степной. Маневры заканчивались, и завтра полк, пыля по степным дорогам, должен был вернуться в лагерь.

Когда солдаты поужинали, капитан, обойдя взводы, вернулся в хату, отведенную ему сельсоветом. Помывшись и переменяв гимнастерку, он, устроившись по-домашнему, принялся за ужин.

— Товарищ капитан, может, перед едой попробуете чепурку родительского чихиря? — предложил хозяин, уже старый, с окладистой бородой казак. На нем был стянутый ремешком стеганный бешмет, надевавшийся, по-видимому, только по торжественным дням.

— Чего попробовать? — не понял Сомов.

— Винца нашего, станичного. Своей посадки и своего выделу, — сказал старик. — К ужину оно полезно.

— Ежели немного — выпью, — согласился Сомов.

Хозяин налил себе и гостю.

— А что, отец, доходили до вас немцы? — продолжая есть, спросил капитан.

— Доходили! Они и дальше за Наур и Ишеры прошли... Ведь по этим местам всюду бои лютые шли, особенно когда наши их с-под Моздока погнали... Баталия была первый сорт, особенно грозная у нас под станицей, часов пять дрались... Красная Армия фашистам здесь чистый капкан сделала!

— А вы быстро, однако, привели в порядок станицу. По ней и не видать, что тут война была.

— Как невеста, белая станица стала, это верно, — с горделивым чувством сказал казак. — Еще лучше стала Степная, да и это еще не все. Вы вот в том году опять

заверните к нам, то ли тогда еще будет... В прошлом году нам засуха помешала, суховей здесь лютовал, хлеба спалило, такая жарынь была, аж птицы — и те падали... ласточки в хатах жили... Дождя, ну вовсе не было... И то, сами видите, выжили, запахали, отсеялись, стройку сделали. Ну, а хлеба теперь, слава те господи, не прошлогодние... Видали за станицей, какие моря пшеничные волнами ходят?.. До самого Кизляра такие хлеба шумят... Ну и, правда, поработали, потрудились, и агрономы наши помогли. Урожай соберем на славу. Да выпейте еще... А может, яблок или алычи сушеной желаете?

За окном, в нависшем вечере, темнели густые станичные сады.

— Да, урожай, кажется, будет отличный, — сказал капитан, и перед его глазами прошло бескрайнее волнуемое море зеленой высокой пшеницы, которой он любовался в эти дни.

— А на хуторе вы не бывали? — подкладывая ему овечьего сыра, спросил старик.

— На каком хуторе?

— А вот тут, верст двенадцать отсюда, за Неволькой.

— За чем? — переспросил капитан.

— За каналом, Неволькой называется. Это в старые времена, меня еще и на свете не было, царская власть со стражей и полицией народ силком, неволей с хуторов да со станиц сгоняла канал этот рыть, ну так его с тех пор Неволькой и называют. А вы поезжайте туда, если время будет, там интересное для вас, военных, имеется.

— А что именно?

— А то, что на хуторе демобилизованные казаки наши со Степной, Советской и Надольной станиц свой, вроде как фронтовой, колхоз открыли... Там семейств не боле шестидесяти будет, а смотри, как с делами справляются, и порядок у них получше нашего будет.

— Действительно интересно, — сказал Сомов. — И что же, хорошо живут фронтовики?

— Хорошо. В полном согласии, без спору, и шуму никакого, а дело свое справляют здорово. А вы знаете, как они назвали свой колхоз? «Ключи Берлина» — вот как!

— Хорошее название, — одобрил капитан.

— Подходящее, — сказал старик, — и без обману... Из этих ребят, что там орудут, больше сорока Берлин брали, у всех ордена-медали, как оденутся в праздник

да приедут в станицу, так аж в глазах рябит от их наград... У одного Петра их девять, а есть там один казак, Василь Мокроусов, так у него грудь вся горит и светится. У нас каждый старается быть не хуже другого. Ну, а что будет — поглядим! Видали наши хлеба? Хорошие, ничего не скажешь, отличные хлеба, а у них раза в два лучше — колос густой и налив ядреный. Гущина такая, что пудов сто пятнадцать с гектара снимут... Снимут, обеспечено! — убедительно повторил казак. — А сорняков и в помине нету. Мы вон две прополки всей станицей делали, а нет-нет пырей да василек кой-где и найдется, а они не только поля, они все дороги очистили, весь прошлогодний будыль сожгли, все канавы перепалили... Ну и, конечно, чище и в горнице не будет...

— Почему же вы так не делаете? — спросил капитан.

— Там же фронтовики, народ сознательный... опять же дисциплина. Одна беда, уж больно они куражатся: мы, мол... да вас, мол, на буксир следует взять...

— Чего ж это они вас обижают?

— Не обижают, а вроде как хвастают, чтобы и мы под их линейку подтянулись. Ведь мы с ними соревнования устроили... на лучший урожай. Ну, они вот вроде как подстежку нам дают. Вы, мол, в хвосте плететесь, отстаєте от нас... А где отставать? И наши зеленя, и наша пшеница веселые, а кое-где и не уступят ихней. Это все Петька посмеивается над нами да других подзуживает,

— Кто этот Петька? — спросил капитан.

— А сын мой, Петро Афанасьич Середа, председатель ихнего колхоза... А я председатель этого, «Заветы Ильича», вот мы и соревнуемся.

— Как... Середа? — откладывая в сторону вилку, сказал Сомов.

— А так, Середа — фамилия наша такая.

— Вы Середа? — спросил Сомов.

— Так точно! — ответил хозяин. — Панас Евстигнееч, а сын мой — Петро Афанасьич...

— Старшина второго эскадрона нашей кавалерийской дивизии! — закричал капитан.

— Так точно! — снова по-солдатски отчеканил хозяин. — Кавалер двух орденов Красного Знамени и Славы... Вы знаете моего Петра?

— Отец! Да как же не знать, когда мы с ним вместе всю войну прошли, в Румынии воевали... Ведь я же его

командиром был, и он меня из воды, из реки Прута, вытащил, когда коня подо мной убили...

— Говорил он про это... рассказывал, а я думал хвастает, — с добродушной гордостью сказал старик. — Так вот оно как, оказывается, командиром вы ему будете...

— Больше! Другом, фронтовым братом! Орел был ваш сын, примером во всей дивизии...

— Дак он и тут не курицей ходит, — с нескрываемой гордостью сказал старик. — Он и тут на всю область знаменит. Про него в газетах пишут...

— Ну, теперь-то я его обязательно повидаяю. Завтра же съезжу к нему на хутор.

— А чего ехать? Здесь увидите. Он утречком сюда приедет.

— Совещаться или в помощь вам?

— Н-нет... Яйца курицу не учат, — вдруг ворчливо сказал старик. — Мал еще отца учить, даром что старшина. Тут другая картина. Завтра у нас награждения — может, читали? — колхозникам за честный и беспорочный труд. Вышние власти из города приедут, награды вручать будут. Однако прощайте, пора ложиться.

Он прикрутил ночничок и пошел на свою половину. Спустил пять минут капитан уже лежал в постели, но, несмотря на усталость, заснуть не мог. Неожиданная встреча с отцом его фронтового друга воскресила прошлое. Он долго и неподвижно лежал, и перед ним проходили боевые годы Великой Отечественной войны — тысяча девятьсот сорок третий — сорок четвертый.

Рано утром капитан, поручив эскадрон старшему лейтенанту Кучину, на широкой рыси ехал в штаб полка, расположенный на хуторе Веселом, в восьми километрах от станицы.

— Командир полка встал?

— Так точно, завтракает, — ответил дежурный.

Капитан Сомов вошел. О чем он говорил — неизвестно, однако, когда он кончил, полковник, пожилой сивусый конармеец, участник буденновских походов на Врангеля, долго крутил кончик уса, потом сказал:

— По уставу это не полагается, а по старой кавалерийской традиции — следует. Делай, капитан, хорошо придумал, разрешаю. — И, остановив жестом благодарившего капитана, добавил: — Только не опаздывай, в двенадцать ноль-ноль выступаем. Догонишь полк на марше!

Когда капитан вернулся в станицу, на площади царил оживление. Толпились казаки, ребятишки висели на деревьях и плетнях, пестрели цветные платки женщин. Несколько тачанок и привязанных к ним и к плетням коней виднелось поодаль. Минув толпу, капитан проехал в эскадрон. Спустя полчаса на проселочной дороге запылило облако, раздалось гудение машин, и в станицу, пугая кур и поросят, въехали одна за другой четыре легковые машины. Это прибыли секретарь райкома, предисполкома, редактор местной газеты, фотокорреспонденты и еще несколько человек.

Машины остановились, и из них стали выходить приехавшие из города гости. Одновременно с ними, с противоположной стороны станицы, из-за недавно выстроенного двухэтажного клуба, вытягиваясь в колонну, показался гвардейский эскадрон. Впереди него на одинаковых гнедых конях, сверкая трубами, корнетами и большим турецким барабаном, ехал духовой оркестр полка. Солнце играло на трубах, переливалось на эфесах клинков.

Впереди эскадрона, рядом со значковым, ехал на статном сером коне капитан Сомов. И казаки, и женщины, и приехавшие гости, не ожидавшие появления конницы, с любопытством и некоторым замешательством остановились.

— Эскадрон, строй фронт вправо — а-арш! — скомандовал капитан, и эскадрон, перестроившись на ходу, выстроился справа от двух столов, обтянутых красным кумачом.

— Оркестр, на правый фланг! Эскадрон, вольно! — скомандовал капитан и, подъехав к молча смотревшим на него гостям из города, что-то доложил, приложив руку к козырьку.

Все приехавшие весело и благодарно улыбнулись ему, пожали руку. Капитан снова отъехал к своему эскадрону. В толпе колхозников он заметил своего хозяина — старика Панаса, помахавшего ему рукой.

Фронтовики из колхоза «Ключи Берлина» приехали на десяти тачанках, украшенных цветами, красными лентами и переплетенной в венки зеленью. В гривы коней были вплетены яркие полевые цветы. На двух передних тачанках ехали музыканты, сидевшие на остальных пели вперемежку то фронтовые, то казачьи песни. Тачанки окружали конные. Вся эта процессия с пением, свистом,

хохотом и прибаутками, пыля и грохоча колесами, ворвалась в станицу. Впереди кавалькады на красивом рослом жеребце скакал молодцеватый, чубатый казачина лет двадцати шести, вся грудь его горела отличиями. У остальных всадников, как и у тех, что сидели в тачанках, было тоже немало наград, сверкавших под горячим кавказским солнцем.

Скакавший впереди казак поднял руку и, словно стоя перед взводом, скомандовал: «Ша-а-гом!» И все: и конные, и тачаночные, сдержав лошадей, сразу же перешли на шаг.

«А не забыл еще строевой выучки», — улыбнулся капитан, с удовольствием узнавая в статном молодце своего боевого друга и товарища старшину Петра Середу. Бывший старшина ловко осадил коня и, соскочив с седла, подошел к гостям из города, поздоровался с ними, а затем не без удивления оглянулся на эскадрон и стоявший на правом фланге оркестр. И вдруг лицо его вытянулось, глаза удивленно раскрылись. В следующую же минуту он рванулся с места, расталкивая толпу, бросился к Сомову и крепко обнял пригнувшегося к нему с седла капитана. Но тут прозвенел звонок, и секретарь райкома, взойдя на трибуну, поднял руку...

— Потом, Петро, после митинга, — целуя старшину, сказал Сомов и отъехал к своему эскадрону.

Секретарь райкома сказал короткую, деловую речь. Он поблагодарил колхозников станицы и хутора за честную, добросовестную работу и, поздравив их с высокой правительственной наградой, стал читать список награжденных за высокий урожай.

— ...Присвоить звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» председателю колхоза... — читал секретарь, и капитан видел, как лица слушавших людей насторожились, как все глядели на старого и на молодого Середу. Ведь оба они были председателями двух соревновавшихся между собой колхозов.

Секретарь сделал паузу, посмотрел на затихшую толпу и коротко закончил:

— «Ключи Берлина» Петру Афанасьевичу Середу.

«Яйца все-таки учат кур!» — невольно подумал Сомов, глядя, как секретарь райкома, пожав руку, передал бывшему старшине футляр с наградами.

Оркестр заиграл марш. Середа и секретарь крепко расцеловались. Фотокорреспонденты защелками «лейками». Капитан глянул на старого Середу. Казак что-то кричал, аплодируя кланявшемуся по сторонам сыну. По радостному лицу отца было видно, что сейчас он забыл о соревновании и о том, что его сын выходил победителем, и о буксире, которым сын шутливо пугал отца. Старик любовно заглядывал в лицо сыну и немилосердно похлопывал его по плечу. Секретарь райкома снова поднял руку. Все стихли.

— Указом Президиума Верховного Совета СССР... присвоить звание Героя Социалистического Труда...

Стало так тихо, что было слышно, как скрипел и подламывался плетень под висевшими на нем людьми.

— ...Афанасию Евстигнеевичу Середе, председателю колхоза «Заветы Ильича», добившемуся на отдельных участках своего колхоза высокого урожая пшеницы...

Оркестр снова заиграл марш, и капитан увидел, как молодой Середа, обхватив шею отца, сильно и смачно поцеловал его в губы.

— Качать обоих! Качать героев! — крикнули из толпы.

В этой веселой, шумной, взбудораженной толпе перемешались и молодежь, и старики... фронтовики из «Ключей Берлина», их отцы и безусая молодежь из станицы.

Одинаково шумно и весело они приветствовали друг друга, радуясь победе общего труда над этой плодородной, но своенравной землей. Тут уже не было ни соревнующихся, ни тех, кого надо было брать на буксир. Одной колхозной семьей, семьей победителей, приветствовали они тех, кого называл по фамилиям секретарь, тех, которые, смущенно улыбаясь, отходили в сторону, держа в руках полученные ордена. И, приветствуя их, колхозники приветствовали и самих себя, отлично понимая, что в этой победе над капризной землей в огромной степени была и их заслуга.

Когда наконец секретарь райкома кончил читать свой список и усталые трубачи опустили свои трубы, выехал вперед капитан Сомов и сказал короткую речь:

— Дорогие товарищи станичники! От лица Советской Армии, от лица красной конницы гвардейский эскадрон нашего полка приветствует и поздравляет вас, честно поработавших для блага Родины. Нам, солдатам, особенно радостно, что в числе передовых людей края оказались

наши братья фронтовики, бывшие воины Советской Армии. Мы видели, как они сражались с немцами, а теперь узнали, как они доблестно дерутся и здесь за урожай! Слава им, слава и вам, отцам и одностаничникам этих воинов! Сейчас мы уходим и не сможем присутствовать на вашем празднике. Служба требует. Но тебе, Петро, мой дорогой брат и однокашник, обещаю, что через месяц, в мой отпуск, приеду в колхоз... Я, товарищи, тоже брал Берлин и, значит, тоже имею право побывать в вашем колхозе!

— Ур-ра! Приезжайте... гостите хоть год! — закричали в толпе, и в воздух полетели папахи и войлочные шапки. Оркестр заиграл туш.

— Эскадрон, смирно! — скомандовал капитан. — Оркестр, вперед! К торжественному маршу, справа по три! — И конники перестроились в колонну... — Ша-а-гом марш!

Эскадрон, медленно разворачиваясь, пошел вдоль площади. Когда голова колонны приблизилась к трибуне, на которой стояли секретарь райкома, гости из города, оба Середы и все остальные награжденные колхозники, капитан громко и торжественно скомандовал:

— Эскадрон, равнение налево! В воздаяние заслуг перед Родиной и народом салют вам, товарищи!.. — и, сверкнув в воздухе выхваченной из ножен саблей, он продолжал: — Шашки вон!.. Ма-а-рш!

Под звуки «Буденновского марша» прошел гвардейский эскадрон мимо молчавших героев, мимо бурно кричавшей, аплодировавшей толпы, мимо плакавших от восторга и умиления людей.

Спустя несколько минут Петро Середа на лихом карьере догнал эскадрон, уже выходящий из станицы.

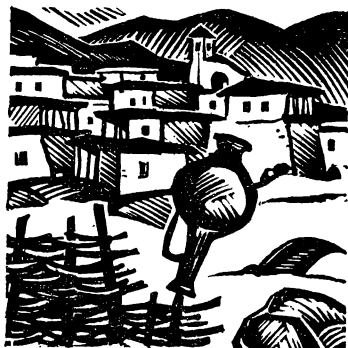
— Обидишь, товарищ капитан, и меня, и семью, и весь наш боевой колхоз обидишь, ежели не завернешь всей колонной хотя бы на часок... колхозники просят... к себе на хутор, — взмолился старшина.

— Не могу, Петр Афанасьич... Приказ командования, сам знаешь — военная служба... В двенадцать ноль-ноль выступаем, а сейчас без двадцати двенадцать. Но будь спокоен, Петро, ровно через месяц я буду твоим гостем в «Ключах Берлина».

И капитан крепко, изо всех сил, пожал руку своему боевому другу.

ПЕСНЯ

Р а с с к а з



Давно я не бывал на своей родине, в Северной Осетии, не был и в ауле, где протекало мое раннее детство... Десятки лет, события войны далеко отнесли мои детские воспоминания, время стерло их. Казалось, все окутал в свои покровы туман времени.

Так думал я, иногда тщетно стараясь припомнить те или иные эпизоды моего детства, но... напрасно. Время унесло их.

И вдруг словно пелена спала с моих глаз, будто кто-то сорвал покрывало, закутавшее мою память. Я снова отчетливо, ясно и ощутимо увидел свое детство. Совершилось чудо. И это сделала песня.

Недавно, уже весьма пожилым человеком, я приехал к себе на родину в гости, повидать родные места, увидеть тех, кто жив, вдохнуть в себя воздух родных мест. Конечно, я узнал свой край, но места, по которым бегал мальчишкой, изменились. Даже горы, даже бурный Терек стали иными. Новые мосты через реку, отличные высокогорные шоссе, великолепные дороги пролегали там, где в мои детские годы с трудом, и то не везде, проходил конь. Над крутизнами скал, над утесами по ним мчались сейчас быстрые «Победы» вперемежку с грузовиками. В горах дымили фабрики и заводы, возле ледников были разбиты туристские лагеря, больницы и медпункты появились там, где в дни моей юности бродили отары овец. Высокогорные метеостанции, радиосеть, телефоны, кинопередвижки — словом, все то, что несет цивилизация, — проникли в горы и изменили их жизнь.

Я ходил по местам своего детства и не узнавал их. Все было такое знакомое, и в то же время новое, непохожее на то, что окружало меня когда-то. Я старался вспомнить былое и... не мог. Новое вытесняло прошлое, а прожитые годы стерли в памяти смутные воспоминания.

Я любовался новым, но душой искал и то старое, близкое, что когда-то так радовало меня. Со сладкой грустью о ненайденном, забытом, конечно, опоэтизированном мною детстве спускался я по горной тропинке к аулу. Был тихий летний вечер. Солнце золотило снежные вершины гор, и каскад оранжево-красных лучей перебегал по ледяным вершинам. Из аула тянуло дымком, парным молоком и непередаваемо родным, с детства знакомым запахом горевшего кизяка. Над горами в сторону Грузии проплыл самолет.

Я стал медленно спускаться к аулу. На душе было смутно. Завтра уеду в город, где меня ждут друзья и работа.

Проходя по улочке, я внезапно остановился. Из-за плетня слышался слегка надтреснутый женский голос. Лилась песня... Слова были простые и такие обыкновенные, но я, прижавшись к плетню, слушал и слушал их.

Сау хади муркита
Хор вама на касуй... —

пела женщина детскую песню. Несколько глуховатый, негромкий голос, но что он сделал со мной! Я стоял, держа за плетень, а мелодия и слова песни внезапно озарили мою память.

Эту самую песню, детскую песенку о ягодах калины, растущей в темном лесу без тепла и света солнца, я сам много-много раз слышал ребенком от матери, засыпая под эти самые слова...

Позже, уже будучи подростком, я узнал, что песня эта была написана осетинским поэтом Блашка Гуржибековым, убитым на японской войне.

...Хор вама на касуй, —

повторял женский голос, и словно солнце озарило мою память. Пелена спала, и мое детство встало возле меня.

Я стоял как зачарованный. Что-то странное и необъяснимое происходило со мной, с прошлого как бы спадали покровы... Я видел свою мать еще молодой, такой, какую

она была, когда напевала мне эту песню. Из тумана неясно вставало лицо бабушки Фаризет, что-то теснило мне грудь...

Я слушал песню и, странное дело, вспоминал не только людей, но и запахи сакли, ароматы сада, какие-то отрывистые слова деда... Даже густой, своеобразный аромат калмыцкого чая, всегда варившегося у нас, вкус олибаха¹ и фиджина² — все встало передо мной. Детство, воскрешенное этой песней, охватило меня.

То, что я забыл и не помнил уже свыше пятидесяти лет, ожило! И это сделала песня.

— Хорошо поет Кяба-хан, но еще лучше они поют вместе со своим мужем Бибо, — раздался позади меня голос. Это был учитель Дзамбол, подошедший ко мне. — Пойдем к ним.

Оцепенение оставило меня, но очарование еще держало мое воображение в плену. Так трудно было расстаться с тем, что навевала незатейливая песня.

В город я, конечно, не поехал. Целую неделю пробыл я в ауле, и каждый вечер старик Бибо и его жена Кяба-хан пели мне старые осетинские песни. Тут были и героические, и грустные, и свадебные. Пели и «Додой» и «Сидзаргас»³, пели и про храбреца Хазби, пели «Башилта», еще с языческих времен вошедшее в быт Осетии увеселение — своеобразный зимний карнавал, нечто вроде коляды. Я слушал, вспоминал и даже сам подпевал иногда знакомые мелодии... но того, до слез щемящего очарования, которое охватило меня у плетня, когда я слушал «Муркита», уже не было.

Большую силу имеет песня!

¹ Олибаха — пирог с сыром.

² Фиджин — пирог с мясом.

³ «Додой» и «Сидзаргас» — стихи Коста Хетагурова, переложенные на музыку.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Пустыня	3
Налет	39
Эскадронная любовь	54
Измена	79
Старый казак	114
Казачья засада	120
Конец немецкого бронепоезда	127
Дружба	135
Шофер из Белграда	171
В тихом городке	177
Книги	300
Отцы и дети	308
Песня	316

Мугуев Х. М.

М89 Рассказы разных лет. — М.: Воениздат, 1978. — 319 с.

В пер.: 1 р. 30 к.

Имя Хаджи-Мурата Мугуева, которому в 1978 году исполнилось бы 85 лет, широко известно.

В новый сборник включены лучшие военные произведения, как издававшиеся, так и сохранившиеся в архиве писателя. Это рассказы и очерки о гражданской войне, разгроме басмачества и о Великой Отечественной войне. Все они говорят о героизме и мужестве советских людей, о защитниках Родины.

М 70302-235 — 159-73
068(02)-78

Р2

Хаджи-Мурат Магомедович Мугуев

РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Редактор *А. П. Рогова*

Художник *Н. К. Кутилов*

Художественный редактор *Т. А. Тихомирова*

Технический редактор *А. П. Бабина*

Корректор *К. В. Смирнова*

ИБ № 640

Сдано в набор 1.3.78 г. Подписано в печать 28.4.78 г. Г-12571.

Формат 84×108/32. Бумага № 2. Гар. об. нов.

Высокая печать. Печ. л. 10. Усл. печ. л. 16,8 Уч.-изд. л. 17,185

Тираж 65000 экз. Изд. № 4/4564. Зак. 683. Цена 1 р. 30 к.

Воениздат

103160, Москва, К-160

1-я типография Воениздата

103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

OCR: Угленко Александр

